



ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЖУРНАЛ

1 (17)'2016

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел поэзии
Людмила ШАРГА

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературоведения
Алёна ЯВОРСКАЯ

Общественный совет:

Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),
Кирилл Ковальджи (Москва), Татьяна Липтуга (Одесса),
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),
Илья Рейдерман (Одесса), Анна Стремшинская (Одесса),
Александр Хинт (Одесса), Евгений Черноиваненко (Одесса).

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: aurora_australis@lenta.ru
Интернет-версия журнала: ursp.org

© «Южное Сияние», 2016

В НОМЕРЕ

ПОЭЗИЯ

Одесса: Татьяна Орбатова. «Мой голос не ищи на баррикадах». Стихотворения	4
Одесса: Владимир Кац. Дней моих веретено. Стихотворения	7
Одесса: Юлия Мельник. Многоцветного мира подарки. Стихотворения	14
Одесса – Санкт-Петербург: Ксения Александрова. «В твоих гранатах так много зёрен». Стихотворения	20
Одесса: Мария Савченко. Нитевидный самописец. Стихотворения	26

ПРОЗА

Одесса: Анна Яблонская. Экскурсия наверх. Рассказ	31
----------------------------------------------------------------	----

ПОЭЗИЯ

Кёльн – Москва: Даниил Чкония. Из книги «Пловец и стихия». Стихотворения	50
Херсон – Мельбурн: Наталья Крофтс. Вслепую. Стихотворения	56
Москва: Ефим Бершин. Репетируя сотворение мира. Стихотворения	61
Ростов-на-Дону: Ольга Андреева. Глубокий алыт озона. Стихотворения	66
Копенгаген: Нина Гейдэ. Снегопадов древних письменна. Стихотворения	72

ПРОЗА

Москва: Ольга Аникина. Золотариды. Рассказы	78
----------------------------------------------------------	----

ПОЭЗИЯ

Тернополь – Одесса: Алёна Василяченко. «Прости, зима. Мне очень жаль...». Стихотворения	82
Николаев: Олег Духовный. В воронке Ю-губа. Стихотворения	86
Николаев: Юлия Шокол. Повод собирать вещи. Стихотворения	91
Будва: Роман Казимирский. Живее живых. Стихотворения	96
Киев: Катерина Ивчук. Рядом с ним, рядом с ним. Стихотворения	100

ПЕРЕВОДЫ

Поэзия Сергея Главацкого (в переводах Елизаветы Радванской на украинский язык)	107
--------------------------------------------------------------------------------------	-----

ДРАМАТУРГИЯ

Кан, Нормандия: Валерий Байдин. Дорога в горы. Кинодействие в нескольких разговорах и описаниях	113
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ПРОЗА

Москва: Вилли Р. Мельников. Стихо-оттворение. Эссе	156
Одесса – Филадельфия: Вера Зубарева. Встречи с Беллой Ахмадуиной. Эссе	162
Одесса – Москва: Станислав Айдянян. Рене Герра – 70. Можно этому не верить. Эссе	167
Черноморск: Светлана Полинина. Две встречи. Эссе	169

«ФОНОГРАФ»

Одесса: Елена Миленти. Небо связано с землёю. Стихотворения	173
--------------------------------------------------------------------------	-----

«ОКОЕМ»

Евпатория: Елена Коро. Ключевые концепты фазтики. Вступление	178
Евпатория: Елена Коро. <i>Стихотворения</i>	181
Симферополь: Марина Матвеева. <i>Стихотворения</i>	185
Ялта – Москва: Евгения Джен Баранова. <i>Стихотворения</i>	190
Симферополь: Валерий Гаевский. <i>Стихотворения</i>	195
Севастополь: Ана Дао. <i>Стихотворения</i>	199
Керчь: Злата Андропова. <i>Стихотворения</i>	203

«ЛИТМУЗЕЙ»

Переделкино: Екатерина Августа Маркова. Птицелов. Мысли о поэте Э. Багрицком	207
-------------------------------------------------------------------------------------------	-----

«ШКАФ»

Вильнюс: Павел Лавринец. Константин Бальмонт глазами современников. Рецензия	212
Коломна: Александр Руднев. Принципы построения биографии А.Н. Толстого. Очерк	215

ТАТЬЯНА ОРБАТОВА

МОЙ ГОЛОС НЕ ИЩИ НА БАРРИКАДАХ

РИСУЯ ОЩУЩЕНИЯ

Наивными казались небеса –
ходили ангелы, на тучи наступая,
на синем фоне яркая оса
ползла по крепким стеблям или сваям.
Из воздуха сочилась желтизна –
солёный луч касался лиц неснящих,
и каждый, кто доселе свет не знал,
считал его до боли настоящим.
До боли, собирающей с утра
все мысли – усмирительным глаголом,
до жизни испечённого нутра
со вкусом веры грубого помола...

*

Распятые домики окнами в небо,
деревья распятые и корабли,
распятый мулла, и священник, и ребе,
дельфины распятые и журавли...
И каждый, кто дышит, распят при рождении
на тени своей. Но в полуденный час
приходит иллюзия освобождения,
и кажется, кто-то нас, всё-таки, спас...

*

Стекает акварельная слеза
на поле для любви пшеничных клеток,
в пирог воздушный – солнечный сезам
добавлен для горячей сути лета.
А камешки, рассыпанные вдоль
дороги – кольцевой и бесконечной,
в себя вбирают пыль, чужую боль,
но что им боль чужая, если нечем
прочувствовать рождение её,
всю силу остроты и откровенье.
По осени в широкое жнивье
кидаются камнями чьи-то тени...



ОТТЕНКИ БЕЛОГО

Который раз огонь в лампаде гаснет –
дрожит неслышно, клонится ко сну,
взметнётся тихо в пламенной гримасе,
на жизнь последним выдохом блеснув.
И облачком растает в заоконье,
в мерцании близких фонарей,
так вера растворяется в законе,
бездомный исчезает у дверей
последнего приюта. За туманом
глаз, ищущих иллюзий маяки,
следит луна в бесчувствии гуманном,
и воздух полон голодом мирским.

*

Ныряет в кольца прошлых лет
курильщик памяти, но сердце
не откликается в ответ,
став безучастным отщепенцем.
И всё, чем ранее взахлёб
оно питалось и болело,
чем мир публичный сердце влёл,
ненужным стало. Присмирела
душа, прибилась к тишине,
и духу смерти причастилась,
в его забористом вине
особой физики чернила –
то снежных качеств, то иных
оттенков белого. На крыльях
мечтаний суетных, цветных
оттенков белого обилье.
Забавна проседь у щенка,
красив жемчужный тон фарфора
и кость слоновая легка
в изделе древнего декора.

*

Огню дана сухая кровь,
воде – маневренность скелета,
а мне – одной мечты покров,
чтобы душа была согрета.
Идёт беда, змеится вслед,
на линии судьбы хохочет,
но силы тормозящей нет
для слов в молитвенные ночи –
летят сквозь атомы стекла
в Начало солью перламутра,
чтобы отмывшись добела,
вернуться в солнечное утро.

НЕУСТАВНЫЕ МИРАЖИ

Глухие уши терпят ложь,
 слепое око терпит маски,
 и мир терпением похож
 на алкоголика в завязке.
 Листает время день-деньской
 людей изменчивые лица –
 то женский профиль, то мужской,
 то кровь из носа, то водица
 из слов, отпущенных вовне –
 бушуют смыслов океаны,
 и всяк, кто горький, спит на дне,
 и всяк, чей дед из павианов,
 в иерархическом пылу
 клыками меряется с богом,
 и воздаёт себе хвалу,
 и прямо шествует, и боком...

*

Дрогнет сердце, на последнем слоге
 слово выпросит иного смысла,
 пуделиха – друг четвероногий,
 объяснит, зачем башмак изгрызла.
 Чья-то тень пойдёт гулять без тела,
 берега любви покинет море,
 пуля-дура, что на жизнь свистела,
 станет шапкой умной и на воре
 расцветёт большим чертополохом,
 прорастёт в начало мироздания
 оберегом будущим эпохам –
 вороватым духам в назиданье.

*

Затишье или маленькая смерть –
 смотреть на свет, заполнивший мольберт,
 на сонный цвет подснежников, на море,
 на пса-бомжа – ирив он и проворен,
 на мысли, уходящие в песок,
 на точный и безжалостный бросок
 кота, подмявшего больную птицу,
 на девочку, которой не сидится –
 разглядывает, как пирует кот,
 где птичий хвост и в чём кошачий рот.
 Смотреть на свет беззвучно, без идей,
 без поисков – где брат, где лицедей,
 без страха до заката не дожить,
 без веры в уставные миражи,
 Смотреть сквозь боль, унять её. В виске,
 пульсация, душа на волоске
 от цели – от беспцельного пути.
 Идти за словом в целое, идти...



В ПОИСКАХ ОТВЕТА

Время движется, но вдруг устанет,
не молчит, не говорит, глядит –
на беду, что в призрачной сутане
смотрится в небесный лазурит,
будто ищет выходы сегодня,
или ищет солнце на пути,
но находит сотни жизней, сотни
по которым надобно идти.
Но находит лица человечьи,
и себя в них чёрную, себя,
и болезненное время, что не лечит,
и слепое пламя, что любя,
поглощает мир, и, ненавидя,
поглощает мир – до самой тьмы,
до последней буквы в алфавите,
до ключей от собственной тюрьмы.

*

Запрещали летать, говорили – накажем,
запрещали смеяться – открыто, без слёз,
в изголовье стояли, следили за каждым...
Ветер, вечер осенний и музыка звёзд
были в помощь нам грешным, бегущим из дома
от запретов на память небесных дорог.
Отвечали без слов на удар метронома
аритмией души, отбывающей срок
в слабом теле, способном заплакать от боли,
в нежном сердце, таившем печаль от потерь...
Задавали вопрос догонявшим: *доколе?*
И всегда получали ответ: *не теперь.*

*

Рисовал ветер пылью на лицах,
загонял в дом, ломал деревья,
гарцевал лихо на кобылицах
между городом и деревней.

А потом затих, словно умер,
и следов нет на дорогах от ветра.
Может, Бог его образумил,
или царь посулил земные недра.

Снова празднует камарилья,
и на улицах люд – к небу ближе.
Лишь у птиц поломаны крылья
на афишах...



*

Уходит море от берегов,
земля из-под ног уходит,
земля уползает от долгов
человечьей природе.
И, распахнув двери новых рек,
ныряем мы в параллели,
где сны от альфы и до омег
не оскудели,
где в каждом зеркале – яблонь цвет
и настёж окна,
где отыскать на вопрос ответ –
богоугодно...

Тебе не надо знать, о чём молчу,
мой голос не ищи на баррикадах.
Затеплю на рассвете я свечу
и буду молчаливой до заката.
А ночью неприметная звезда
ко сну направит сумрачные мысли,
плеснёт на миг словесная вода,
наполнится величественным смыслом,
но горе отзовется в сердце и
бессонным будет взгляд – на свет фонарный,
и вновь сойдёт с широкой колени
наполненный бедой состав словарный.
Устанет взгляд в лучистой пустоте
искать того, кто смертью был отобран.
К утру пойму – не те слова, не те...
для замерших в безмолвии загробном.

ВЛАДИМИР КАЦ

ДНЕЙ МОИХ ВЕРЕТЕНО

Пометим междометия,
Помножим их на три.
Такую арифметику
Попробуй, разбери.

На улице ни лампочки.
Кругом густая тьма.
Взлететь ночью бабочкой
И не сойти с ума.

И не сойти по лестнице,
Чтоб лба не расшибить.
И хочется повеситься,
И хочется любить.

А складка переносицы –
Как мостик между глаз.
И вновь пополнить хочется
Любви иконостас.

Свистящий вздох астматика
Поди останови.
Опять любви грамматику
Мы строим на крови.

Памяти Б. Пастернака

А тени октября
день ото дня всё тоньше,
Всё чаще под ногой
шуршит багряный лист,
Вечерняя заря
в крови полощет площадь,
Наотмашь бьёт тоской,
пронзает ветра свист.



Опять скользит перо
по белизне бумаги,
Опять дрожит рука
и я любовь пою.
И пересохшим ртом
пью горечь терпкой влаги,
Его хмельной строфы
«Сырую горечь пью».

Не разорвать кольца
осенней круговерти,
Шаги измен и встреч
невнятные и легки.
Не распознать лица
приблизившейся смерти,
её костлявых плеч
до гробовой доски.

«Держу пари, что я ещё не умер...»
О.Э. Мандельштам

Держу пари, что я ещё не умер, –
заплаты на одежде и душе
лишь повод для мучительных раздумий
и выцветших стихов в карандаше.
Я жил на рубеже тысячелетий,
на вечность наведя свой объектив,
но помню лишь твой почерк на конверте
и ветром перевернутый штатив.
Увы, мне не поётся с перепоя
над пропастью у мира на краю,
но я ведь жив и я чего-то стою,
и сохранил дистанцию мою.

А в начале последнего действия
Та же сцена – стена и окно,
И осеннее равноденствие
Крутит дней моих веретено,

Где нехитрая утварь кухонная,
За окошком аллея из лип,
И простуда кухонно-оконная,
И дверей перекошенных скрип...

А дорожка всё катится скатертью,
То ли вниз поведёт, то ли вверх
Мимо славы и мимо паперти
Без надрыва и смены вех.



Сколько длиться последнему действию,
К счастью, знать никому не дано.
Ах, осеннее равноденствие,
Золотое веретено.

Неначатых поэм наброски
И неоконченных стихов –
В бесплодных поисках неброских,
Но беспощадно точных слов.
По неумению или лени
Я не сумел их дописать,
Но рваным ритмом впечатлений
Заполнена моя тетрадь.
И вот теперь, под грудой писем
В последнем ящичке стола,
Сухим огнем осенних листьев
Меня страница обожгла.
Времен ушедших отголоски
Сорвали с памяти покров...
Неначатых поэм наброски
И неоконченных стихов.

Не обобщать. Подняться до конкретного.
Найти слова.
Найти слова простые, неприметные,
Чтобы жива
Была в них мысль своею воплощённостью,
И строк игла
Соединить надежду с обречённостью
В душе могла.

И каждый шаг: и робкий, и отчаянный
Запечатлеть.
В улыбке разглядеть глаза печальные,
Морщинок сеть.
За скрипом половиц – тяжёлой поступью –
Усталость дней.
За брошенную на пол папиросою –
Костер страстей.

Рассыпать ночь на вздохи и на шорохи,
На сердца стук.
И в ворохе шемающем – писем ворохе –
Всю боль разлук
Вдруг ощутить. И чёрною распутицей
Осенних снов
Шагать вперёд. И мучиться, и мучиться
Созвучьем слов.



Я обручён навечно с русской речью,
 С тяжёлой шириной равнинных рек,
 С излучиной... Я обречён картечью
 Картавых слов оборонять свой век.
 И никуда, и никуда не деться
 Сверчку малороссийской тишины, –
 Листом, засушенным в страницах книги детства,
 Не выпасть из гербария страны.

Нареку реку
 я рекой Окой.
 Над рекой Окой
 помашу рукой, –

там село Поленово,
 городок Таруса...
 Голыми коленями
 в небеса упрусь я,

голыми коленями,
 мускулистым торсом.
 Угостите пленника
 на террасе морсом –

посижу, поокаю
 над рекой Окой,
 с девой синеокою
 поделюсь тоской.

Отойдёт от пристани
 белый пароход.
 Всё ищущу я истину,
 уж который год.

Я нем. Я не Мастер.
 И глотка моя пересохла.
 Я просто песчинка
 В контексте недельных событий.
 Ну что за напасть, –
 Все опять перепутаны масти,
 Мне небо с овчинку,
 И солнце застряло в зените.

В лесу что-то сдохло, –
 Я снова засел за писанье.
 Засел – громко сказано,
 Так, записал пару строчек



Сырых и рокочущих,
Будто раствором в стакане
У зеркала в ванной
Ты горло больное полощешь.

Голова пуста,
Мыслей нет как нет,
И молчат уста,
И остыл обед.

Полоса удач,
Полоса невзгод,
Пролетел, хоть плачь,
За минуту год.

За минуту год,
За мгновение день,
Дел круговорот,
Денег дребедень.

До чего ж грустна
Суэта сует...
Голова пуста,
И остыл обед.

ЮЛИЯ МЕЛЬНИК

МНОГОЦВЕТНОГО МИРА ПОДАРКИ

Башни тянутся в небо, но башен всё меньше, друг...
Улетают от нас их дремучие голоса.
Их зовёт и тоскует уставший от шума слух,
Погости со мной, старая башня, хоть полчаса...

Прозвучи во мне эхом, по зябкой погладь щеке,
На пустой остановке мы встретим с тобой рассвет.
Я увижу – стоит королева с письмом в руке,
Позабыв, что прошло почти четыреста лет.

Всё стоит, твои мшистые камни глядя рукой,
Промолчи, мне не нужно знать от кого письмо,
Кто целует нетающий иней её висков...
Но маршрутка скрипит и не едет в «давным-давно».

Жизнь пахнет тишиной.
О, если б было так...
И в мире б не царил
Нелепый кавардак.

И сердце б омывал
Ликующий прибой,
И зажигался б свет
На улице любой.

У балерины бы
Не уставал носок,
И не болела дочь.
И не седел висок –

У вянущей травы,
У женщины любой...
И все узнали б вдруг:
Жизнь пахнет тишиной.



Я спряталась в доме – от лета, от зноя, от слов...
Я слышу наивную музыку детских шагов,
И то, как трава промокает под летним дождём,
И слухи об этом легко проникают в мой дом.

Я слышу, как дерево прячет морщины в тени,
Я слышу, как что-то сосед за стеной обронил –
То старую чашку, то пыльный словарь, то слезу...
Я спряталась в доме, как рыжая белка в лесу,

В дупле одиноком, где шорох листвы про запас,
Грибы и орехи, и солнца единственный глаз
За мною следит, суеверно и верно храня...
Я спряталась в доме. А кто-то – всё ищет меня.

Подари мне звон трамвая,
Улиц солнечный прибой...
Ничего не обещая,
Подари мне звон трамвая,
Я возьму его с собой.

Целый день без дел шататься
Буду, слыша этот звон,
Оступаться, спотыкаться,
ничему не удивляться,
Только бы не замер он...

Станут все слова и звуки
Незнакомы, как во сне...
Вдруг замрут слова и звуки,
И лишь детство тянет руки,
Руки хрупкие ко мне.

В пластмассовом сите у детства – горячий песок,
Ребёнок старатель сидит на песке и мечтает,
И громко смеется – от золота на волосок,
И золото это находит, и в море бросает...

Себе оставляя – солёные брызги и смех,
И льнёт мирозданье к его загорелым ладошкам...
А рядом – солидный, серьёзный, себе на уме –
Лежит этот мир, и в руках его – медная брошка.



Накусит яблоко ребёнок.
 Дохнет старуха молоко.
 А мне покажется спросонок,
 Что сердцу сладко и легко.

Что не напрасно жизнь стучится
 В моё окно дождём косым,
 Что летний вечер будет длиться
 И сыпать жемчугом росы.

И мир покажется щедрее
 На половину иль на треть...
 Прости мне то, что я старею,
 Но не сумела повзрослеть.

Одиночество в улье у рыжей пчелы,
 На прозрачном крыле – голубые прожилки...
 И опять ей приснятся деревьев стволы,
 И с черешен летят лепестки, как снежинки.

Под жужжанье и смех говорливых сестёр
 Она строит послушно уютные соты,
 А закат, как ребёнок, разводит костёр,
 А закат, как отец, возвратился с работы.

И краснеет, и гладит её по щеке,
 И следы его жаркие в облаке тают,
 А она всё твердит о прохладном цветке,
 О котором никто никогда не узнает.

А цикорий цветёт – удивлённо, светло, синеглазо...
 И опять на губах замирает случайная фраза.
 Он впервые глядит на меня, говорить не умея,
 И, быть может, стараясь понять, и, быть может, жалея.

Он лежит в колыбели травы, выпив дождь спозаранку,
 Он задорно моргнёт, он подлечит вчерашнюю ранку...
 Все привыкли к нему – как такое могло приключиться?
 И лишь ветер целует его голубые ресницы.

Это чудо – глядеть, но порой закрываешь глаза,
 Вдруг устав от стремительных, ярких, назойливых красок.
 И летит тишина, как летит над водой стрекоза,
 Да, откуда-то сверху летит тишина без подсказок.



И тогда вдруг поймёшь, почему одинокий Ван Гог
Начинал с самых тихих тонов и не требовал ярких...
И стоял, как ребёнок, боялся ступить за порог,
И боялся принять многоцветного мира подарки.

А потом осмелел – солнце Арля так жарко пекло,
И так много дарило, и не было сил отказаться.
А ему бы дожди – чтобы взяли его под крыло,
Укачали его на руках, прописали лекарство.

Где-то между ночью и рассветом,
Пробудясь под трепет ночника,
Вспомнишь, что слова гуляют где-то
И не попытаешься искать.

Кто-то сны цветастые в подушку
Быстро соберёт по одному,
И заставит верить простодушно
В глупенькую важную луну.

И увидев, что нырнуть не смеешь
Снова в снов непрочное жильё,
Ты летишь, хоть не совсем умеешь,
На пустую крышу и поёшь.

Свете Зелинской

А мы – городские птицы,
Нам некуда улетать,
Когда с облаков струится
Осенняя благодать.

Мы молча прижмёмся к ветру,
И спрячем сны под крыло,
Те сны, где вечное лето,
В которых – всегда тепло.

Мы будем лететь от кошек
К таинственным этим снам,
И музыка хлебных крошек
Просыплется из окна.

Я слышу осень за версту,
Её шуршащий сизый гравий.
Я к этой осени иду,
Хотя, быть может, и не вправе



Смотреть, как высохла трава,
Как губы жарких роз увяли,
Что улыбались нам едва,
Потом до слёз зацеловали.

А после что? Дождись... Дожди.
И сам дождём неосторожным
Забывших ран не береди,
Баюкай осень на груди,
И старый зонт найди в прихожей.

Увядают цветы... Есть ли в мире другие дела,
Чем на белую розу смотреть, что когда-то цвела,
И жалеть эту розу, колючек не приняв в расчёт,
И не знать, для чего и куда это время течёт...

И очнуться, и снова увидеть её красоту,
И сухой лепесток золотистый поймать на лету,
И «спасибо» сказать, что живём не в Эдемском саду.

Согрей меня, ветер... Наверное, ты сумеешь...
Ты сам разглядел, как я мёрзну под тёплым пледом,
И дуешь в лицо, потому что меня жалеешь,
И водишь по странам, каких не бывает летом.

Ты колешь мне пальцы, как тролль, что любил когда-то,
Да вот разлюбил, но оставить никак не может,
И бьёшь по щекам, словно в чём-то я виновата,
Щепотью заноз и колючек касаясь кожи.

А я за тобою бегу из светлого дома,
И падаю рыбой в твои ледяные сети,
Баюкая в сердце следов твоих невесомость,
Мой старый, усталый, сердитый осенний ветер.

Из пушкинской сказки выходит седой богатырь,
И влага морская стекает с его бороды.
И пепельных глаз одинокий и строгий прищур –
Откуда-то родом из детства, и я не хочу
Его отпускать. Я стою на горячем песке,
Не зная ни слова на древнем его языке.
А рядом – такой суетливый и пёстрый народ...
Седой богатырь переходит молчание вброд.



Я вижу так близко его золотые зрачки,
Как будто излучину девственной вечной реки.
А волны ликуют и плачут, а волны бегут...
И маленький Пушкин стоит на другом берегу.

Александрю Кушнеру

Ночь Петербургская. Задрнуть занавески...
Крик часек за окном
И тишины хрустальные подвески
Расслышать нам дано.

Как непривычно нам, что небо не темнеет,
Что свет – у самых век...
Ты в Летний сад иди, там статуей белеет
Ночь, лёгкая, как снег.

Но мы вернёмся вновь в солёный южный город –
Морской песок толочь.
И будет звездопад опять лететь за ворот...
И будет ночь как ночь.

КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВА

«В ТВОИХ ГРАНАТАХ ТАК МНОГО ЗЁРЕН...»

1.

Слышишь, в твоих гранатах так много зёрен –
Вот бы отдать их все за глоток свободы,
Сотую часть возможности возвратиться!

Тонны воды в подземных твоих озёрах,
Только река опасней и полноводней –
Та, что среди живущих зовётся Стиксом.

Слышишь, так много зёрен в твоих гранатах!
Кровью их сок в ладонях холодных станет,
Мёртвой водой не смоешь такого яда...

Утром проснуться дома в своей кровати
И закричать, едва ощутив в гортани
Горькую сладость спелых бордовых ягод.

2.

Я не знаю, кто и когда мне сказал о том, что
Не сумеет душа моя быть всё время рядом,
А уйдёт хоть разок – не сможет прийти обратно,

Но с тех пор и при свете дня мне темно и тошно,
Стала мёртвой вода, а пища – смертельным ядом,
И теперь я и сам сбежать от себя был рад бы.

Я не знаю, кто мне сказал, но чего уж проще:
Чтоб родная смогла в чертоге моём остаться,
Принести ей гранат – а дальше уж будь что будет.

Я неделю ходил в бескрайней фруктовой роще,
Чтоб найти самый спелый плод в этом стылом царстве,
И принёс ей его, как сердце своё, на блюде.

И теперь я повержен, просто без боя сдался,
Не кричу, не шепчу, но думаю: «Помоги мне!
Ты меня приручила, я за тебя в ответе»...



Я сижу, улыбаясь, чтоб он не догадался:
У меня на гранаты жуткая аллергия,
Но я съела уже их два, этот будет третьим.

Тише-тише, тише-тише,
Рыжий кот живёт на крыше,
Он во сне тебя услышит –
Не тревожь его покой.

Кот летать умеет смело,
Злую ночь раскрасив мелом,
Чтобы стала белой-белой,
Как парное молоко.

Закрывай глаза – не поздно
Рыжих лап услышать поступь
И найти такие звёзды,
Что не удержать в горсти.

Ну, а кот стоит на страже
Снов для смелых и отважных.
Засыпай – и сам расскажешь,
Тише-тише, тише-ти...

Ты горишь в этом пламени, пламя горит во мне.
Пламя пляшет к обрыву вслед за своим шаманом.
Я пират, моё сердце хранится на самом дне
Под пугающей толщей воды и пропитых дней –
Впрочем, этому факелу даже такого мало.

Не смотри на меня, это жадная глубина,
Ты не встретишь других таких марианских впадин.
Но скажи мне, принцесса, какого улова ради
Ты стоишь у причала, боса и обнажена,
Всё пытаясь хотя бы взглядом достать до дна,
Где лежит моё сердце, больше не помня радость.

Океан не сравнится с водой, что течёт в реке,
И тебе не увлечь меня песней, рассказом, танцем.
Я пират, моё сердце хранится в чужой руке,
Ты его не найдёшь, слышишь, лучше и не пытаться.
Но когда надоест надеяться и бояться,
Оставляй своё сердце факелом в маяке,
Чтоб мне было куда вернуться и где остаться.



Всё это о любви, даже страх и гнев,
 Даже брезгливость, жалость и осторожность.
 Я не могу без боли, ты, знаю, тоже,
 Вот мы и возвращаемся вечно к ней.

Всё это о любви, ни о чем другом,
 Но от касаний вздрогнув, как от укулов,
 Помни, не жажда жить, а смертельный голод
 Ждёт нас обоих преданно за углом.

Всё это о любви, но сама любовь
 Не остаётся там, где кричат и плачут.
 Пусть подоконник греют следы кошачьи,
 Мне не уснуть, всю ночь просидев с тобой.
 Спи, мой любимый рыжий бессмертный мальчик.

Я не помню уже, о чём ты мне пела песни,
 Не сумев рассказать, как горе сжимает горло.
 Я не трогал твой голос – взял лишь тот старый перстень,
 Что умел открывать ворота в безмолвный город.

Я оставил твой голос, только все песни немые
 Стали с этой поры, не знаю, кто в том виновен.
 Ты ходила к воде, смотрела в неё, как в небо,
 И кольцо на моей ладони сверкало новым

Чистым золотом, да таким, что и солнце меркло,
 Тишина разливалась, мокли колени, плечи,
 Стала кожа на вкус как будто солёной, терпкой.
 Я не трогал твой голос, кто же тогда мне шепчет

То, что море в груди не вылечить, не утешить?
 Помню, пела ты песни – я не желал их слушать.
 Я оставил твой голос, только, скажи, зачем же
 Взят тот проклятый перстень, что разъедает душу...

В тихом городе осень – душно, тепло и сыро,
 Здесь не так уж и страшно, даже почти не больно.
 Я узнал, что ты в песнях лишь одного просила –
 Чтوب я взял у тебя кольцо, отпустив на волю.

Так не стой у воды – прекрасна, светла, довольна –
 Песня моря внутри меня набирает силу.



В каждой погасшей свечке твой стылый дух –
Нет, не душа, но что-то важнее тела.
Я не хотела этого, не хотела:
Ты не зовёшь, но я за тобой бреду,
Чтобы дойти до крайности, до предела,
Чтобы проснуться вместе в одном аду.

Раной алеет кожа чуть ниже рта,
Будто не поцелуй, а ожог кислотный.
Лес станет чащей, чистый ручей – болотом,
После всего останется пустота.
Я обернусь и стану женою Лота,
В тысячный раз твоею женой не став.

Вязкий туман над морем, гудит маяк,
Гроздь рябины бьются о черепицу,
Соком её кровавым нельзя напиться,
Если сухие вены заполнил яд.
Хочешь сказать в конце: «Ты – моя убийца»,
Но остаётся хрипкое: «Ты моя».

Не замечать, как сильно саднят ключицы,
Рвать тишину неровным сердечным боем,
Быть не слепым волчонком – почти волчицей,
Знать ничего о радости, всё – о боли.

К людям прибиться, спать под надёжной крышей,
Днями ходить нарядная, как невеста,
А по ночам не видеть, но чутать, слышать:
«Ты – дикий зверь, таким здесь, увы, не место.

Что будешь делать, если узнают, кто ты?»,
Пусть не найти ни жеста, ни взгляда злого,
Помнить: по следу зверя идёт охотник,
Знать всё о смерти, а о любви – ни слова.

Прочь убежать из города – в лес, на волю,
Чтоб не искать погибель за каждой дверцей.
Это совсем не сложно, но слишком больно –
Жить в человеческом облике с волчьим сердцем.

Не замечать, как сильно саднят ключицы,
Воздух холодный лёгкие рвёт на части.
Что теперь будет, что теперь не случится?
Знать всё о страхе и ничего – о счастье.



Сколько вместилось в эту тугую вечность,
 Где мы играли в жизнь, никого не слушая?
 Мы стали чуть слабее, но человечней,
 Легче, красивей, радостней и беспечней –
 Вряд ли всё это к лучшему.

Целую ночь качались в ладонях мира,
 Слишком прекрасно – это была не сказка ли?
 Ну, а теперь сплошь ладан, сандал и мирра,
 Можно творить спасителей и кумиров –
 Время не станет ласковой.

Надо к утру взвалить горизонт на плечи,
 Наши костры остались золой да искрами.
 Мы же теперь слабее, но человечней,
 Легче, красивей, радостней и беспечней –
 Только ничуть не искренней.

Чуть солёная брынза, брызги из глаз залива,
 Неподдельные чувства, спрятанные в рюкзак,
 Предзакатное солнце – охра и бирюза.
 Не умеешь быть сильным, друг мой, так будь счастливым,
 Знаешь, я только за.

Сквозь охрипшее горло в голосе много фальши.
 Мы не брат и сестра, но это почти родство,
 Обрастаем вещами, будто стволы листвой,
 Но в последнем письме – зачитанном, карандашном –
 Почерк, похоже, твой.

Жарко чайки бранятся, просят еды и зрелищ,
 Потемневшее солнце прыгнет вот-вот с моста,
 У залива и слёзы – сплошь серебро да сталь.
 Будь счастливым, мой друг, раз смелым быть не умеешь,
 Добрым, увы, не став.

Волны тихой истома, томик стихов Катулла...
 Тем, что канули в Лету, взять бы с собой компас.
 И когда кто-то спросит правду о прежних нас,
 Ты, конечно, не вспомнишь – я это всё придумала,
 Дальше ты сам – я пас.

У меня в руке ландыш, какие-то листья и чуть травы
 Когда я вырасту, каждый будет со мной на вы
 И мама, и папа, и бабушка, и даже чужие люди
 А пока все вокруг говорят, что кого-то любят



Я не знаю, что это значит
Вчера подарил Оле мячик
Сегодня забрал обратно
У неё есть цветные ручки и старший брат

Мы вчера подрались: у меня на локте зелёнка, у Оли – бинт
Кажется, это и есть любить

У меня в руке ландыш, какие-то листья – почти букет
И крутая жвачка в другой руке
К вечеру будет в Олиных волосах
Больше не знаю, о чем писать
Мама, придя с работы, часто ругается и кричит
Папа молчит
Прилетели вороны, голуби и грачи

Взрослые говорят, что любить непросто
Я не хочу быть взрослым

У меня в руке ландыш и какие-то листья с окрестных клумб
Я уже большой, а значит, вовсе не так уж глуп
Оля завтра уедет
У неё появятся новые одноклассники и соседи
Кто-то будет сидеть с ней за партой справа
Я в письме сделал две ошибки, надо потом исправить

Через месяц засохший ландыш сложу в конверт
Напишу, что любить – это ждать ответа

Время – песок,
Вдоль пляжа напскосок
Вьётся река, как ленточный поясок.
Палец поранишь – брызнет вишнёвый сок.

Время – лишь град
Провалов, побед, наград,
Фраз, что к обеду станут важней стократ.
Холм у реки маячит, как зиккурат.

В горле засов,
Затянутое лассо –
Сотни неважных, нежных, ненужных слов,
Муки сомнений, мельничный жаркий зов.
Время – вода, что двигает колесо.

МАРИЯ САВЧЕНКО

НИТЕВИДНЫЙ САМОПИСЕЦ

Тончайший свет,
вневременной
день.
В каплях покоя.
Кошка,
трогающая за хвост мокрого голубя,
загнанного в угол открытым балконным окном;
камни на повороте,
будто
часть нерассказанной тропинки;
недописанный телефонный номер,
отпустивший попытку предложить себя кем-то.
(слишком синто)

зверем разморенным,
затаившись в приграничье
стеблей тростника и топкой низины
в ожиданье движенья.

Филином сонным,
на ветке покачиваясь
и забыв об охоте.
Далеко до рассвета.

Цикламеном нежно склонившись
Сбитым густою росой,
Нежно бутоном
К земле припадая.

Веткой цветущей, тронутой неосторожно
Возгласом слишком восторженным
Любителей любоваться.
Происхожу.



дыша бежала летела
бутона трогала сетью заплетённый
безмянной калитки сквозь
прохлада висела в покое
крупных тёмно-упругих листов
ствол наискось
ниспадания мелкого кружева
привратника-вьюна
ореховый завтрак в тени
шапочных мыслей выговорения
некоторым из ста
гипотетическим

о длине стручка судила
по встрече с бутоном
в прошлую среду 3-го месяца до

несть числа
крошечным перламутрам
что унесла из гнезда
птичьей лёгкой радости
чаянной
в лепестках колких вымаялась
цветом воды вытерлась
фонтаном напилась

светлые мои чувства дымчатые облака
слодяным оконцем солнце
розовым мягким светом
окутан дом моих нерассказанных историй
пепе-пепельно ресницы прикрывают то
от чего холодеет сердце

и улыбка еле смочила губы
вместе с кофе
в согревающей кофе чашке,
где проплывают
невидимые вчерашние яхты
и трель телефонных звонков
с разговорами будто

Вы слали письма натошак
голодным псам войны.
Из весел сделали приклад,
Обоймы из любви.



О, Вечер! Век далёк от сна,
 Безумен Посейдон...
 ...Твоим серьгам подобен звон
 Колоколов из тьмы....

В стаканчике кофе белом
 Найденном на берегу
 Тёплый и крепкий дух
 И арабская вязь по кругу
 Писанная неизвестным другом:
 «Не восстанавливай то, чего нет,
 Песня не знает повтора,
 птица – трепет простора,
 а не кривая полёта.
 Имя не значит суть».

Лев горделивый
 Осанку внушая
 Свастхи
 Гривасто
 Радасто
 И рдея
 Пенно убого
 И красногвардея
 Рык киноварный
 Глаз блеск янтая

Нежно стихал дождем,
 Мерцая мерно.
 Напрямик, звуком и шагом,
 шелестом луж,
 Темноту окружая взглядом.
 В блеске нитей от фонарей
 Быть царём или проходя в такт
 Маленькой собачкой белой,
 Рисую воздухом аромат
 Нераскрытых цветов дальних,
 протянувших ветви к дождю
 из совсем другой ночи,
 для совсем других взглядов,
 без мыслей бегущих
 строчек.



Заведомо неизвестным
Крапчатым
Взбрызнутым
Дранным
Избегнув и пропасти и взлета
Я продолжаю делать чего-то упрямо
Не делая впрочем чего то.

Летучими сланцевыми изменениями
Грозит штормовой перевал.
Превалируя доминантой есть
И кормчий отражаясь в махровых
Турбоподобных сводах
Дрожит мелким суетливым огоньком
Поточного действия,
Боковым зрением
Подтолкнув локтем.
Зима горяча
Не в градусе дело, а в смелости широтах
Потакание девственным
Жимолость юна
Лелека за хмарними часами
Глоссарий известен
Шестым чувством цвести
Когда не плод
А кость в чести.
А кони тучные широкобедрые,
Со всадниками не менее
Встали в горсти
Новостей полустаночных
Из магазина
трёхзвездочным коньяком выходя
вести́мо.

Ветер крепчал.
Паруса ломились
Блюдами с икрой
И мясом свежевы(ловле)нных омаров.
Ты держался за мачту,
Но это не спасало от непогоды,
А только давало ощущение руки
В отсутствии рядом.

Анатомия страсти
Не похожа
на Географический атлас.



Закусив сережки как удила
Выпрямляя строку в полёте
В преломлении ночи и дня,
Не смеясь – принимая
Отказ от себя,
И не смея иначе открыться...
Сладким воздухом грея
Колено и прыть
Из жасминно-пионных поверий,
Безъязыко о правде душой говорить,
не минуя минувших событий.
Где открытий бездонность и мера вещей!
Ниагарой ухлестывай вместе
Мыслей садом росящих
И плодоносящих идей,
Не вращая в подобие смыслов.

АННА ЯБЛОНСКАЯ

ЭКСКУРСИЯ НАВЕРХ

рассказ

!»!

Лист бумаги всегда казался мне слишком белым, для того, чтобы у кого-то могло возникнуть право заполнять его словами.

Тем не менее, в среду утром из почтового ящика, выкрашенного в плавный зелёный, вывалился конверт. Адрес был написан чётко и разборчиво, также, как и имя получателя – !»!

!»! вскрыл конверт и на плотной розоватой бумаге прочёл буквально следующее: «Девушка, вы разбиваете мне сердце».

К чести !»!, он не испытал ни испуга, ни недоумения. В туннелях его мозга не возникло дребезжащей мысли, что это почтовая ошибка. Не взирая на то, что !»! был нелюдимым малоразговорчивым мужчиной, не сыгравшим ни в чьей жизни даже трагикомической роли – !»! понял, что конверт предназначался именно ему. И то, что для этого не было никаких причин, и то, что !»! не знал ни одного человека, который даже в шутку мог бы отправить ему подобное письмо (да и вообще письмо!) лишь укрепило уверенность !»! в верности.

Наконец, это случилось.

!»! прочёл обратный адрес, и в вечером той же среды сел на поезд, следующий в город Q.

Крепко сцепившись смуглыми пальцами в бледный поручень вагонного коридора, !»! смотрел, как трогается и отходит от платформы его собственная жизнь, смешиваясь с электрическим сиянием вокзальных фонарей и красными силуэтами деревьев.

– О чём фильм? – тихо спросил проводник, кивая на пейзаж за окном.

Его живот имел очертания земного шара, зачехленного в шерстяной жилет атмосферы. Когда проводник совершал вояж по коридору, пассажиры были вынуждены пятиться в другой вагон или скрываться в купе: разминуться с ним было никак нельзя. Его орбита казалась слишком узкой для того, чтобы по ней параллельно мог двигаться кто-то ещё.

– Раньше я крутил фильмы в кинотеатрах. Для такого, как я, конечным пунктом эволюции является работа проводника в поездах дальнего следования. Потому что поезд – это единственная возможность находиться внутри кинопроектора. Ведь если в кинотеатре вы неподвижно сидите в кресле и следите за тем, как на экране мелькают кадры, склеенные режиссером монтажа, то здесь – в поезде – все намного прекраснее. Поезд сам бежит мимо неподвижных кадров, и они оживают – рельсы удлиняют свои кости, станции поворачивают головы, старухи выпекают новые и новые пирожки. И ты сам можешь склеивать эти картинки или вырезать и выбрасывать из фильма, из жизни, из памяти. Пейзажи всегда одинаковые, а фильмы каждый раз новые. То есть я постоянно присутствую на Премьерах. Понимаете? И ковбои палили в паровоз вовсе не потому, что боялись, будто он их раздавит. Неужели вы верите, что этих грубых грязных интровертов мог испугать какой-то паровоз на белой простыне? Совсем нет. Они палили в него, потому что это невыносимо. Пребывая в униженном пассивном положении наблюдателя и вдруг увидев на экране живой железный дымящийся организм, сразу начинаешь ощущать свою ничтожность перед машиной, хочешь стать частью величественного механизма, а не ерзать на стуле как беспомощное насекомое... Вот почему они стреляли. От безысходности, понимаете? Вы будете брать постель?

!»! посмотрел на живот проводника и мысленно стал вращать Землю в другую сторону. Проводник, привычно угадав этот процесс, покорно стоял, выставив живот, ожидая, когда !»! окончит.

!»! наслаждался, он почти физически ощущал, как меняет направление движения Земли – делает то, чего раньше не мог сделать никто: даже Леонардо. Он медленно преодолевал космическое сопротивление, поворачивал планету против часовой стрелки. И в ту секунду, когда резьба сорвалась, и Земля беспомощно и свободно закрутилась в обратном направлении, »! отпустил её.

Проводник, в который раз, ощутил дискомфорт в области кишечника и снова подумал, что на такой работе не умрёт своей смертью.

Благодарно кивнув проводнику, »! принял из рук поверженного земного шара наволочку, полотенце и две влажных простыни.

!»! удалился в свое купе.

Там – на верхней полке собственного сознания – он плавно въезжал в тёмную тайну своей ново-рожденной жизни.

Город Q

На конверте значился следующий адрес: город Q, набережная реки Ситарки, 1.

Город Q весь был изрезан речками и каналами, как бывает изрезано лабиринтами червивое яблоко. В городе Q имелось немыслимое количество прудов и прудиков, населенных усталыми лебедями и утками, гниющими листьями и одинокими рыбаками. Город Q был городом хрустящих чугунных арок, слабых деревянных, каменных и жирных железных мостов. И все эти мосты и арки казались животными, в панике покидавшими родные леса, спасавшимися от затхлой близости города – зайцами, медведями и волками, которые по воле Лесничего или Градоначальника обращались в дерево, чугун и камень в тот самый миг, когда перепрыгивали с одного берега на другой.

Город Q был – красивый, древний, знаменитый, гниющий музей, агонизирующий желанием продать себя подороже всякому заезжему чужаку. И город Q продавал себя. Каждым стёсанным булыжником мостовых, каждым кирпичиком своих печальных резиденций, каждой унцией громадных бронзовых изваяний, мозаичными маковками церквей со стершимися фресками и разоренными алтарями... Город Q выставлял на продажу всё: и верхние одежды – серо-зелёные дворцы на центральных площадях, и исподнее – чумные охрипшие улочки на окраинах с угрюмыми трубами фабрик из красного кирпича, больницами и богадельнями, расхристанными вагончиками трамваев...

Город Q был городом, куда все приезжали или хотели приехать, чтобы поймать его дух, его дым, его воздух одуревшим от впечатлений объективом фотоаппарата, но город Q был городом, в котором, казалось, никто не жил.

Лишь спустя долгое время пребывания в этом городе, »! научился замечать редких местных жителей, неуловимо сливавшихся с гранитными набережными, с шумом ветра, с туманом над чёрной водой каналов. Они прятались, как прячутся крысы, живущие в музее – не потому что боятся травли, а потому, что придавлены величием экспонатов.

!»! обнаружил, что в городе Q нет ни магазинов, ни парикмахерских, ни курсов французского языка – он не увидел никаких вывесок, кроме двух огромных транспарантов, то и дело возникавших на площадях и проспектах, в парках и на стенах дворцов.

На одной из вывесок зернистыми чёрными буквами, готично извивавшимися на зелёном поле, значилось следующее:

ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО ЛЕРПЕНСА: БЛЕСК УШЕДШИХ ЭПОХ, ПУТЕШЕСТВИЯ ВО ВРЕМЕНИ С ОПЫТНЫМИ ПРОВОДНИКАМИ.

Другая вывеска, исполненная в красно-белых тонах, ровным подчеркнuto простым шрифтом сообщала:

ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО «НОВЫЕ ГЛАЗА»: Q – ГОРОД, КОТОРОГО ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ГОРОД, КОТОРЫЙ У ВАС УКРАЛИ.

!»! прочел обе вывески, смутно ощутив, что с этими шрифтами, этими странными ускользающими, бессмысленными лозунгами будет связано что-то важное, что-то такое, чего ни обрести, ни утратить, но такое, от чего нельзя уклониться, а можно только зажмуриться и шагнуть наугад.

Спрятав в нагрудный карман конверт с письмом, »! вышел на набережную реки Ситарки. Эта река зигзагообразно впечатывалась в город Q, образуя в самом его центре дельту с двумя крохотными причалами. Над каждым из причалов развеялся флаг: один был чёрно-зелёный, другой – бело-красный. На чёрно-зелёном флаге трепыхалась надпись «ЭКСКУРСИИ ЛЕРПЕНСА», на красно-белом – «НОВЫЕ ГЛАЗА».



На поверхности мутной дымной Ситарки качались старые лодки с маленькими крытыми палубами. Под брезентом виднелись пластмассовые стулья, белые от времени и холода.

На причалах – под разными флагами – стояли люди. В их руках гарцевали громкоговорители. Люди, стараясь заглушить друг друга, выбрасывали свои голоса в гулкое пространство города, хрипло призывая совершить «увлекательную прогулку по рекам и каналам Q». На обоих причалах значился адрес: «Набережная реки Ситарки, 1». Подробности звучавших призывов почти нельзя было уловить – так гриппозно трещали громкоговорители. Но то, что улавливалось почти сразу – так это обоюдная ненависть приверженцев разных флагов, их кровавая конкуренция, иступлённые бои за каждого, кто ступал на борт углой лодки, а ещё тревога, носившаяся над дельтой, как тёмный газовый платок, случайно упущенный девушкой.

Флаги

! сразу заметил, что всех чужаков, собравшихся совершить прогулку, можно разделить на две группы. Первая группа, к которой примкнул и сам !, состояла из растерянных мужчин и женщин, которые туманным утром четверга прибыли в Q и желали сразу впихнуть в свои зрачки побольше дворцов и фонтанов, до обморока надышаться щекочущим воздухом древности, распластаться над чёрными артериями рек. Все эти люди только искали способ. В нервном ознобе они топтались по набережной, пытаясь расслышать призывы конкурирующих бюро, чтобы, в конце концов, сделать выбор и поскорее отправиться на пожирание города.

Вот за этих вибрирующих людей шло главное сражение между бюро Лерпенса и «Новыми глазами».

Была и вторая группа. Те, которые знали точно.

Их походка вызывала тянущее чувство. Они тихо и безлюдно пробирались сквозь толпу по набережной, а затем сходили причалы таким чётким чиркающим шагом, словно совершали самый важный, самый правильный поступок в жизни.

Эти люди безмолвно занимали пластмассовые кресла в лодках, не поднимая головы, не останавливаясь, не пытаясь никого взять с собой. И самое странное, что агитаторы на обоих причалах уже не обращали на них никакого внимания, словно эти ритмичные туристы были глухонемые странники, навсегда потерянные для лозунгов и обещаний.

! попытался и не смог представить, что кто-нибудь сумеет заставить этих людей остановиться, повернуть назад, сесть в другую лодку.

Основная борьба шла за души неопределившихся, и каждая такая душа, выхваченная из озябшей толпы, каждый новообращённый под дрожащим флагом экскурсоводов рассматривался и оценивался, как рассматриваются и оцениваются драгоценные камни, только что извлечённые из грязи.

! снова достал конверт.

Набережная реки Ситарки, 1.

! не просто чувствовал, но знал, что автор письма находится на одном из этих причалов, но на каком – чёрно-зелёном или бело-красном – не знал и не чувствовал, и эта была первая внезапная загадка в череде ясных уверенных знаков.

! посмотрел вниз и увидел шнурки, сбитые носы, каблуки, плащи, колготы.

! посмотрел прямо – поверх не- и покрытых голов – и увидел двух сизых стариков в чёрно-зелёном, девушку, газовый платок, ещё каких-то женщин, мальчиков, и увидел бело-красные рты, перекопанные, глаза ласковые и весёлые, молодые, потом девушка, газовый платок, тусклый отблеск.

! посмотрел вверх и увидел небо цвета обезжиренного кефира.

Подсказки не было.

Бумага была розовой и из этого следовало, что автор письма примкнул к красно-белым, а буквы – чёрные, летящие, но извилистые, почти готические, но не готические, потому что в этом письме не было подсказки, не было.

Но ведь никто не говорил, что отгадать просто. Говорили только, что если отказаться отгадывать или отгадать неверно, то ты сам станешь загадкой, но тебя, будь уверен, разгадают быстро. Очень быстро. Раскрошат, как сухарь.

А кто говорил?

Письмо?

Девушка?



Девушка.

Девушка вы.

Девушка вы разбиваете.

Девушка, вы разбиваете мне.

Сердце, мне сердце, вы разбиваете, сердце, мне, девушка, Вы.

Кресла в катерах заполнились. Обе лодки готовы были отправляться.

!»! подошёл к самому краю набережной, пытаясь мысленно взвесить оба корабля, оба причала. И вес их выходил равным.

Внезапно на красно-белом фланге появился человек, очень молодой и очень радостный. Он посмотрел на »!» и улыбка сошла с его лица, и лодка оттолкнулась от берега.

– К нам, – сказал красно-белый.

А потом случился крик со стороны черно-зелёных. Искренний, простуженный – не в мегафон.

– Давай же, сынок!

Старик подал »!» чешуйчатую руку, и, ни секунды не думая, он крепко сжал её, как сжимают яблоко, протянутое жилистым деревом – просто и навсегда.

Димитракис

– Мы начинаем наше путешествие от набережной реки Ситарки. От того самого причала, на котором молодой граф Геркон обронил обе перчатки под ноги промышленнику Димитракису. Надо сказать, что Димитракис был человек черноволосый. Не имея ни титула, ни капитала, он прибыл в Q в возрасте двадцати трёх лет и нанялся простым рабочим на оружейную фабрику князя Витса – родного дядюшки графа Геркона. Сейчас по правому борту Вы можете видеть роскошный фамильный дворец, принадлежавший Герконам. Обратите внимание на последнее окно слева на третьем этаже. Это спальня графини. Именно там, в ночь перед дуэлью, молодой граф успокоил мать, сказав ей, что поединка не будет, а сам вернулся в свою комнату (третье окно слева) и написал возлюбленной, что завтра непременно умрёт.

Будучи человеком непьющим и скрупулёзным, Димитракис заслужил доверие начальства и стал продвигаться по службе. Через восемь лет, после смерти старого приказчика, сам князь Витс назначил Димитракиса управляющим и ежедневно в восемь вечера лично выслушивал его отчеты, удивляясь дельным замечаниям черноволосого человека. Сначала эти беседы происходили на фабрике, а позже в кабинете самого Витса – в поместье, окруженном яблоневым садом на левом берегу Ситарки. Именно там Димитракис познакомился с юным Герконом. Юноша обнаружил пылкое желание изучать оружейное дело и, с согласия отца, стал посещать мануфактуру дядюшки и беседовать с управляющим. Не смотря на разницу в возрасте и социальном статусе, Геркон искренне привязался к Димитракису, умевшему немногословно, но замечательно говорить об оружии – единственном, что его интересовало. Геркон проводил с Димитракисом много времени. При этом юный граф пренебрегал обществом своих сверстников.

Обратите внимание на большой серый дом с правой стороны. Именно здесь располагалась когда-то оружейная фабрика Витса, сейчас в этом здании – музей старинного оружия. А с левой стороны – Игрный Дом, действующий до сих пор. Именно здесь князь Витс, безумный преферансист, просадил более половины своего состояния, влез в долги и был вынужден продать мануфактуру. В числе покупателей, вошедших в долю, был и управляющий Димитракис, который, как оказалось, все эти годы жил в ужасной конуре, отказывая себе буквально во всём, чтобы скопить денег. Акционеры доверили Димитракису широкие управленческие полномочия. И, фактически, он единолично руководил фабрикой, сделав её одной из самых преуспевающих. Таким образом, угрюмый черноволосый Димитракис стал промышленником.

Их отношения с графом Герконом не прекращались.

По сути дела, молодой граф был единственным другом стареющего Димитракиса.

Чуть дальше, вот за этим мостом, Геркон и Димитракис упражнялись в стрельбе из разных видов оружия. Граф стрелял очень недурно, но Димитракис был стрелком волшебным. Он вслепую попадал в подброшенную копейку, его рука спокойно и точно поражала цель. Однако, будучи человеком странным, Димитракис никогда не принимал участие в охотах, целил только по мишени.

Что явилось причиной размолвки Геркона и Димитракиса, неизвестно по сей день. Однако известно, что в последние недели Геркон жарко спорил с Димитракисом, пытаясь убедить его совершить нечто важное, нечто достойное славы, нечто такое, что мог сделать только Димитракис. Однако, по всей видимости, Димитракис отказал своему молодому другу.



Справа по борту вы видите Стратовский остров, где стрелялись граф и промышленник. Они разошлись на тридцать шагов и сделали по выстрелу. Геркон стрелял первым, но от волнения промахнулся. Димитракис выстрелил в воздух. Геркон потребовал повторного выстрела. Димитракис согласился, они сошлись на пятнадцать шагов. Димитракис снова выстрелил вверх, а Геркон, прицелившись, убил противника наповал.

После нескольких лет ссылки, граф Геркон возвратился в Q и занялся политикой. Он был сторонником глобальных перемен в городе для достижения всеобщего благоденствия. Но на его пути встал реакционер, епископ Pта – советник Градоначальника и духовный наставник его жены. Епископ имел колоссальное влияние на супругов, Pта фактически управлял городом Q. Без его согласия не решались даже такие вопросы, как строительство фонтана или возведение памятника.

Геркон начал пыльную борьбу с епископом, пытаясь убедить Градоначальника, что реакционное влияние Pта на жизнь города и общества не только вредно, но и просто опасно. Но – безрезультатно. Жена Градоначальника давно мучалась астмой, и, по её словам, молитвы епископа творили с ней чудеса, облегчали дыхание и придавали сил. По правому борту вы видите летнюю резиденцию главы города, где буквально властвовал епископ – без его директивы не открывались даже окна во дворце. А чуть дальше – на левом берегу – дом доктора Феера.

Обратите внимание на ряд окон первого этажа. Эта гостиная. Там граф Геркон застрелил епископа, приглашённого к доктору отобедать. Как выяснилось позже, доктор Феер – друг Геркона, с которым граф близко сошёлся после ссылки – должен был подсыпать крысиного яду в суп епископа, но не смог нарушить клятву Гиппократу и положил в тарелку Pта зубного порошка. В результате Геркон сам убил епископа из револьвера оружейной фабрики Димитракиса.

По правому борту вы можете видеть здание суда. Присяжные признали графа виновным в предумышленном убийстве, а судья приговорил Геркона к каторжным работам.

А вот на левом берегу расположено кладбище, где похоронен черноволосый Димитракис, отказавшийся сделать что-то важное...

Комната

Лодка прошмыгнула под мостом.

Потом был телесно-бурый туннель, ещё несколько поворотов и, наконец, канал.

Катер возвращался на причал другой дорогой.

Сизый старик странно держал микрофон.

♪! пришла в голову мысль, что так, должно быть, держат цветок за минуту до гниения.

Экскурсовод сообщал публике о каких-то людях и тут же указывал на больницы, дворцы и тюрьмы по берегам канала. И было совершенно очевидно, что это метафизическое проникновение чьих-то жизней в гранит, кирпич и мрамор делалось возможным только благодаря слову экскурсовода. Его голос отражался в чёрном цветке микрофона и оседал пылью на губах онемевших слушателей.

♪! плавно съезжал по гладкому склону неторопливой речи. Почти без интонационных пауз, без напруг ударений, ровно, иногда пунктиром – этот голос вёл его, как ведёт дорога, и ♪! шёл по ней – с раздвоенным удовольствием – вниз, вниз по склону, вдоль разделительной полосы.

♪! чувствовал, что этот голос расслаивается на запахи и цвета, отделяется от смысла, от имён и дат, и становится чем-то вроде воздушного змея, поводья, браслета.

– Здравствуйте, – сказал сизый старик – и лодка ударилась о набережную. – Наконец-то.

Экскурсовод протянул ♪! ладонь.

– Пойдёмте. Вы без вещей?

– Без вещей.

– Хорошо. Это хорошо.

Они шли недолго. Пересекли парк, прошли вдоль серебристой от мороси улице, повернули в подворотню. Поднявшись на второй этаж трёхэтажного дома, вошли в открытую чёрную дверь.

На кухне за складным столом сидела старуха. Увидев гостей, она подошла к плите, сняла крышку с эмалированной кастрюли и вопросительно принохалась.

– Насыпай.

Они разулись и вошли в комнату.



Комната была городом Q в миниатюре. Большая, сырая, заставленная массивной антикварной мебелью, пыльными статуэтками, с лепниной на потолке, истёршимся паркетом, запахом дождя.

– Располагайтесь.

Старик и Ъ! сели на полуторную кровать, укрытую колючим клетчатым покрывалом. Немного помолчали.

– Позвольте Ваше приглашение, – попросил экскурсовод.

Ъ! молча достал конверт. Старик зажал его между ладонями, зажмурился, словно проверяя подлинность. Затем достал письмо, перечёл, удовлетворенно кивнул и быстро спрятал розовый листок в карман брюк.

– Что ж. Завтра в 10 я жду Вас на Набережной. Вы закреплены за мной. Поэтому прошу Вас смотреть и слушать внимательно. Попытайтесь не поддаваться, хотя это редко у кого получается с первого раза. Позже научитесь. И, конечно, поздравляю.

Комната наполнилась запахом горячего капустного супа.

– Поешьте и ложитесь спать. – улыбнулся старик, прощаясь.

– А можно оставить его у себя? – вдруг попросил Ъ!.

– Кого?

– Письмо.

– Зачем оно Вам?

– Просто.

– Нет, – ответил старик, и мягко закрыл дверь.

Старуха

Старуха стояла спиной к окну, облокотившись на подоконник, и смотрела, как он раз за разом подносит ко рту около 30 грамм дымящейся еды, жуёт, глотает и снова окунает ложку в золотистый капустный суп.

Старуха была неподвижна, потом зашевелилась, взяла со стола горбушку серого хлеба и стала отщипывать мякоть. Она скатывала её в шарики и ела, а когда мякоти не осталось, старуха надвое разорвала горбушку и прожевала обе половины.

– Сегодня приехали?

– Сегодня.

– А откуда?

Ъ! задумался, обернулся и указал рукой куда-то в угол, на северо-восток.

– А-а-а. – кивнула старуха. – Давно оттуда не было. В ученики, значит.

Ъ! перестал есть.

– В ученики?

– Ну, да.

– В ученики.

– На Ситарке?

– Первый номер.

– Первого номера нет.

– Как?

– Нумерация начинается со второго.

– Как?

– Дело Тайное.

– Тайное?

– И долгое.

– Почему?

– Бывает, всю жизнь в учениках. Повезло Вам: с северо-востока и сюда. Повезло. Хотя это как сказать. Может, и не повезло. Главное, одеваться потеплее и беречь голос.

– Связки?

– Связки. И важно вот ещё что. Лестница. Внутри каждого экскурсовода есть лестница со множеством ответвлений. Их столько, что когда начинаешь карабкаться, перестаешь понимать, где верх, а где низ. Так вот нужно любой ценой не потерять ориентир, стараться запомнить каждую мелочь, номер, стрелку, ступень, поворот и выбрать направление самому – наверх или же... А если заблудитесь, то лестница сделает выбор за вас, она станет влиять и запутывать. Это ослабляет связки. Люди перестают верить.



Поначалу, конечно, тяжело. Но потом получится, и тогда – держитесь, не отвлекайтесь на постороннее. Каждый вечер проверяйте у зеркала цвет глаз. Если желтеют – это Лерпенс. Смотрите. А так ничего... Холодно зато только...

Старуха тщательно вымыла белую выщербленную тарелку и ушла.

!»! вошёл в комнату, разделся, снял с кровати колючее клетчатое покрывало, и лёг.

К потолку медленно приклеивались липкие серые тени.

Сон

Старуха послала его за хлебом, но эта затея провалилась. Как и предполагал »!, в Q не только не оказалось магазинов, здесь не было ни хлебозаводов, ни пекарен.

Ему навстречу шёл проводник, который вёл на поводке маленький пластмассовый кораблик. Кораблик волочился по бульжной мостовой и »! слышал, как трескается его тонкое дно от ударов о камень.

!»! поднял кораблик и пошёл за проводником, но сзади раздались выстрелы. »! обернулся и увидел ковбоя с громкоговорителем. Ковбой стрелял из громкоговорителя пулями из хлебного мякиша.

!»! знал, что нет ничего хуже и больнее.

!»! выбросил кораблик и побежал. Проводник кричал, просил вернуться, но »! бежал и бежал. Тогда проводник что-то метнул в »!, но промахнулся. Эта была буханка хлеба.

Буханка хлеба упала на дорогу и раскололась: она оказалась абсолютно полой.

!»! поднялся на второй этаж и у открытой чёрной двери увидел епископа Pта, который баюкал белоголового трёхмесячного ребенка. Свободной левой рукой епископ крестился, а ртом напевал колыбельную:

*в чёрном небе синий кот
умывает красный фот
по земле бежит лисица
обронила вдруг ресницу –
ты пусти её по ветру
помни адрес на конверте
помни розовый листок
сти, малыш: включаю ток*

Мокрая дробь зашевелилась под ногами »!. Он поглядел вниз и увидел, что стоит босиком на лестнице, которая усыпана жёлто-чёрной галькой, ракушками и песком. Всё это куда-то утекало.

Запахло морем и »! кинулся на запах.

Но дороги было не разобрать, к тому же его преследовал голос епископа.

*Запах моря был повсюду.
Моря не было нигде.
Покричи, побей посуду,
Чтоб не думать о воде.
Закатай повыше брюки.
Закатай в асфальт себя.
Я придумал эти штуки,
чтобы усыпить тебя.*

Приёмная

Катер почти сразу свернул. На этот раз маршрут пролегал не вдоль Ситарки, а по каналам.

!»! даже не успел понять, о чём начал говорить старик – его речь сразу погрузила »! в странное удовольствие скольжения. Голос экскурсовода был похож на широкий стальной желоб, а его слова, словно сани катили »! по сверкающему туннелю. Процессом нельзя было управлять, он подчинялся только звукам – железной пыльце на цветке микрофона. Ощущение чудовищной правоты экскурсовода убивало желание воспринимать его слова, как историю – все князья, адвокаты, офицеры, душеприказчики, девушки, учителя танцев, жившие когда-то на этих берегах в этих дворцах и халупах вдруг преставали быть людь-



ми, они делались всего лишь жидкостью – ею экскурсовод смазывал желоб, по которому катились сани.

♪! рассеянно отметил, что в четверг он был уже среди тех, кто, не сомневаясь, встал под чёрно-зелёный флаг.

После экскурсии старик и ♪!! пошли по набережной, но, не доходя до дома ♪!, свернули в переулок, где все здания оказались горчичного цвета.

♪! всё ещё катился.

Старик молчал и выглядел разочарованным.

Он долго всматривался в размытое неразборчивое лицо ♪!.

– Не понимаю, не понимаю. – бубнил он. – Если Вас пригласил сам Лерпенс, если вы – избранный, то почему не сопротивляетесь?

– Что?

– Почему вы позволяете себе быть подмятым, почему не переходите черту, не пытаетесь встать рядом. Конечно, я понимаю, в ученичестве трудно. Я сам очень страдал, как только попал в Q – в школу экскурсоводов. Я – южанин, а здесь круглый год сырость, до сих пор не привык. Но с первых же слов моего учителя я понял, что ни в коем случае нельзя поддаваться, нельзя его слушать, нельзя позволять ему толкать сани... У меня вышло только с девятого раза и то – я лишь секунду смог удержать равновесие – и опять упал в эту звуковую мусть... Но... Я вижу, что вы – совсем иное дело. Во-первых, вы не мёрзнете, хотя приехали в своей сквозящей весенней курточке, которая не спасает ни от чего. Этому может быть два объяснения. Возможно, вы привыкли к мерзкой погоде, хотя у меня обучались северяне, но и они страдали от здешнего климата... И второе объяснение – это отсутствие всяких объяснений, что, на самом деле, фикция и никогда не приводит ни к чему хорошему... И ещё кое-что. Возможно, вы сумели бы дать мне отпор даже с первого раза (я это чувствую), но Вам и в голову не приходит мысль о сопротивлении... В конце концов, сегодня Вас хочет видеть Лерпенс, а он никогда не встречается с учениками ранее, чем через год их ученичества... Это тревожит и пугает меня и не только меня... Поэтому я прошу Вас быть хотя бы осторожнее...

Старик что-то ещё говорил, но ♪! было трудно услышать, трудно уклониться от удовольствия отпустить прозрачную нить смысла и, уместившись на санях, съезжать по заснеженному холму слов...

Они вошли в парадную дверь очередного горчичного дома, поднялись по зелёной лестнице и оказались в большой овальной комнате. Стены комнаты были серыми, а пол – чёрным. Слева от окна стоял маленький столик. За столиком сидел человек в твидовом костюме и смотрел то на зелёный телефонный аппарат, то на массивную коричневую дверь справа от окна. Вдоль стен были расставлены стулья, на них сидели люди. Некоторых ♪! уже видел на причале. Другие лица также показались ♪! знакомыми.

Люди большей частью молчали, иногда негромко переговаривались и, также как человек в твидовом костюме, глядели то на телефон, то на дверь. Они ждали.

Почти все ожидающие были возраста старика и даже старше. И только один посетитель казался сравнительно молодым. Он взволнованно касался своих жёлтых волос и красивого, несколько голодного лица, и у ♪! опять возникло чувство, будто где-то уже видел этого человека...

– Ученик с набережной Гонти. – шепнул ♪! старик, заметив любопытство ♪!. – Сегодня исполнился ровно год с тех пор, как он поступил на обучение. Успехи средние, но стабильные. Научился слушать, не вслушиваясь. Даже ассистирует во время экскурсий. Видите худого человека с испитым лицом – это его учитель, знаменитый экскурсовод...

– А почему он так нервничает? – спросил ♪!, глядя, как посетитель барабанит ногтями по ножкам стула.

– В отличие от вас, он знает, куда пришёл.

Зазвонил зелёный телефон. Человек в твидовом костюме взял трубку и тут же положил её.

– Вас. – сказал он ♪!.

Сизый старик подтолкнул ♪! к коричневой двери, и сам пошёл за ним.

– Нет, – мягкой улыбкой остановил его секретарь. – Только ученик.

Старик уставился на секретаря с бесконечным удивлением.

– Ещё ни один ученик не посещал Лерпенса без сопровождения учителя.

– Так он велел.

Коричневая дверь открылась и ♪! вошёл. Ему хотелось ещё хотя бы полминуты послушать голос старика, но стало очень тихо. Ни одного звука не долетало из приёмной.

Кабинет оказался просторный и абсолютно пустой. На чёрном полу лежали белые подушки.



Лерпенс

– Садитесь. – услышал Ъ! за своим плечом.

Ъ! хотел обернуться, но ему показалось, что мышцы шеи совсем ослабли, голова поворачивается с большим трудом – как в замедленной съемке – очень долго, очень медленно и долго.

И пока Ъ! поворачивал голову, точнее, пытался осмыслить и совершить задуманное действие, хозяин кабинета оказался прямо перед Ъ!.

Это был человек среднего роста среднего возраста с красивыми зубами.

– Добро пожаловать в школу экскурсоводов города Q.

Они сели на белые подушки. Подушки были очень мягкие, очень-очень мягкие и Ъ! с какой-то странной жалостью подумал, что нельзя ни в коем случае на эти подушки садится – у Ъ! были такие пыльные брюки...

– Ничего, ничего, – улыбнулся Лерпенс. – Вы, конечно, многого не знаете?

– Ничего, – глухо ответил Ъ!.

– Тогда приготовьтесь.

Лерпенс провел рукой по груди и Ъ! увидел в его нагрудном кармане кусочек розовой бумаги, которую ни с чем нельзя было спутать. Но пригляделся и понял: платок.

– Экскурсионное бюро Лерпенса оказывает горожанам и гостям нашего города известные услуги уже более 150 лет. Бюро создал мой дед. После затяжной войны, в результате которой погибли двенадцать великих экскурсоводов, он сумел примирить девятерых оставшихся и способствовал заключению союза Лерпенса. В Союз вошли мастера, которые унаследовали от своих предков тайные знания о городе Q, мистическое искусство экскурсии и, конечно, особое строение голосовых связок и такую манеру говорить, которая погружает слушателей в уже знакомое Вам состояние скольжения.

Великие экскурсоводы объединились под чёрно-зелёным знаменем и дали клятву никогда не нарушать двух главных законов. Не разглашать тайных знаний и не покидать Союза. Союз был нерушим. Экскурсоводы передавали своё мастерство сыновьям, но сыновья... почти не рождались...

Наша профессия – одинокая, требующая постоянного самосозерцания и самоотречения. Единицы становятся отцами. Однако существует и другой путь. Раз в двенадцать лет где-то рождается мальчик с задатками экскурсовода. Его голосовые связки имеют правильное строение, а потенциальные способности могут развиваться до уровня таланта. В нашем бюро узнают о появлении такого мальчика сразу после его рождения. С этого момента мы начинаем следить за жизнью испытуемого. Иногда наблюдение затягивается на несколько десятков лет... Чаще всего по окончании срока, мы с сожалением констатируем, что объект не подходит для работы в бюро.

Дело в том, что душа экскурсовода должна зреть в атмосфере отстраненности и некоторой... оторопи. Вовлечённость в текущие события, быт, мелкие страсти разрушают хрупкий стебель того особенно одинокого, но грозного цветка, который цветёт в душе истинного экскурсовода...

Чаще всего росток гибнет ещё во младенчестве. Испытуемые не осознают, какой дар сосредоточен в их груди, они не могут выдержать спрессованного слоями холода, который и есть единственная благодатная почва для роста эмбриона пустоты...

И тогда мальчики начинают бить хвостом по воде. В попытке избавиться от патологического чувства одиночества они идут в церковь, пишут стихи, влюбляются в шлюх, записываются в добровольцы. Но они не понимают, что участь экскурсовода – невысказанное наслаждение, особая форма счастья сродни восторгу, который испытывает скрипач-виртуоз, когда хватается публику за горло... Такое счастье не навязывается, оно отступает при первой же попытке отстранить его, и потом – никогда не даётся в руки. Проходит жизнь, и мальчики выдирают из головы последние волосы – перед смертью мы показываем им путь, от которого они отказались...

И лишь немногие способны сберечь внутри нужную температуру и освещение. Прохлада и сумрак, апатия и вялость, отсутствие друзей, увлечений, досуга, любви, всего, что может повредить. Такие мальчики – редкость. Из них получаются великие экскурсоводы, сравнимые с теми, кому корневая система достается по наследству.

Должен сказать, что в последние годы я лично занимался Вашим вопросом. Признаюсь, долгое время я считал, что образ Вашего существования – это модель бегуна, замороженного в стойке перед стартом. И в этой стойке я подозревал позёрство, которое нельзя принимать за истинный аскетизм, потому как, на самом деле, подобная фигура таит в себе метастазы карнавального предательства... Поймите меня правильно – я боялся ошибиться... Сейчас, когда наш Союз подвергся столь неожиданному и подлому удару...



Лерпенс чуть приподнялся и расправил под собой подушку. В его ладони осталось чёрное перышко. Улыбнувшись своими красивыми зубами, Лерпенс перевернул ладонь. Перо медленно заструилось вниз. Оно приземлилось на колено Ъ!

– Я уже говорил, что ремеслом владеют только мужчины. Это не связано с презрительным отношением к женской сущности. Почему никто не отрицает, что дело кузнеца или шахтера – сугобо мужское? А работа экскурсовода в тысячу раз тяжелее. Кроме того, женщина не может унаследовать такое строение связок, её голос никогда не будет обладать подобной властью.

Перышко еле заметно вздрагивало на колене Ъ! Его чёрные нити взлетали, реагируя на вдох и выдох.

– Около тридцати лет назад один из наших экскурсоводов уже в преклонном возрасте стал отцом дочери. С тех пор мастер заболел странной блажью... Он хотел доказать, что женщина может стать экскурсоводом. Его свело с ума это позднее отповество...

Конечно, дочь экскурсовода не обладала, да и не могла обладать никакими способностями, но её отец с параноидальным упорством пытался обучить девочку нашему искусству. Нарушив один из главных законов, он открыл ей секреты мастерства, которые клялся не разглашать...

В конце концов, девочка обучилась некому фокусничеству, гипнозу, звуковым уловкам, которые поначалу можно спутать с магическими манипуляциями истинного экскурсовода, но, на самом деле, это всего лишь иллюзия.

Только в финале он понял, какую ошибку совершил. Он приходил сюда, просил прощения, но было поздно... Экскурсоводы не склонны прощать самих себя. Его сердце не выдержало прямо во время экскурсии.

После смерти отца, дочь создала собственное экскурсионное агентство, которому дала кричащее имя – «Новые глаза». Презрев честь и заветы покойного отца, она стала показывать туристам тайные места, не предназначенные для посторонних взглядов... Она открыла собственную публичную «школу» экскурсоводов, куда набирает людей с улицы и сообщает им сведения, которые сотни лет оберегались нашими клятвами... Она не просто оскверняет искусство, она губит Q, губит древнюю мистическую традицию, в конце концов, губит нас. Если так продолжится ещё хоть сколько-нибудь времени – мы утратим всё, что накопили. А город поглотит болото, из которого он возник.

Лерпенс тяжело выдохнул, и чёрное перышко слетело на пол.

– Так вот. Мне был знак. Вы – не просто ученик, из которого вырастет великий экскурсовод. Вы посланы избавить нас от гибели.

Лерпенс наклонил большой палец и прикоснулся к перышку.

Перышко приклеилось к пальцу.

– Вы должны убить её.

Наугад

Свет фонарей тонким кнутом рассекает воздух.

На четвёртой странице становится ясно, чем кончится повесть.

Пропасть меж светом и беспросветностью пролегает там, куда проникает голос.

Чёрной рубашкой на зимнем ветру пульсирует совесть, пытаясь высушить собственную бессонницу.

Вести с востока, с севера, с юга – дурные вести.

Статуя, мост, лестница, пепел, купол, надгробие.

Город умеет из занавесок плести невестины шлейфы. Город, который по образу и подобию мог бы сравниться с вечностью – хочет сравниться с землёй.

Город похож на ветку, которая треснет под тяжестью яблок и колоннад.

Город, которому хочется что-то сказать, но результат – два слова, крик, который вряд ли чему-нибудь нас научит.

Город, не надо! Нет надобности останавливать ветер и отворачивать участь.



Муссон и пассат – смешны перед ликом великого урагана.
 Их было много: Кэтрин, Фрэнсис, Иван, Жанна,
 но там – на других берегах...
 Здесь о них ничего не знали.
 А теперь пора пожинать плоды пространства,
 которое так долго нас берегло от бури.
 Добро пожаловать в чёрно-зелёный, белый, прозрачный, красный...
 Добро пожаловать в город.
 Нужно глаза зажмурить, можно шагнуть.
 Наугад.
 Нужно выстрелить в птицу.
 Птица, раскрой свои крылья.
 Птица, прости свой город.
 Это – закат.
 Птица, позволь и ему проститься с твоими гнёздами.
 Ты всё равно не перенесешь зимовки.
 Видишь, какие холодные звёзды
 смотрят с автобусной остановки,
 с набережной, с холма...
 Птица, пора стреляться –
 пришла зима,
 и она берёт себе в секунданты
 Осень.

Револьвер

Позже !! были даны подробные инструкции. Во-первых, ни в коем случае не посещать экскурсий агентства «Новые глаза». Для истинного экскурсовода такое представление может окончиться серьёзными последствиями: фальшь корежит связки. Во-вторых, исполнить приговор нужно было как можно дальше от набережной Ситарки.

!! получил от Лершенса небольшую картонную коробку желтоватого цвета. Внутри находился старинный револьвер фабрики Димитракиса и матовая фотография тридцатилетней женщины в чёрном пальто. Женщина была красива той красотой, которой красивы многие женщины. Эта красота напоминает зажженный фитиль, на другом конце которого пульсирует бомба замедленного действия. Бомба называется «старость».

!! пригляделся. Ничего особенного. Женщина. Фитиль. Ещё горит.

На обратной стороне фотографии карандашом был написан адрес: Старокрасная площадь, дом 7, кв. 9. Почерк показался !! знакомым.

!! вынул из коробки фотографию и револьвер. Фотографию спрятал в нагрудный карман, а револьвер был слишком большой и никуда не помещался. !! попытался разместить его в кармане брюк, но он торчал оттуда своим чёрным железным хвостом...

Тогда !! опять положил его в коробку, коробку взял в руку и вышел на улицу. Какой-то автомобиль отвез его на Старокрасную площадь, к дому №7.

Она открыла дверь.

Вглядываясь в его лицо, она непроизвольно поворачивала замок – из него выскакивал железный штырь. Он со свистом разрезал воздух, возникая между их лицами, как копьё, пытающееся ужалить недоступную цель.

Она выглядела хорошо: молодо.

Наконец полуулыбка стала улыбкой.

– Ой. А я вас ждала. Проходите.

!! вошел в светлый короткий коридор. Из стены на него смотрел неестественно большой ветвистый крюк. На крюке висело чёрное пальто и тёмный газовый платок. Она взяла его куртку и повесила поверх пальто. Он снял обувь и остался стоять босой с коробкой в руках.

– Наденьте тапочки, а коробку можете оставить здесь.



– Она мне понадобится.

– Понимаю.

Она пригласила его на кухню, подвела к мойке и сказала:

– Вот.

Из крана вибрирующей изогнутой струйкой текла вода.

– Течёт, – сказала она. – Уже неделю.

– Ясно, – кивнул Ё! и отвернулся.

На противоположной стене висела картинка. На ней было изображено место, которое показалось Ё! знакомым. Через секунду Ё! понял, что ошибся – он никогда не видел этого места, а мгновение спустя Ё! узнал на картинке Стратовский остров, где стрелялись Геркон и Димитракис.

– Не похоже, – сказал Ё!.

– На что?

– На Стратовский остров.

– Но вы же узнали.

– Случайно. Слишком светло и зелено. И вот этой вышки там нет.

– Это телевышка. Её построили пятьдесят лет назад.

– Но её там нет.

– Вы почините мне кран?

– У вас есть инструменты?

– Нет. А вы разве не взяли с собой?

– Нет.

– Почему?

– Не знаю.

– А что у вас в коробке?

– Так. Кое-какие вещи.

– ...кажется, где-то были ключ и отвертка. Но не уверена, что найду их.

– Тогда в следующий раз.

– Но это длится уже неделю.

– Хорошо.

Она поспешила на балкон за инструментами.

Ё! вышел из кухни в коридор, проник в комнату и сразу же почувствовал себя неудобно. Повсюду на стенах висели открытки и фотографии с видами города Q.

И все эти открытки гнали.

Например, фотография дома доктора Феера.

Ё! узнал его случайно по барельефу – змеиной голове над последним этажом. На фото этот дом почему-то был жёлтого, а не серого цвета, как в реальности. К тому же на торце дома висела огромная афиша, сообщавшая о концерте для фортепиано и скрипки в Большом Зале Филармонии. Судя по фотографии, она была сделана недавно. Концерт должен был состояться в пятницу. Но Ё! проехал мимо этого дома в четверг, и никакой афиши там не видел. К тому же Ё! вспомнил, что чёрно-зелёный корабль проплывал и мимо Филармонии. Старик как будто рассказывал, что это – бывшее здание биржи, её пытались переделать в концертный зал, но ничего не вышло... Биржа строилась таким образом, чтобы акустика внутри была как можно хуже. Биржевые маклеры боялись ушей конкурентов... В торговом зале стоял непрерывный гул, слов нельзя было разобрать... Что же касается фортепиано или скрипок, то они звучали здесь, словно на похоронах – звук был удушливый и горький... Именно поэтому в заброшенном здании не дают никаких концертов – там теперь склад – хранят овощи: мёрзлую картошку, да, кажется, мёрзлую картошку... Больше Ё! ничего вспомнить не мог – вмешивался волшебный голос старика и справедливо лишал архитектуру смысла...

На одной из открыток был изображен мост львов над рекой Гонти. Львы стояли на разных берегах, высоко подняв головы, – в то время, как, на самом деле, животные у моста не стояли, а сидели, низко опустив свои чугунные морды...

Ещё были зелёные и оранжевые дворцы, в чьих окнах поблескивало удивительно навязчивое южное солнце, так непохожее на парализованное светило города, какие-то неприятные дети в синих и красных куртках, неоновые рекламы, воздушные шары... Похоже, автором этих фальшивок был человек с большой фантазией или же кто-то, сознательно пытающийся исказить реальность.



– Вы ведь не сантехник, правда?

Он обернулся и увидел в её руках старый гаечный ключ с отбитым колёсиком.

– Нет. – ответил Ъ!. – Таким ключом ничего не сделать.

– А кто вы? – тихо спросила она, глядя на коробку.

Он не ответил.

– Вот на этой фотографии статуя улыбается. Зачем?

– Так задумал скульптор.

– Но ведь она не улыбается.

Она обошла вокруг него с правой стороны, заглянула ему в глаза и улыбнулась – как статуя...

– Боже мой... Вы всё-таки приехали! А я глупая... хотите чаю?

Он задумался. Сначала она приняла его за сантехника, теперь ещё за кого-то, кого ждали, кто должен был приехать... Возможно, это так. Возможно, он похож на кого-то, на всех сразу, потому что такие, как он, всегда на кого-то похожи, но никогда не бывают кем-то конкретным, такие, как он, не имеют имени, пола, возраста, дома, документов, подруг... И потому, конечно, он может быть принят за кого угодно. Но, возможно, всё не совсем так.

Она сразу его узнала, поняла, зачем он здесь, догадалась, что лежит в коробке? И тогда к чему все эти вопросы, мысли, разговоры? Нужно достать револьвер и выстрелить, потому что всё давно ясно и тянуть не имеет смысла. Тем более – никаких сокрушений...

Ъ! ещё раз осмотрелся. Было неудобно. Очень неудобно. Маленький письменный стол, узкая кровать, все эти картинки. И она, эта женщина, в идиотском розовом платье. Он только сейчас заметил, что она в платье, и что оно – розовое. Длинное платье с рюшками, совсем не подходящее к её смуглому лицу, похожее на простыню, улетевшую с соседского балкона и зацепившуюся за голую ореховую ветку во дворе... Он предпочёл бы не делать этого здесь. Он не хотел делать этого здесь.

– Я не хочу, – сказал он.

– Жаль. У меня хороший чай.

– Я бы не хотел.

– Ладно.

– Дайте ключ.

Она дала ему гаечный ключ, и он вернулся на кухню.

Тонкая струя настойчиво долбила жестяную раковину.

Он просто взял и закрыл кран.

Приглашение

Старуха приходила один раз в два дня, приносила продукты, готовила еду и уходила. Она говорила, что без неё он умрёт с голоду. В городе ничего не продавалось, повсюду были только дворцы и памятники.

Однажды он попросил её принести свежего мяса. Она принесла кусок свинины и хотела изжарить отбивную, но Ъ! остановил её.

– Спасибо. Я приготовлю сам. Во вторник можете не приходите.

– Но я должна.

– Во вторник я справлюсь сам.

На следующий день после посещения женщины в розовом платье Ъ! снова явился в горчичный переулочек. Лерпенс принял его сразу, чем вызвал недоуменный ропот стариков и безрадостный взгляд человека в твидовом костюме.

Лерпенс оглядел Ъ! с удивлением. Они сели на подушки.

Ъ! заметил, что на полу возле его правой ноги всё ещё лежит чёрное перышко – с прошлого раза.

– Что помешало Вам?

– Очень неудобно.

– Если вы будете тянуть, она победит вас. И нас. Всех. Это неизбежно.

– Я сделаю.

– На набережную не ходите. Если она заметит вас под нашим флагом, всё пойдет прахом.

– Хорошо.

– Как можно скорее.

Вечером после разговора с Лерпенсом, Ъ! встретил её возле дома. Она возвращалась с экскурсий.



- Я ждала, что вы придёте. – улыбнулась женщина, открывая дверь. – Проходите.
- Нет. – ответил Ъ!, стуча пальцами по жёлтой коробке.
- Почему?
- Жду Вас завтра в гости.
- В гости? Так сразу?
- Да. Сразу.
- А давайте лучше вы придете ко мне² на работу? Вам будет интересно. Набережная реки Ситарки, 1.
- Знаете, где это?
- Приблизительно. Но я туда не пойду.
- Почему?
- Потому что это не нужно.
- Но, рано или поздно, Вы всё равно там окажетесь... Там оказываются все...
- Возможно. Вот, возьмите мой адрес. Завтра вечером.
- Станный вы.
- Я не странный.

Стол

Во вторник, уже под вечер, Ъ! вынул из морозилки красный ледяной камень. Кусок замороженной свинины обжигал ладони.

Ъ! включил воду, но кран издал голодный звук, не выпустив ни капли.

Ъ! прикоснулся к батарее. Она была еле теплой. Ъ! положил мясо на батарею, вернулся в комнату, лёг на кровать и стал ждать.

Всё произошло очень быстро. Он сам не заметил, как уснул.

Ъ! увидел, что лежит в старой поцарапанной ванне. Ванна стояла в центре пустой чёрной комнаты, а комната находилась прямо посреди поезда – там, где сцепляются вагоны.

Ъ! слышал, как стучат колёса и звенят подстаканники, слышал, как проводник объясняет пассажиру, почему ковбои стреляли в паровоз... Потом двери чёрной комнаты открылись и внутрь вошли двое мужчин в синих рубашках. Рубашки были расстегнуты и Ъ! мог видеть их желтоватые тела. Мужчины не обращали никакого внимания на Ъ!. Они внесли в комнату маленький кухонный столик, потом закурили и стали о чём-то шептаться. Ъ! не разбирал слов, но раз или два ему показалось, что он слышит призывы с бережной Ситарки. Но чьи это призывы – чёрно-зелёных или красно-белых – Ъ! понять не мог.

Потом мужчины ушли.

Ъ! поднялся из ванной и увидел себя в одежде. На нём был тонкий полупрозрачный костюм цвета взбитых яичных белков. Костюм оказался непромокаемым и Ъ! удивился, как раньше не заметил, что воду чувствуют только его босые ноги.

Ъ! ступил на пол. Пол был холодный и чёрный. Стопы Ъ! оставляли на полу белёсые следы.

Ъ! подошёл к столу. Стол был накрыт клеёнкой с полустёртым рисунком: зелёные яблоки.

На столе лежали лепестки роз и горелые спички.

Мясо

Он проснулся от странного пороха.

Она стояла в дверях и глядела на батарею.

По белым железным кольцам двигались красные ручки, а сверху лежал растаявший кровавый блин.

– У вас дверь незаперта, – еле выговорила она. – А... что это?

– Ужин.

– Вы хотите приготовить ужин?

– Хочу.

– И будете это есть?

– А вы?

– Я – нет.

– Почему?

– Потому что... это ужасно.



- ♪! принес из кухни тряпку и стал вытирать пол.
 – Дайте лучше я, – сказала она. – А вы уберите... это.
 ♪! снова спрятал мясо в холодильник.
 – Я принесла овощи, вино и хлеб.
 – Хорошо.

Она пошла на кухню, высыпала из сумки горку чёрной картошки и открыла кран. Оттуда полилась вода. Она тщательно вымыла картошку и начала чистить её большим тупым ножом. Он сидел на стуле, ровно и прямо, не облачаясь, и смотрел, как она готовит последний в своей жизни ужин.

Почистив картошку, она снова вымыла её, порезала на четвертинки и высыпала в кастрюлю с водой. Зажгла горелку, задула спичку, поставила кастрюлю на огонь.

- Потом достала из сумки лук и огурцы, сделала салат.
 – У вас есть подсолнечное масло?
 – Нет.
 – Ничего... овощи сами пустят сок... Вы откроете вино?
 – Открою, но пить не буду.
 – Хорошо. Тогда и я не буду. Не открывайте.
 Она посолила картошку, высыпала её в белые выпербленные тарелки.
 Они сели за стол.

Решение

Это случилось как-то очень просто.

♪! решил, что, если он должен убить её, то он убьёт её.

Но если у неё есть тепло, которого он никогда не знал, то он возьмет у неё это тепло, а потом убьёт.

У неё оказались влажные каштановые волосы; они были мягкие; они хорошо пахли. У неё были тонкие руки; мельхиоровый браслет на запястье; тусклый свет.

Он глядел на жёлтую коробку в полумраке и ни о чем не думал, потому что ему не о чём было думать.

Он не думал о прошлом, потому что прошлого не существовало. Он не думал о будущем, потому что будущее не вызывало сомнений. Он не думал о ней, потому что она ничего не значила. Он не думал о себе, потому что его не стало. Он лежал где-то на границе между тенями, дрожавшими на потолке. Он не чувствовал тяжести, не ощущал её голову на своей руке, в пространстве не осталось никаких знаков, он, наконец, просто оглох.

Время застыло, как марципановая фигурка в заиндевелем шоколаде.

– Проводишь меня?

Он взял жёлтую коробку, и они вышли на улицу. Какие-то птицы изредка пересекали небо и исчезали в вязком ночном воздухе. Птицы, похожие на камни, пущенные чьей-то рукой в озеро большого большого города. Они оставляли в небе еле заметные круги, которые тут же таяли, уступая место следующим, и следующим, и следующим.

♪! хорошо помнил дорогу, но ему показалось, будто он идёт по незнакомым местам.

Путь пролегал вдоль набережной Ситарки, мимо Стратовского острова. ♪! посмотрел вверх и увидел длинную чёрную спицу, проткнувшую небо над островом.

- Что это? – спросил ♪!
 – Телевышка, – улыбнулась она.
 – Какая?
 – Железная.

Уже недалеко от дома, она сказала:

– Давай зайдём в магазин. Нужно купить воды.

Они свернули в переулок. Там горела синяя неоновая вывеска. Магазин 24 часа. Открыли двери. Звякнул колокольчик. Магазин был очень маленький. За прилавком сидела пожилая женщина и читала книгу. Это была книжка стихов Владислава Ходасевича, изданная в 1908 году. Она называлась «Молодость».

Продавица улыбнулась.

- Минеральной водички, – сказала женщина-экскурсовод.
 – Пожалуйста, – ответила продавица.
 – Хорошей Вам ночи, – сказала женщина-экскурсовод.



– Спасибо, – ответила продавщица.

Они вышли. Он взял у неё бутылку минеральной воды и понёс в левой руке. В правой – он держал жёлтую коробку.

Они пересекли Старокрасную площадь, поднялись на второй этаж дома номер 7. Она открыла дверь, он отдал ей бутылку.

– Может, зайдёшь?

– Нет.

– Спокойной ночи.

– Ладно.

Он вышел на улицу, глубоко вдохнул и почувствовал холод. Необычный, неестественный холод. Совершенно новое, болезненное ощущение. Холод буквально набрасывался на него, вонзался в тело, растворял остатки тепла.

Тепло тоже было впервые.

Чтобы согреться – он побежал. Город выстреливал ему в лицо дробью ледяных молекул воздуха, стегал кнутом ночного ветра, не давал опомниться.

Но он опомнился.

Пробегая мимо Стратовского острова, Ъ! поднял голову. В небе снова были птицы, совершавшие свои пронзительные полёты.

Ъ! всмотрелся, оглянулся: вышки не было, не было, не было железной телевышки.

Ъ! отбежал на то место, откуда впервые увидел её. Её не было. Никакой телевышки здесь никогда не было.

Никакого железного шпилья.

Нигде ни у кого в этом городе Ъ! не видел телевизора: ни в её квартире, ни в своей, ни в бюро Лерпенса. Телевизора не было, потому что его не изобрели. И радио не изобрели. И уже никогда не изобретут. Этот город – не для изобретений. Этот город – музей. Никакой телевышки не было, и быть не могло.

Превозмогая силу ветра, гнавшего Ъ! в его сырую квартиру – в один из тёмных закоулков музея города Q, он повернул обратно. Пальцы онемели и уже не ощущали шероховатостей картонной коробки...

Он почти вернулся к дому №7, что на Старокрасной площади, но свернул в переулок. Никакого магазина не было. Конечно. Конечно. В этом городе нет магазинов, в этом городе не продают свинину.

Есть только город. И ложь об этом городе.

Ъ! вышел на середину площади и поднял глаза.

В окне второго этажа дома №7 горел слабый голубоватый свет.

«Телевизор», – усмехнувшись, подумал Ъ!.

Ъ! открыл коробку и достал револьвер. Револьвер был удивительно лёгкий, но очень цельный и живой. Он как будто сливался с запястьем, становился частью тела. Ъ! взял револьвер в обе руки и прицелился – прямо туда – в голубую точку несуществующего телевизора, передающего несуществующие сигналы.

И вдруг понял, что из этого оружия он выстрелит только один раз, и не промахнётся.

Он медленно опустил чёрную железную руку, и голубой отблеск тут же погас.

Ъ! решил, что убьёт её завтра: на улице или в доме – не имеет значения.

Вернувшись в свою квартиру, он долго не мог отогреться.

Не включая света, он сидел возле зеркала, сдвинув колени. На коленях лежала жёлтая коробочка, а в зеркале отражался жёлтый ответ: он прыгал по тёмной поверхности, то и дело даже глаза его окрашивая в жёлтый.

Исчезновение

На следующий день он пришёл на Старокрасную площадь рано утром. Но в квартире номер 7 дома номер 2 двери никто не открыл.

Ъ! колотил кулаком. Он хотел поскорее покончить с этим.

Жёлтая коробочка вся истрепалась.

Чёрная рука больше не могла ждать.

Ъ! сел на ступеньки, достал из нагрудного кармана фото.

Вместе с фото из кармана вывалился конверт с адресом из прошлой жизни.

Ъ! сравнил почерк на конверте и на обороте фотографии. Всё правильно.



Только почерк на фото был более похожим на почерк на конверте, чем сам почерк на конверте.

♪! стал искать письмо и вспомнил, что оно у старика.

Теперь ему принадлежат слова, предназначенные ♪!

Внезапно ♪! до боли в глазах захотел снова увидеть письмо.

Какое оно было? О чём?

Девушка.

Девушка, вы разбиваете мне сердце.

Вы. Мне Сердце.

Сердце. Вы. Мне.

Девушка. Девушка.

Девушка.

Её не было. Он прождал целый день.

И, наконец, понял, что опоздал. Лерпенс оказался прав.

Промедление убilo историю. И в этом повинен ♪!

♪! спустился вниз по ступеньками с таким трудом, будто поднимался вверх по крутой лестнице.

Сердце стучало глухо и часто.

♪! остановился между первым и вторым этажом.

В узкой полоске грязного стекла отражалось его лицо.

Глаза стали совсем жёлтые.

Она сбежала.

Финал

Он двинулся в сторону набережной. Его уже не останавливал запрет Лерпенса. Запреты страшны наказаниями, а наказания предназначены для тех, кто обладает будущим.

Однако наступают дни, когда времена теряют вкус к множественным числам. Время остаётся только одним – настоящим. Чётким, ограниченным и осязаемым.

♪! понимал, что будущего нет.

Его сердце, словно кусок размороженного мяса, с удивлением чувствовало боль.

Оно смотрело на гниющий город и любило каждый его камень, любило пустые соборы, бешеных птиц, бронзовые лица памятников, колоннады, извилистые морщины рек.

Сердце его замедлялось от близкого предчувствия гибели гранитных площадей и мраморных лестниц. Сердце его погибало от желания раствориться в сердце города, стать его слугой, его рабом, его врачом, его любовником, его душеприкащиком, его экскурсоводом...

Сердце его хотело быть пробитым. Лишь бы не допустить железных телевышек, голубых лучей, не допустить исчезновения истории, разрушения музея, вандализма над экспонатами, уничтожения великого Союза...

♪! бежал по набережной.

Он знал, что сейчас оба кораблика отправятся в своё финальное путешествие.

Вонзившись в толпу, он проткнул её насквозь, выскочил к причалу и притянул к себе зажжённый красно-белый свет.

На противоположной чёрно-зелёной стороне раздались крики.

Кричал его учитель, его старик. Это был конец.

Катер уже отошёл от причала, когда ♪! совершил свой прыжок.

Покорные зрители уже сидели на поцарапанных пластмассовых стульях.

Она уже сжимала в руке чёрный цветок микрофона.

У неё задрожали губы. Он улыбнулся и сел на ближнее к ней кресло.

Она поднесла ко рту микрофон.

Он открыл коробку.

Она начала экскурсию.

Он не расслышал слов.

Чёрная масляная поверхность даровала ему успокоение. Это был знак – чёткий, как подмигивание. Знак, который не оставлял пространства для толкований.



Близость взрыва заранее оглушила его, как если бы он уже состоялся и поглотил всё это медное и каменное...

Он ничего не слышал.

Он разглядывал её сквозь черный нимб прицела, а она смотрела на него, продолжая экскурсию. Никто из туристов не шевельнулся. Было тихо. Только лёгкий шум, похожий на жужжание ос, виляя у висков... Он отмахнулся от него и сосредоточился на сладостном процессе прицеливания... Но шум нарастал. Словно вставал из-за плеча. И вдруг прорвался.

! услышал голос. Вне всяких сомнений, это был самый заурядный женский голос на свете. Ни капли магии. Но то, что она говорила, выворачивало мир наизнанку.

– Слева по борту – магазин игрушек. Там продаются рыжие медведи, велосипед и большая гоночная машина. Справа – парикмахерская. Там стригут, бреют, завивают волосы. Женщинам красят ногти. Мужчин брызгают одеколоном. Парикмахерши часто курят и пьют кофе. Чуть дальше, на левом берегу – зоопарк. Там недавно родились волчата, которые никогда не видели леса. Они просятся на руки и лижут ладони. Обязательно сходите. Там белые птицы и старый лев. А вот, видите, сразу у выхода из парка – магазин. Там продаётся корм для рыбок, клетки для попугаев, колёса для белок. А рядом ещё один магазин. Самый обычный. Хлеб, сахар, сигареты, чёрный перец, вода. Посмотрите направо. Большой оранжевый дом – школа танцев. Степ, чечетка, венский вальс, румба... Дальше, справа, бывшее здание биржи, ныне – Филармония. Сегодня вечером заслуженный оркестр города Q играет Шуберта... Билеты можно взять в нашем агентстве. Бесплатно.

! почувствовал тошноту. Мутная волна поднималась из солнечного сплетения, затапливая разум странными образами. В ушах раздался свист, глаза прищурились от боли. ! посмотрел на правый берег и увидел набережную, исполненную неоновым светом: вывески, фонари, реклама шоколада... ! зажмурился и опустил голову. Стараясь медленно сосчитать до трёх, он трижды глубоко вдохнул и снова открыл глаза. На левом берегу улочные музыканты виртуозно играли африканскую песенку. Дети в красных куртках бросали им монеты. Жёлтые и оранжевые дворцы вибрировали от глубоких гитарных звуков. В лицо ударял запах цветущих деревьев и ванильного мороженого.

– А вот на этом месте... – сказала девушка-экскурсовод. – На этом месте был убит мой отец за то, что первым решился сорвать страшную маску с лица нашего прекрасного города. Его застрелили прямо здесь, во время экскурсии. Тело выбросили в воду. А по правому борту – рынок... Фрукты, сыр, кислая капуста, мандарины, свинина, лавровый лист...

Лёгкий, словно чёрное перышко, револьвер превратился в стопудовую глыбу. Не в силах совладать с тяжестью, руки сами опустились на колени. Сила звука нарастала. Запахи вламывались мозг. Жить становилось невыносимо.

! затравленно обернулся и увидел реку. Вся река была в огнях. Катера, обвешанные гирляндами, медленно скользили по поверхности просветлённой воды. Их корабль нагоняла лодка с чёрно-зеленым флагом. ! сжал зубы, поднял револьвер, прицелился.

– Умирая, мой отец оставил адрес человека, которому суждено было спасти нас от гибели. Я написала ему письмо, но оно, видимо, затерялось, не дошло... или дошло, но адресат не разобрал почерка... или был обманут другими адресатами... Хотя, скорее всего, такого человека просто не существует... А прямо по курсу – Стратовский остров... Его очень любят влюблённые за густую зелень. Летом здесь танцы под открытым небом. На Стратовском острове располагается телевышка. Прекрасная железная телевышка...

! почувствовал, как в его глазах лопаются сосуды. На корме раздался сильный удар. Но он не оглянулся на звук. Никто не оглянулся.

Он смотрел на неё. Все смотрели.

Он вспомнил, как поцеловал её – там – на кухне. Такое странное ощущение, как будто висишь на нитке прямо в космосе.

Снова удар.

И опять никто.

Она продолжала говорить.

Он продолжал вспоминать.

Он вспомнил вдруг себя пятилетним в каком-то парке.

! бежал по аллее, у него была куртка ярко-синего цвета, и он бежал по аллее в этой куртке и ощущал пронзительное счастье.

Шаги.



И ещё воспоминание!

Ему девятнадцать лет. Он сидит в холодном кинотеатре и смотрит на экран. Паровоз. Из паровоза валит дым. Рядом сидит какая-то девушка. Из её рта выскальзывает облачко пара. Её руки зябнут. От неё пахнет сиренью.

Железо – нереально, реальны – нервы и цветы.

Она говорит.

Он смотрит.

Она красивая.

У него болит голова. И особенно сердце.

Прямо разрывается.

Девушка.

Девушка!

Девушка!!!

Девушка, ВЫ РАЗРЫВАЕТЕ МНЕ СЕРДЦЕ!

Он сгибается от боли и видит позади себя большого жилистого человека.

У человека жёлтые волосы и голодное лицо. В одну секунду Ъ! узнает ученика с набережной Гонти.

Младенец на руках епископа.

Голодный ребёнок.

Бедный, голодный ребёнок...

У младенца в руках пистолет.

Младенец целится.

Младенец стреляет.

В неё.

Промахивается. Попадает. Промахивается или попадает? Повсюду туман. Ничего не видно.

Всё вертится.

Всё уходит.

Лихорадка.

Всё отдельно.

Глаза – отдельно, руки – отдельно, жизнь – отдельно, смерть – отдельно.

Что-то происходит.

Выстреливает револьвер фабрики Димитракиса – выстреливает сам, потому что все револьверы всегда стреляют сами...

Жёлтая голова откидывается и катится.

Катится по палубе. От борта к борту, от борта к борту...

И теряется в дымке.

Дымно.

Всё исчезает в топком неоновом свете.

Город Q исторгает из себя пронзительные вопли, африканскую песенку и сочинения Шуберта.

Где-то там – впереди, если напрячь зрение – можно угадать её черты.

Живые или мёртвые.

Настоящие или будущие.

Не уходи. Не рви мне сердце.

Но из глаз выскальзывает фокус.

Всё плывёт.

Всё движется.

Всё ускользает.

ДАНИИЛ ЧКОНИЯ

ИЗ КНИГИ «СТИХИЯ И ПЛОВЕЦ»

он читает читает читает
он читает он умер давно
время тает и тает и тает
и его вернуть не дано

вот он пишет и пишет и пишет
и не ведает сложен и прост
как он слышит и слышит и слышит
лепестков нависающих рост

и когда его жизнь сочинила
опус взятый из дальних глубин
он оставил сухие чернила
и остался один на один

с этим душным и давящим страхом
из разрушенных древних хором
с этим полуприпадочным знаком
безнадёжен сомнителен хром

плакучая ива над тихой рекой
нависла красиво вселяя покой

и все рассужденья красиво ли нет
таят наважденье и сумрак и свет

а я над рекою красиво стою
красивой строкою красиво пою

но так некрасива моя красота
плакучая ива глухие места

красиво восходит над нами луна
к хорошей погоде суровой она



и лунная морда – что ксива
английского лорда – красива

красиво красиво доносится клич
с какого порыва рождается китч

и пошлости пышные соты
красот несусветных высоты

пёс задравший лапу у сарая
облетевших листьев вороха
осень неуютная сырая
и огней вечерние верха

грустью непрерывной время дышит
ты его уныньем не убей
носится забытый чирик-пыжик
суетится битый воробей

ночь безмолвна и тиха
в ней таится нега
у возникшего стиха
попрошу я снега

вызываю ноту си
на пустом клавире
только снега не проси
нету снега в мире

кто оставил бедных нас
без паденья снега
и кому он этот час
нужен
что за нега

но случился снегопад
и светилась лица
тех кто снегопаду рад
кто мне станет сниться

иллюминаторы что золото медали
аэропорта застеклённая стена
вам улетающим чего-то недодали
нам провожающим вся будущность темна



вот набирает высоту земная долька
она растает через миг и не гляди
вослед взлетевшему не вглядывайся только
ещё пытайся угадать что – впереди

твои догадки всем расставшимся едва ли
помогут прошлого вернуть весенний блик
чего надумали напели наваляли
теперь осмысливай но выбор невелик

гул оголтелый над бредущими глумится
они расходятся куда-то в никуда
стальная птица – за другой – взлетают птицы
и свет небесный ловит их как невода

ветер улицу вымел ветер лужицы вытер
я глазами своими колдовство это видел

шла по городу ручка оторвавшись от двери
припрозили мне взбучкой кто в рассказ мой не верил

но когда в переулке дверь сама показалась
ишь забежали урки а она ж не кусалась

ручка к ней прилепилась как невеста прильнула
тут толпа и озлилась и козлом обернулась

и козёл многоглавый так противно замекал
как хозяин державы блесет на человека

я отделался жестом дескать ну их чего там
плачут голосом женским и желают отчёта

я же думаю думу где фантазии мера
вот озлаюсь я и дуно побери вас холера

может зов моих предков из какого там юра
но случается редко радость бреда и сюра

ПЕРЕЕЗД

что из возможного возьмём
в какую упакуем тару
под силу в сотый раз подъём
иль обойдёмся грузом старым

я задаваться не привык
вопросом там где шаг и нужен
иду без всяких закавык
без долгого плетенья кружев



поверхностен и не глубок
на свет я вышел не из сакли
и мог бы расписать лубок
и краски видно не иссякли

и кажется: на склоне лет
я строить жизнь готов сначала
а был бы свет! и есть он свет!
но что дорога означала?

впустую время трачу
как будто в мыслях течь
сам на себя батрачу
и разбавляю речь

не то сухою солью
не то густым медком
но позабытой болью –
стоит как в горле ком

блестит дорожный камень
как будто мне займы
отсвечивает пламя
дыхания зимы

вот облаков небесных рать
безвестная доньне
намерилась меня карать
за мелкий грех унынья

сигжу над тихою строкой
над медленным строеньем
строки
над тихою рекой
и вод её струеньем

и в этих близких небесах
отсвечивает пойма
там взвешивают на весах
там я раскрыт и пойман

живя на быстрых скоростях
меняю обстановку
пусть облака меня простят
за эту остановку



свет и зелень хлорофилла
ряд деревьев вехой
я тебя не подловил
на идее ветхой

соблюдая свой режим
до конца недели
не зови меня чужим
что с тобой мы делим?

или я уже немой
будто порешили
или день-другой не мой
не ко мне пришли

говорю закройте рты
гнусные зеваки
говорю не верь им ты
всюду-всюду враки

а кровинка на губе –
горькая кална
снится вдовая тебе
на могиле глина

они сидят растерянно в гнезде
они птенцы сияния дневного
но к полуночной тянутся звезде
и попробовать крыло готовы снова

полёты начинаются с утра
усталые снимаются с орбиты
и встречные весёлые ветра
снимают накипь с крыльев как сорбиты

и с высоты слетают голоса –
какую песнь из каждого исторгла
луна река окрестные леса
испуг не пересилит их восторга

может жизнь идти иначе
не сужу не ворожу
у неё не спросишь сдачи
и не надо не прошу



быть бы дню за ним другому
чтоб не кончился завод
чтоб не знать несчастья дому
наступленья мрачных вод

ждать всемирного потопа
суть – унылая игра
пусть немало я протопал
не пришла ещё пора

подводить свои итоги
и в унынье разом впасть
пусть ведут по жизни боги
их неласковая власть

солнце ластится что кошка
и меня берёт азарт
только выглянул в окошко
на дворе гуляет март

пёс дворовый веселится
за своим вертять хвостом
жизнь продолжится продлится
остальное – о пустом

НАТАЛЬЯ КРОФТС

ВСЛЕПУЮ

Вслепую, наощупь,
судьбу подбираем по слуху,
научно трактуем причуды
планид и планет.
Подводим итоги.
Как взрослые – твёрдо и сухо.
По-детски надеясь на чудо.
Которого нет.

ВЕДЬМА

«Ты не ведьма ли? – шептал
в омут ноченьки. –
Рысья, бесья красота –
с червоточинкой.
То – змеёй в моих руках,
то ты – призраком,
птицей дикой в облаках,
раскапризною,
то ж – не тронешься с колен
перед папертью...
Улетаешь на метле?
Ну и скатертью!»

Мне бы взвить да лечь костьми,
мне б вымалывать:
«Приюти меня, прими –
явь ли, марево.
Отогрей да пожалей –
жить под тучами
между диких журавлей
я измучилась».

Да не клонится глава –
и не молится;
хоть права, хоть не права –
за околицу,



да в закатный неуют
 апельсиновый...
 Что ж мне в сердце не забьют
 кол осиновый?

Лучше жить вообще без надежды,
 чем с надеждой, умирающей каждый день.
 Край одежды
 зацепился за имя твоё, за тень
 наших разговоров, за белую стаю
 наших писем.
 Не пускает.
 Стаю
 сдам на подушки –
 на пух.
 Жалко её, конечно,
 только – одно из двух:
 или она меня заключёт –
 или –
 я её, влёт.
 Чтобы выжить.

Железный свист.
 ...письма лежат в крови,
 в слое небесной пыли.

Разрыв. Фигурка схватится за бок –
 живой лубок.
 Час новостей. Адреналин. Игра.
 Ты щёлкнешь кнопкой – и конец. Нет ран,
 потери, смерти, зла... Застынет крик.
 Ты – в капсуле. В скафандре. Ты – внутри.
 Замри.

Замри. Ни с места. Стой, нельзя наружу –
 за рамки, за обложку, из себя –
 к соседям, соплеменникам, со-душам –
 задушат.
 Ты – мишень. Рога трубят.
 Охота. Крестный ход на абордаж,
 на брата, на врага, на тот этаж,
 где нагло распускаются герани –
 цвет мяса в ране.

Где ты уже – игрушка на экране.
 Ты раб. Под рьяный рёв других рабов
 на солнечной арене Колизея
 ты умираешь. Крик – и мы глазеем
 на красное на острие зубов.



Агония. И гонка – мчатся снимки
в Facebook, диктует Canon свой канон:
у трупа, у меча, со львом в обнимку.
И лают «лайки»: кадры – как в кино,

где даже смерть кошмарная – прекрасна,
где люди растворяются на красном –
заката, крови. Жажда на губах –
адреналина! – зрелищ, твиттов, хлеба,
убойных кадров: нас на фоне неба –
красивых,
молодых,
в гробах.

Зажмурится ветер – шагнёт со скалы.
Спокоен и светел тяжёлый наплыв
предсмертного вала – он манит суда
на дно океана. Седая вода
врывается в трюмы, где сгрудились мы:
звереем – от запаха смерти и тьмы,
безумствуем, ищем причины...

Кричим: «Это риф – или мысль – или мыс –
бездушность богов – нет, предательство крыс...»
И крики глотает пучина.

Я ринусь на палубу, в свежесть грозы.
Пора мне.
Монетку кладу под язык –
бросаю ненужные ножны.

И плавно – сквозь ночь, как седая сова –
взлетаю с галеры – туда, где слова
понятны ещё –
но уже невозможны.

КРАЙ

Край света. Свято ты веришь в это – кругом раздрай,
гробит народец, погрязший в дрязгах, сварливей Грай.

Но даже если ты вдруг пролез бы в цветущий рай,
где чужды лица – хоть рой землицу, хоть помирай –

недолго спиться, упасть на спицу в таком раю.
Край света. Свита твоя верёвка. Ты – на краю.



А в центре мира – тепло камина, огонь свечи,
живёшь без грима, и беды – мимо, и кот мурчит.

Там – *рук сплетенье*, там свет и тени живут в ладу.
Край света – это где нас не любят. Где нас не ждут.

БАЛЛАДА О КАКАДУ

Прилетела птица какаду,
Чтоб накликать горькую беду
Вещим Сирином:
«Умирать в земном тебе раю –
Умирать в чужом тебе краю,
Обессиленной.

Да не плачь, девица, не горюй –
Красота здесь, лес, и в лоне струй
Плещут рыбицы,
Знай, живи безбурно, как хомяк –
Здесь тебя не пнут, не обхамят,
Всяк те лыбится.

А на север боле не гляди –
Баюг, зло там рвётся из груди
Тварью лютою,
Развалилась отчая изба,
Наглый раж глядит из-подо лба
Псом-Малютою.

Ты забудь про юное вчера,
Не растёт давно уже добра
В снежном поле том.
Так живи да грейся, пей коктейль
И листай себе гламурный Элл
С Космополитен».

Ты не лги мне, птичка-людовед,
Наколдуй мне край, где ясен свет,
Души – с разумом,
Божий мир – без пограничных пут,
Без разлук, разрывов, розни, смут,
Зла заразного.

Засмеётся птица какаду,
Съест орех по имени «фундук» –
Да сокроется.
На краю земли живут во мне –
Эвкалипты, море... Сосны. Снег.
Лики «Троицы».



ARS POETICA

Я ослеп. Измучился. Продрог.
Я кричу из этой затхлой бездны.
Господи, я тоже чей-то бог,
заплаувавший, плачущий, небесный.

Вот бумага. Стол. Перо и рок.
Я. (больной, седой и неизвестный)
Но умру – и дайте только срок,
дайте строк – и я ещё воскресну.

ПОЭТ ЭПОХИ ДИНОЗАВРОВ

Я – нефть. Я выжил. Я не сгнил
среди поклонников и лавров.
Пройдя сквозь тысячи горнил,
я стал живучее чернил –
поэт эпохи динозавров.

Я – нефть. Я – золото. Я – власть.
Я снова пробуждаю страсть –
певец покойный.
Как миллиарды лет назад,
взрываюсь, превращая в ад
мирок спокойный.

Я – нефть. Я – топливо. Я – снесь.
Меня опять сжирает пламя.
И, птеродактильно дыша,
моя крылатая душа
кружит над вами.

ЕФИМ БЕРШИН

РЕПЕТИРУЯ СОТВОРЕНИЕ МИРА

Песком пустыни давится хамсин.
Клубится небо, душное, как астма.
Приходит в город человеческий сын
ярмом любви, предтечей христианства.

Пока пространства выгоревший шёлк,
как поцелуй, несёт к нему Иуда,
толпа кричит: «Смотрите, кто пришёл!»
А надо бы – куда пришёл? откуда?

зачем? Когда закат уже кровит,
когда вся суть идеен, суть исканий
в том, как в бездомных жриц его любви
летели человеческие камни.

Затхлый запах бездомности –
сквозняком – по душе.
Ощущенье бездомности
не покинет уже.

Но как ветер за ставнями
или пёс в конуре,
как случайно оставленный
патефон во дворе,

я играю и вроде бы
я пою и верчусь –
певчий пасынок родины.
За неё, как юродивый,
я ещё расплачусь.



Мелькали забытые лица.
Над прудом звенела ветла.
Менялась погода. Смениться
погода никак не могла.

И бабочка-самоубийца
всю ночь колотилась в стекло.
И что-то должно было сбыться,
но сбыться никак не могло.

Как будто в одну увертюру
вложил одуряющий пыл
неведомый автор, но сдуру
про оперу позабыл.

И снов беспокойные пятна
жужжали, как веретено,
как в ночь накануне распятыя,
которое отменено.

Я молился еврейскому богу по-русски
и захлебывался астматическим морем,
жрал песок пустынь
и протягивал руки
за случайным хлебом,
и не был вором.

Но таился, как вор, от ночного ветра
в городах,
где спала на камнях идея,
знал любовь и войну,
но не знал ответа –
с кем и где я?

Я варился в котле Иерусалима,
спал в снегу,
рвал рубаху ветвями акаций,
рассыпался, словно сухая глина,
не найдя для себя языков и наций.

Но однажды,
неслышно скользнув из калитки,
вышел к морю где-то у Питера или Тира
и подслушал, как Бог играет на скрипке,
репетируя сотворение мира.



Выныривая из чужих ворот,
теряя коченеющий рассудок,
тону, беззвучный разевая рот,
в аквариумах телефонных будок.

Твой голос, как спасительная дверь
в страну покоя и в страну обмана,
где голубь есть,
где зеленеет твердь,
взошедшая из бездны океана.

Но из-под ног уходят острова,
срываясь, как трамвай из-под тока,
хотя ещё безумствует Москва,
не чуя приближение потопа,

хотя ещё твой голос по ночам
несется трелью телефонных линий...
Но первая стекает по плечам
вода сорокасуточного ливня.

Куда нам плыть,
когда уже одни,
когда уже и дни теряют числа?
Я здесь пока.
Я чист перед людьми.
Но на ковчег уже собрали чистых.

И вот,
почти не ощущая плоть,
заворожённый предпотопным действием,
иду по суше,
как ходил Господь
по непокорным водам иудейским.

Бьёт по осени,
как по лицу или в пах,
опустившись с небес до пивного ларька,
записным забуддыгой, пропившимся в прах,
то ли дождь,
то ли снег,
то ли Божья рука.

Бьют по осени,
будто коленом под дых,
или пьяным осколком свистят у виска.
И усталое сердце, как тройка гнедых,
разрывая поводья артерий пустых,
разрывается,
бросив в ночи седока.



Мне уже недоступна подобная прыть.
 И гнедою кобылой съедая покой
 недожеванной жвачки,
 у ваших корыт
 помышляю о теле,
 чтоб душу укрыть,
 чтоб вконец не замерзнуть на вашей Тверской,

где последний фонарь, догорая, горит,
 где безродным пришельцем из дальних миров
 я пытался заставить асфальт говорить
 миллионом моих индевеющих ртов.

И пока моё горло забито куском,
 и подвальной решёткою месяц распят,
 ваши улицы бредят моим языком,
 ваши окна мои глазами не спят,

наблюдая, как корчатся церкви в крестах,
 как два бюста,
 сойдясь голова к голове,
 задохнулись любовью в дрожащих кустах.
 Я один.
 Я неслышно иду по Москве.

Я уже произвёл немудреный расчёт.
 Я покореен, как облако или река.
 Но настойчиво гонит куда-то ещё
 то ли дождь,
 то ли снег,
 то ли Божья рука.

*Ночь, ледяная рябь канала,
 аптека, улица, фонарь...
 А. Блок*

Только ночь, аптека да канава,
 да базар за каменным мостом.
 Только ледяная рябь канала,
 как петлёй,
 захлёстывает дом.

Только пёс,
 разворотивший урну,
 и кривая, как бандитский нож,
 улица ползёт по Петербургу
 в чёрную рождественскую ночь.

Знаешь, друг,
 давай стихи зароем,
 по-собачьи разрыхляя снег.



И – на четвереньки.
И – завоем,
возвещая двадцать первый век.

Ты сидишь, как икона, в углу -
отрешённо и прямо.
И суровую нитку в иглу
сквозь ушко продеваешь упрямо.

Может, что и сошьётся. А нет –
побредём подобию-поздорову.
Долгожданный, провидческий снег
уничтожил дорогу.

И не скажешь: вот – Бог, вот – порог.
За метелью не видно порога.
Рождество.
Новогодний пирог.
Ни дороги, ни Бога.

Это цвет вытесняет цвет,
уменьшая короткий век его.
Это боль сочится, как Новый Завет
просачивался из Ветхого.

И как будто бандитской финкой – в бок –
я нанизан, как туша – на вертел.
Это во мне умирает бог,
который в меня так верил.

ОЛЬГА АНДРЕЕВА

ГЛУБОКИЙ АЛЬТ ОЗОНА

ЕВА

Всех и дел-то в раю, что расчёсывать длинные пряди
и цветы в них влетать. У Адама ещё был треножник,
он макал рысью кисть – и стремительно, жадно, не глядя
создавал новый рай – и меня. Он пытался умножить,
повторить... Мы – не знали. Кто прятал нас? Вербы? Оливы?
Просыпались в лугах и под ясеневым водопадом,
не твердили имён и не ведали слова *счастливым*,
ничего не боялись – в раю не бывает опасно.

Там, где времени нет – пить на травах настоящий воздух...
Я любила рысят, ты любил пятистошный анапест,
лягушачьи ансамбли и тех кенгуру под берёзой.
Мы не знали, что смертны, и даже что живы – не знали.
Быль рекою текла, вряд ли я становилась умнее,
наблюдая, как птицы отчаянно крыльями машут,
огород городить и рассаду сажать не умели –
а в твоём биополе цвели васильки и ромашки.

Но закончилось детство – обним вручили повестку –
и с тех пор мы во всём виноваты, везде неуместны.
Мы цеплялись за мир, за любую торчащую ветку.
Нас спасёт красота? Ты, и правда, во всё это веришь?
Все кусались вокруг, мы старались от них отличаться...
Кроме цепкости рук – только блики недолгого счастья.
Корни страха длиннее запутанных стеблей свободы.
Только в воздухе что-то – пронзительно-верно и больно...

АПРЕЛЬСКОЕ

Не делая культа
из трели-капели,
не слушая лепета
и щебетанья,
вбирая всю прану
исхода недели
большими глотками,
часов не считая –



сбежать в воскресенье
сухого асфальта,
луча на затылке
и пышного бреда
в иных головах,
не усвоивших факта –
вхождения заново
в новую реку

Еврейская пасха
и похолоданье –
к цветенью черёмухи.
Мир закольцован
опять на себя же.
Так будет годами,
в апреле прохлады,
в июле плюс сорок

Я в будущей жизни
хочу быть индейцем,
чувствительным
к порокам,
звукам, оттенкам
способным к предвиденью
с раннего детства,
неслышно, как тигр,
проходящим
сквозь стенку.

Апрель. Как в раю,
как дитя в колыбели,
как птица в гнезде,
как песчинка в пустыне
как взгляд – сквозь очки –
видит мелкие цели –
в подробной ненужной
избыточной сини.

Я в реку войду
и приму христианство –
зарок бесполезности,
высшего смысла
смирения в этом
трёхмерном пространстве
надежды проникнуть
в нездешние числа,

и камень смутится,
задет за живое.
Не делая культа
из пульта и компа,
сквозь библиотоки
в пространство кривое
уводит апрель
игнорируя компас.



Что эту вишню делает японской?
 Изломанность пушистой гибкой кроны?
 Как у адепта, принявшего постриг –
 в слепом порыве головы склонённой.
 Крым – в инородной пластике растений,
 в мифологизмах битвы света с тенью,
 в пейзажах – не с берёзкой да савраской,
 а с безоглядной страстью самурайской.

Так неохотно почки раскрывались –
 простая дань пустому ритуалу.
 Как робок расцветающий физалис.
 Ты прав – у моря женское начало –
 взять берегов изогнутость и плавность,
 невинный сон в сиянье безмятежном...
 Давай сосредоточимся на главном –
 как утро осязаемо и нежно.

Так что ж, теперь дежурным поцелуем
 день начинать, едва заголубевший?
 Боюсь, наш мир стоит не по фен-шюю.
 Я не опасна, но не бесхребетна.
 Лоза струится вниз со всех карнизов.
 Я тоже – жизнь, и я бросаю вызов.
 Вливается глубокий альт озона
 в сопрано свежекоченых газонов.

Я прогоню дурное ци – умею.
 Не доверять себе – ну сколько ж можно?
 Дракона Капчика обнять за шею,
 не отягчая больше карму ложью.
 Разбреди мне снова эту рану –
 шаманская болезнь три года кряду.
 Нарву имеретинского шафрана
 и конопля – для колдовских обрядов.

Истеричный порыв сочинять в электричке,
 свой глоточек свободы испить до конца,
 внутривенно, по капле, ни йоты сырца
 не пролить-проворонить, чатланские спички
 не истратить бездарно. Побег
 по ошибке – а значит, для муки,
 тянут почки, укрытые снегом,
 как ребёнок – озябшие руки.

На замке подсознание, ключик утерян,
 не дано удержать себя в рамках судьбы –
 лишь бы с ритма не сбиться. А поезд отмерит
 твой полёт и гордыню, смиренность и быт.



Я вдохну дым чужой сигареты.
Частью флоры – без ягод и листьев –
встрепенётся ушедшее лето –
опылится само, окрылится,

и взлетит – несмышлёным огнём скоротечным.
Но шлагбаум – как огненный меч – неспроста.
Но в узоры сплетаются брэнность и вечность,
жизнь и смерть, жар и лёд, и во всём – красота.
Этот калейдоскоп ирреален –
под изорванным в пух покрывалом –
вечно старые камни развалин,
вечно юные камни обвалов.

Это раньше поэтов манила бездомность,
а сегодня отвратно бездомны бомжи,
этот жалкий обмылок, гниющий обломок
богоданной бессмертной погибшей души.
Страшный след, необузданный, тёмный,
катастрофы, потери, протеста,
и в психушке с Иваном Бездомным
для него не находится места.

Не соткать ровной ткани самой Афродите –
чудо-зёрна от плевел нельзя отделить.
Кудри рыжего дыма растают в зените,
на невытом стекле проступает delete.
Но в зигзаги невидимой нитью
мягко вписана кем-то кривая.
Поезд мчится. И музыка Шнитке
разрушает мне мозг, развивая.

Этот город накроет волной.
Мы – не сможем... Да, в сущности, кто мы –
перед вольной летящей стеной
побледневшие нервные гномы?
Наши статуи, парки, дворцы,
балюстрады и автомобили...
И коня-то уже под уздцы
не удержим. Давно позабыли,

как вставать на защиту страны,
усмирять и врага, и стихию,
наши мысли больны и странны –
графоманской строкой на стихире.
Бедный город, как в грязных бинтах,
в липком рыхлом подтаявшем снеге,
протекающем в тонких местах...
По такому ль надменный Онегин



возвращался домой из гостей?
 Разве столько отчаянья в чае
 ежеутреннем – было в начале?
 На глазах изумлённых детей
 под дурацкий закадровый смех
 проворонили землю, разини.
 Жаль, когда-то подумать за всех
 не успел Доменико Трезини.

Охта-центры, спустившись с высот,
 ищут новый оффшор торопливо,
 и уже нас ничто не спасёт –
 даже дамба в Финском заливе,
 слишком поздно. Очнувшись от сна,
 прозревает последний тушица –
 раз в столетье приходит волна,
 от которой нельзя откупиться.

Я молчу. Я молчу и молюсь.
 Я молчу, и молюсь, и надеюсь.
 Но уже обживает моллюск
 день Помпеи в последнем музее,
 но уже доедает слизняк
 чистотел вдоль железной дороги...
 Да, сейчас у меня депрессняк,
 так что ты меня лучше не трогай.

Да помилует праведный суд
 соль и суть его нежной психеи.
 Этот город, пожалуй, спасут.
 Только мы – всё равно не успеем.

РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Язык мой, враг мой,
 среди тысяч слов
 твоих, кишачих роем насекомых, –
 нет, попугаев в тропиках, улов
 мой небогат и зелен до оскомы,

и слишком слаб,
 чтоб миру отвечать –
 когда мгновенье бьётся жидкой ртутью,
 косноязычье виснет на плечах –
 а значит, ослабляет амплитуду.

Я не могу
 поспориться с дождём –
 наверно, русский речь меня покинул.
 И старый добрый дзэн меня не ждёт.
 Шопеновская юбка балерины



не прикрывает
кривоногих тем,
морфем и идиом – но я причастна!
И я, твоя зарвавшаяся тень,
ныряю в несжимаемое счастье.

«Царь-колокол».
«Гром-камень». «Встань-трава».
О, не лиши меня попытки слова,
пока такие ж сладкие слова
не разыщут на глобусе Ростова!

Вступили в реку –
будем гнать волну.
Что ж нам, тонуть? Куда теперь деваться?
Всё разглядим – и выберем одну
из тысячи возможных девиаций –

верней – она
нам выберет звезду.
И полетит сюжет, как поезд скорый,
и я в него запрыгну на ходу
пускай плохим – но искренним актёром.

НИНА ГЕЙДЭ

СНЕГОПАДОВ ДНЕВНИХ ПИСЬМЕНА

Приготовиться к смерти, как сушат грибы к зиме:
пожелтевшие письма – гербарий увядших дней –
разложить на столе, помолчать, посчитать в уме,
сколько раз умирал от любви – от игры теней.

Три любимые книги опять перечесть в слезах,
проходить целый день в халате и быт презреть.
И подумать о том, как же жалко с саней слезать,
на которых пригрелся и даже сумел прозреть:

только это движенье и было всего милей –
в никуда ниоткуда под лёгкий полозьев скрип.
Как невольный всхлип, ощутить белизну полей,
трепетанье ветвей, подо льдом – шевеленье рыб.

Но тряхнуть головой – поубавить игривый пыл
забияки-щенка, что заметно к весне подрос.
Приготовиться к смерти, смахнуть с антресолей пыль,
и тогда уже жить начинать, наконец, всерьёз.

Метели русской письмена
на датский не переводимы.
И кажется, что нет меня
на свете, где сердца, как зимы –

где жизнь расходится по шву,
как тот кафтан нелепый Тришкин.
Всё, что любила, чем живу –
уже обманывало трижды.

И Андерсена мастерство
не помогло печальной Герде
постичь комедий естество
в исконном облике трагедий.



Чужой зимы старинный хлад
судьбы меняет изначальность.
И жизнь, что вся не в склад не в лад,
чем совершенней – тем печальней.

Живи сто лет – в одну слепую небыль
собьются дни – в один бесцветный ком,
когда уже под вылинявшим небом
не думаем, не плачем ни о ком.

Вот так и я живу – смиренно, чинно,
примолкнув, затупившись, заржавев,
как выброшенный ножик перочинный
в канаву возле высохших деревьев.

А было время – рая и тревожа,
в плоть бытия врезалась горячо,
и сок стекал берёзовый по коже –
и капли поцелуев жгли плечо.

Как лепеты любви на междометья
разлуки поменялись – не гадай,
Я и сама едва смогла заметить,
как нкогда вернулось в никогда.

Это просто дожди зарядили отчаянно,
и ореховой хрупкой скорлупкой душа,
покружившись на месте, куда-то отчалила,
вдруг устав от бумаги и карандаша.

Попабыла в переулках ночных: апельсиновый
свет из окон, луну среди туч завитком –
всё вбирала душа и с бездомною псиною
обменялась, как с давней знакомой, кивком.

С неучёным котом разминулась – два камушка
изумрудных сверкнули во тьме колдовской.
Было грустно душе, потому что века уже
болен дождь-одиночка любовной тоской.

В бормотанье его всё невятнее отзвуки
полдней страсти, её сладкожалящих ос.
Жизнь, пыльцой золотой трепетавшую в воздухе,
ломким крылышком бабочки ветер унёс.

Лишь один и остался под лампой настольною
остров света над белой равниной листа.
Ночь входила в дома забродившей настойкою
недосказанных слов от второго лица.



Найди границу слов
и тишины границу.
Весь бытия улов
лишь там и сохранится.

Между молчаньем дня
и многоречьем ночи
черта проведена
незримым многоточьем...

Иди по ней, иди –
над явью сна и бденья.
небытия пути
там сходятся с рождением.

Услышь – ещё до слов,
до дрожи каждой жилки:
моя к тебе любовь
была – ещё до жизни.

Детский парк, забытые качели
над рекой – прозрачная луна.
Листопадов вечное кочевье,
снегопадов древних письма.

Возвращенье – возвращенье буден
круговыми петлями времён,
возвещенье – вещее пребудет,
Мирозданию сданное в ремонт.

Очерчивай, озвучивай границы –
в их шумных мастерских и ткётся жизнь.
Смерть – безгранична. С этим примириться
ещё черёд настанет. Привяжись

к невидимым оковам, ограждениям –
затей в пределах этих кутерьму.
Иного не дано, ведь и рождение –
вселение в телесную тюрьму.

И всё-таки в прекрасном заточеньи
любви и веры, творческой тоски –
проявленной бытийное теченье,
пронзительней бессмертия ростки.



Пусть памятью свершается плененье
и охраняет многоликий смысл
граница-слово... Без надменной лени
вязанием земных петель займись.

Я – созревший одуванчик
на подкошенном стебле.
Стол, комод, трюмо, диванчик
и Кандинский на стекле.

Дом без весел – словно лодка,
на которой плыть нельзя.
Почему то мне неловко
посмотреть тебе в глаза.

И бывает ли яснее
невозможность вечных чувств?
Ну, смелее – дунь сильнее:
я по свету разлечусь.

Если хочешь – взлетай: буду небом.
И водою я буду и хлебом.

В безрассудстве своём непокорном
если хочешь расти – буду корнем.

За удачей отправишься следом –
буду верным твоим амулетом.

Если всё, что имел, проиграешь –
сотворю из соломинок рай наш.

Всё беспечно с тобой и бесценно.
Если хочешь – играй: буду сценой.

Ну а если любовь нас с тобою
вместе вылепит – стану судьбою.

Все твои откровенья и тайны
свято буду хранить, неустанно.

Если хочешь уста – буду телом.
Если хочешь, оставь – буду тенью...



Если уж страсть, то страсть. Остальное чушь –
 порох сырой, песчаник, сухие листья.
 Если уж красть, то красть – чтоб хватило чувств
 так первородно друг с другом сплестись и слиться,

как с чернозёмом древним – растить слова,
 слёзы растить и смех, расставанья, встречи.
 Если любить – то всласть, понимать едва,
 что это всё причуды творящей речи.

Нежности хмель цедить – словно в первый раз –
 через соломинку лет. Если жить на свете,
 то уж сполна – идти на крутой вираж
 вечной души в безвоздушном пространстве смерти.

Суть любви по-русски –
 наваждение конца.
 Будто счастье – нагрузка.
 Будто нужно свинца

боли в самое сердце.
 Так и рвётся из вен
 роковое усердье –
 расставаться навек.

Всё кончать до начала.
 Как Ассоль ни зови –
 оставлять у причала
 паруса на крови.

Мало моря и мало
 этим чувствам земли –
 лучше встать у причала,
 чем потом на мели

оказаться – в разлуке
 бесконечных потерь.
 Видно, лучше в разлуке,
 чем в земной тесноте.

Лучше сразу от быта
 улететь до небес.
 Лучше горя избыток,
 чем любви недовес

в бытии, что мечтает
 зачехлить и ушить.
 Жизнь любви не вмещает –
 мука русской души.



Есть что-то безнадежное в раю
для тех, кто до конца ещё не умер.
В чужом раю, как и в чужом краю,
под каждой розой – ностальгии зуммер.

Трава не та, листва совсем не та,
не те дожди, не так цветут каштаны.
Зима не та – сплошная маята.
На санках нас не так отцы катали.

Не те дома, соседский дух не тот.
И праздники не те, застолья, песни.
Не те друзья, не тот уже полёт
в расчерченном на клетки поднебесье.

Не те моря, не тот воды глоток,
не та победоносность на престоле.
И жизнь сама – опрятный закуток,
а не просторы, Боже, не просторы.

Язык не тот – в нём не найти следов,
ведущих за незримые пределы.
И слово сокровенное «любовь»
звучит не так, как сердце бы хотело.

Войти к тебе, как входит в дом
к убившему давно убитый –
той странной тягою ведам,
когда условности забыты.

Не усидевши за столом,
сказать тебе весь стыд по сути
и лечь не с телом, а с теплом –
почти что вне имён и судеб.

ОЛЬГА АНИКИНА

ЗОЛОТАРИДЫ

рассказ

Все мы, и пятиклашки и малышня – жили в «Дзержинце» только один сезон, то есть, учебную четверть, а они оба, Золотарёв и Золотарёва, работали здесь всегда. И летом, и осенью, как сейчас, и даже зимой, когда море было уже холодным и в нём нельзя было купаться. Всё равно школа была открыта, и лагерь принимал детей со всего Союза.

Когда дома шли разговоры о том, чтобы отправить меня к морю, я даже и не поняла, что Евпатория – это город. Я думала, эта Евпатория – такое учреждение, большая специальная лечебница возле моря. А тут – надо же, даже на карте она есть, и построена не Советским Союзом, а какими-то древними царями, греками и скифами. Керкентида! Царь Митридат Евпатор Четвёртый! Екатерина Вторая! Золотарёвы Татьяна Николаевна и Александр Викторович!

Жили мы в двухэтажных корпусах, в комнатах по десять кроватей в каждой. Кровати стояли в два ряда, деревянные. Море было далековатое от корпуса. Но я, после отбоя, лёжа – вторая от двери в левом ряду – часто придумывала, как будто ночью, тихо, когда все спят, море вспенивается и заполняет берег, парк и дорожки, да и сами корпуса, и вот наши кровати – не кровати уже, а лодки, качаются на приколе, стучаются бортами друг о друга, опускаешь руку – а пола-то нет, там холодная водичка, водоросли и скользкие рыбки, рапаны и мягкие, словно вспухшие от воды деревянные щепки – может, даже остатки древних кораблей. А в вожатской комнате, за стенкой, раскачивается кровать-лодка наших воспитателей, и они лежат на её дне, обнявшись.

Утром по расписанию у нас были лечебные процедуры и купание. Днём, после сончасы – три-четыре урока, основные по школьной программе. Потом нас вели на ужин. Были и мероприятия – смотр военной песни, например. Или поездки в колхозы на сбор урожая. Все эти развлечения устраивали нам воспитатели. Золотарёвых мы называли «по-местному», по-гречески: Золотариды. Если бы греки не проиграли войну скифам, а те османам, а те – русским, то Татьяна Николаевна и Александр Викторович, наверно, так бы и звались: Золотариды. Они были – наши боги, а может, титаны или цари, они сопровождали нас всюду и пытались влезть во все наши дела, а мы прятались, носили в головах, а иногда – подмышками свои тайны размером с печенье или с кусочек хлеба. Тайны прятались под матрац или в наволочку, но боги были вездесущи и всегда точно знали, в какой лодке-кровати спрятана записка.

Ещё я помню поездку на бахчу. На огромных полях, в траве и росе, под солнцем, лежали, благоухая, опрокинутые лицом к солнцу дыни и арбузы с гулким звоном внутри. Каждый арбуз – тёплый, как будто живой – такой круглый толстый неподвижный зверь, живущий в листьях, лежащий, прижавшись к земле бледной плоской щекой. Он дышит в траву и молча о чём-то думает внутри своей гладкой головы. Пуповина, которой он привязан к корню – иногда зелёная, а иногда уже совсем сухая, коричневая. Он отпочковался от стебля и хочет свободы. Ты срываешь его и несёшь в большую кучу на краю поля. Оттуда его когда-нибудь заберёт глухо урчащий грузовик, а сейчас круглые плоды лежат, как пирамида, под солнцем – небольшая, но почти египетская, пирамида, а мы – рабы в набедренных повязках, сделанных из сброшенных с плеч курток, бегаем по полю в одних футболках – почти октябрь, но жарко, жарко! – и таскаем к этой зыбкой конструкции большие тёплые головы, сорванные с земли. Одна пирамида, выросшая над полем – зелёного цвета, другая – жёлтого. Дыни и арбузы.

Ни у кого не оказалось ножинок – Золотариды отобрали у нас все острые предметы ещё в начале сезона – а так хотелось попробовать на вкус все эти ягодо-фрукты. Татьяна Николаевна подошла к галдящей группе девчонок и, улыбаясь, со знанием дела, кулаком с размаху расколола маленькую жёлтую дыньку. В том было что-то первобытное, взмах и звук лопающейся кожуры, хруст плода. Я помню и



сейчас: берёшь в руки дыню, тяжёлую, покрытую шершавой коркой, похожую на растрескавшийся сосуд, драгоценный, древний, кладёшь на землю, со всей силы размахиваешься и – по продолговатому телу дыни проходит дрожь, и липкий сладкий сок течёт из трещины. Разъединяешь половинки, и вот уже руки, по локоть, облиты нектаром и амброзией. Каждую половину нужно ещё раз разломить, а дыньку поменьше – ту можно даже вывернуть наизнанку, и – вот оно, ты ныряешь во влажную ароматную мякоть, зарываешься в неё лицом, глотаешь, пьёшь сок взахлёб. Медовые капли текут у тебя по лицу, по рукам, по шее, затекают на грудь под футболку, ты размазываешь их – всё равно, пусть, пусть! Это солнце течёт у меня по рукам, это его я пью из осколков разбитой амфоры.

Час спустя под ногами уже валялись разбросанные обкусанные корки, жёлтые и зелёные, с остатками розовой и белой мякоти. Колхозники оказались щедрыми: дыни с арбузами можно было есть, пока не лопнешь – и мы наедались ими впрок, наполнялись божественной пищей, соловели под высоким крымским солнцем. Можно было стаскивать арбузы и дыни в автобус, сколько сумеешь унести. Можно было завалиться на спину, в траву, лежать среди не сорванных ещё плодов, прижаться затылком к твёрдому круглому боку и смотреть в небо, как будто ты тоже арбуз. И так валяться, пока не затечёт спина.

Пришло время уезжать с бахчи, но Золотариды куда-то пропали. Два автобуса уже стояли возле поля, и, вроде бы, никто никуда не спешил, но все понимали, что почему-то отъезд затягивается. Кто-то из мальчишек по секрету сказал, что на соседнем поле, куда нас не пустили, совсем недалеко, за продолговатым бревенчатым складом, растут какие-то совершенно чудесные белые арбузы с фиолетовой мякотью. Пока воспитатели не объявились, мы побежали туда – сорвать хоть парочку и взять с собой в лагерь.

Мы добежали до склада, мальчишки свернули на дальний угол запретного поля, а я хотела было пробежать с другой стороны, в обход строения. Я бы выскочила из-за сарая на просеку и сорвала бы самый большой и красивый белый арбуз. Но вдруг я услышала голоса взрослых и остановилась. За строением кто-то был. Там стоял некто, и он не просто там стоял, а разговаривал, вернее, кричал на кого-то, а тот, другой, даже не оправдывался, а просто тихо что-то отвечал.

– Как ты могла это сделать! ... Зачем! За что! Да это не было бы проблемой! Да какая разница! Какая теперь уже разница! ... Ты понимаешь, что это – конец! Да, именно конец света. Для меня! Для меня это конец света! Понимаешь ты это, дура? Что?.. Нечаева! А ты что здесь делаешь?! А ну быстро марш к автобусам! Я сказал!

Последняя фраза была обращена ко мне: Золотарид стоял напротив меня, красный и злой, с мокрым лицом, наверное, он был весь тоже в арбузном соке, а его жена стояла рядом и тоже смотрела на меня. Он орал так, как будто я была самым ужасным на свете преступником.

– Александр Викторович, я хотела...

– Я сказал, все по автобусам, Нечаева! Все! Быстро! По автобусам! Твою мать...

Я разворачиваюсь, изумлённая и испуганная чем-то, спотыкаюсь, бегу обратно и кричу:

– Витька, Мишка!.. По автобусам, уезжаем!

– Уезжаем!

Они бегут, и я бегу, и у них прекрасные белые арбузы, целых три, а у меня ни одного, и я выпрашиваю у мальчишек один, а они дразнятся и не дают мне ничего, только хохочут и обзывают меня шваброй.

– Уезжаем!

И мы садимся в салон, душный, раскалённый, и Золотариды пересчитывают нас, а я рассказываю на ухо подружке, что там сейчас было за складом, рассказываю, поглядывая на воспитателя, а он оборачивается и смотрит на меня, оглядывается только один раз, но очень зло, и лицо его – красное и блестящее. И я замолкаю. Потом Золотарид кричит на мальчишек, обещает им, что они останутся без полдника, а те вопят и не слушаются, какой там полдник, когда весь автобус набит лучшим в мире полдником, подарками с бахчи.

Потом автобусы долго едут вдоль берега, и за окнами – синее и жёлтое, только синее и жёлтое. Мальчишки орут, поют песни, хохочут, а Золотарид всю дорогу молча сидит на своём переднем сидении, опустив голову, сидит, сгорбившись, и не оборачивается. Он, наверное, объелся арбузами и спал всё время, пока мы не приехали обратно в лагерь.



ЛУКОВИЩЕ

рассказ

У неё была такая странная, горькая фамилия – Луковище.

– Только никому не говорите, что вы моя тётя, – когда Лёша мямлил и куксился, его тело делалось угловатым, а лицо мягким и бесформенным. – Я сказал, что вы просто родственница. Дальняя родня жены. Если можно, не распространяйтесь. Без обид, тётя Сань?

Саня улыбнулась. Она не обиделась. Не до жиру, как говорится.

Она вообще, кажется, перестала обижаться. На время или навсегда перестала – неизвестно, но с обидами было ещё тяжелее, чем без них. Так что – спасибо. Приютили – спасибо. Поддержали – спасибо. Не вышло – тоже всё в порядке.

Снег дребезжал за окном, похожий на телепомехи – нервный, горизонтальный, расплывчатый. Снег – был, и Саня – была. И город – был. Геометрические фигуры и точка. Из-за стойки администраторов хорошо просматривался строго огороженный участок сизого неба. Он, казалось, неритмично подёргивался.

Иногда Саня разрешала себе вот так «зависнуть» и почувствовать себя отдельно от всего, что её окружало. Это обязательно нужно было делать: хоть по дороге домой, хоть на работе, хоть за мытьём посуды. Иначе терялось ощущение того, что она живёт. Заставить чувствовать себя живой иногда было очень трудно. Но без этого вообще всё теряло смысл. Оставалась только череда бессмысленных движений, автоматизмы и страх.

Вряд ли сотрудники салона «Автошник» знали, что новый колл-менеджер – Лёшина тётя. Как же неловко было Лёше встречаться в коридоре с Сергеем Сергеевичем, который, казалось, всегда был задумчив и погружён в себя, но теперь, после того, как тётя Саня получила работу, Сергей Сергеевич, кажется, немного усмехался, встречаясь глазами с Лёшей. «Вот засада. Ну всё, я у него под ногтём, – думал Лёша с досадой, – Чёртовы семейные дела».

Клиенты терпели. И южнорусский Санин говорок, и её беспомощность, и опешки. Менеджер Луковище путала номера заказов. Владелец «Тигуана» приехал ремонтироваться, а его запчастей на складе не оказалось. Владельцу «Киа Рио» пришёл дорогой корейский инжектор вместо дешёвого контрактного – Саня помнила, что нужно перезвонить клиенту, но звонок затерялся. Неизвестно, может, снег тому виной. О записанных на одно и то же время клиентах в «Автошнике» уже ходили каверзные байки с присказкой «на грани увольнения».

– Луковище уволят, это просто вопрос времени, – говорили и менеджеры, и мастера, и сменщицы. – У директора кончится приступ милосердия, и всё встанет на свои места.

Сотрудницам, сидящим рядом и напротив, давно было уже ясно, что настал период, когда ничто уже не могло оправдать Санино «раздолбайство». Ни внешность – в свои пятьдесят с небольшим ухоженная Саня была похожа на известную итальянскую актрису, и никто никогда не угадывал настоящий Санин возраст. Нельзя было сослаться и на отсутствие опыта, потому что Луковище работала в «Автошнике» уже целых пять месяцев. Что до политики, то постановлением директора год назад на рабочем месте были запрещены беседы о войне, которая сотрясала соседнюю страну. Такие разговоры распатывали и без того неустойчивую эмоциональную обстановку в коллективе, провоцировали обсуждения на повышенных тонах и взаимную ненависть. Саня была «оттуда». Ей сочувствовали и помогали вещами, но неприкаянность беженки тоже не могла быть оправданием плохой работе. Тем более, что в последнее время в семье у Сани вроде бы всё понемногу утряслось. Ей сделали временную регистрацию, видимо, нашлись добрые люди. И ей самой, и дочке. Полтора месяца назад Луковище стала бабушкой. Значит, и внучке тоже.

О том, куда делся муж дочери, Саня старалась не говорить. Да никто и не спрашивал. Хотя соседкам очень хотелось. Особенно хотелось расспросить Саню о том, почему она с семьёй приехала именно в Петербург, а не в какую-нибудь деревню Александровские Зори, где нужны доярки и фермерши. Поначалу сотрудницы улыбались Сане, пытались её растормошить и вызвать на откровенность, а потом уже и перестали обращать внимания на её чудачества. Неприлично лезть человеку в душу.

Только Сергей Сергеевич, Лёша, менеджер Лена и бухгалтер знали о том, что у Сани были проблемы с разрешением на работу. И что трудится она вместо Лены, которая ушла в декрет, но, если судить по бумагам, Лена никуда не уходила. Маленькая бухгалтерская хитрость и согласие обеих сторон, и вот уже



Лёшина тётя работает на стойке у телефона, деньги идут на Ленину карточку, но Саня ежемесячно подъезжает к Лене за оговоренной суммой. Сумма меньше официальной зарплаты, но Саня рада и этому.

Может быть, если поискать, постоять в очередях и пообивать пороги, Саня бы нашла себе что-то получше и постабильнее. В «Автошнике» знали, что у Сани высшее гуманитарное образование, но о диссертации по Бёрнсу не знал никто, да и слава Богу. Лишнее это всё.

Хорошо, что пошёл снег. Декабрь уже, хватит сырости, а то всю осень мы прыгаем через лужи. И темно весь день, но какая разница, если внутри вообще никогда не светло. Если такая тишина вдруг попала в руки, что только и заботы, чтобы держать эту тишину и не уронить. И жить с оглядкой на неё. Дома – молчать о самом важном, а на работе – вообще молчать. Невеликая цена за жизнь, если уж совсем честно. Молчишь и молчишь. А что до очередей и бумаг, что до этих длинных чиновничьих столов – то это просто такое упражнение. Отжимание гордости. Сходила за справкой – отжалась. Сбросила полкило. Доказала, что имеешь право жить здесь ещё год. И работать, спасибо Сергей Сергеичу. И Лёше, конечно, тоже спасибо. Вот и у внучки в свидетельстве о рождении теперь будет написано: «Санкт-Петербург». Зять проклянёт, а внучка, всё-таки, может быть, вырастет и вспомнит бабушку. И доброе о ней скажет. Хотя – кто знает, что она там скажет. Может, забудет. Словно и не было на свете человека, который когда-то копался в литературных переводах, а теперь тупо тыкает в кнопки корпоративной телефонной трубки и пытается изображать сотрудника фирмы. Отпечаток, не человек. Луковище, одно слово. А всё равно – не умрёшь вот так просто. Не пускают. Да и рано ещё.

Снег повалил щедро, по-зимнему. Забелил крыши машин, а потом превратил стоянку возле офиса в лежбище белых снулых зверей. Сергей Сергеич вышел из здания, потоптался возле своей мазды, подумал и повернул в сторону метро. В подземке сухо, а сегодня ещё и быстрее, чем на колёсах.

Завтра грядёт совещание директоров, подведение итогов года. Луковище в январе всё равно придётся увольнять. Вернее, сказать ей, что её услуги больше не нужны. Даже не потому, что она не справляется. Просто колл-менеджер Лена собирается вернуться на работу. Непонятно, что там творится у Лены в семье, да и Сергей Сергеичу это безразлично, но, если работник готов приступить к своим обязанностям, несмотря на декретный отпуск, директор не имеет права препятствовать. Лене тоже нужны деньги, и она ни в чём не виновата.

А вот Сергей Сергеевич виноват. Он не может понять, в чём его вина, но уже несколько дней нет ему покоя. Что-то такое ноет и свербит внутри, от чего приходится отмахиваться, выкручиваться и заставлять себя искать во всём позитив, но с позитивом у Сергей Сергеича плоховато получается. Особенно когда в голове вертятся мысли о Сане, о Лене, об этом проклятом Лёше, будь он неладен. О том, что заварушку устроил кто-то там, наверху, а разгребать придётся ему, Сергей Сергеичу. Так же, как разгребают снег вокруг напрочь занесённого и заледеневшего автомобиля.

Хорошо, что завтра обещают конец снегопада. Может, снег растает сам. Хотя в этом тоже нет ничего хорошего – до самого Нового года мы будем опять прыгать через лужи. Прыгать, скользить, поддерживать друг друга и говорить – спасибо. Поддержали – спасибо. Не вышло – тоже всё в порядке.

АЛЁНА ВАСИЛЬЧЕНКО

«ПРОСТИ, ЗИМА. МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ...»

ЗИМНЯЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Звезды любят выюгою снежной.
Спряталось солнце: зови – не зови.
Шепчет Зима колыбельную нежно
тихим дубравам, уснувшим вдали...
Белою пряжей украсят метели
глади и своды хрустальных небес,
и властелинами гордые ели
будут хранить замерзающий лес.
Дымкою синей укроет тропинки.
В блюдцах озёр – зазеркалье глубин.
И ожерельями хрупкие льдинки
ветви украсят у голых рябин...
Холодно клёну, любившему лето.
голодно птицам в дырявом гнезде.
Позднее утро босым, не одетым
спит под луной в полевой борозде...
Плачет печально нагая берёза,
мерно дыханье озябших лугов.
Скоро крещенские грянут морозы,
реки застынут меж двух берегов...
Чаща баюкает в голых объятьях
яркой зари колдовские цветы,
и в шелковистом, как девица, платье
светит Луна, не боясь темноты...
Солнце холодное утром воскреснет,
сосен высоких коснётся вершин.
Шепчет Зима колыбельную песню
где-то в далёкой волшебной глуши...

МНЕ ОЧЕНЬ ЖАЛЬ

Прости, зима. Мне очень жаль,
что все тебя считают грубой,
и прячась под собольей шубой,
от снега первого дрожат.



Мне жаль, что ночи сторожат
твои долины и овраги,
что воют волки-бедолаги
и льды могильные лежат.
На вёсны степи ворожат,
устав от ветра злобной брани,
и в небе синем утром ранним
не видно маленьких стрижат...

Мне жаль, зима, что ты, любя,
белела тонкие берёзы,
но лишь ударили морозы –
все отвернулись от тебя.
Прости меня, зима, за тех,
кто видит грязь на белоснежном,
и окна затворит небрежно,
не слыша твой звенящий смех...
Прости за тех, кто слезы льёт
по лету, что настанет вскоре,
тобою называет горе,
и чтоб согреться – много пьёт.
Что уходящий за порог
обронит, мол «зима меж нами»,
за тех, кто скрылись за стенами,
боясь – не промочить бы ног,

за тех, кто видит, но незряч.
кто не находит в стуже проку,
кто сед и стар ещё до срока,
за тех, кто сердцем не горяч:
не рад безбрежному раздолью
да ищет повод для беды,
не любит зимние сады,
а только – пышные застоля...
За тех, прости, чей жар угас,
кто не зовёт тебя подругой,
и, ранним утром, слыша вьюгу –
лишь непогожий видит час...

ВОКЗАЛЫ ЗНАЮТ ВСЁ

Вокзалы знают всё. Во все века.
Другой – ослеп бы, видя столько судеб:
последний рейс, дрожащая рука...
Над городом нависли облака.
Как будто за ночь – проседь у виска.
И плачут все. И их никто не судит...
Вокзалы слышат... И не спят давно.
Под голоса людей, вагонный скрежет
им расставанья уши-горло режут:
здесь всё, как черно-белое кино...



Господь и тот не помнит, сколько душ
 ютилось в пыльных тамбурах вагонов,
 как много проходило эшелонов,
 где в сорок первом ехал чей-то муж,
 отец и брат... И сколько едкой пыли
 собрали губы в ожидании встреч!..
 Вокзалы знают, сколько крепких плеч
 они в ночи к перрону опустили,
 кого любили и кого крестили;
 а с кем – простились, не поставив свеч...
 Вокзалы пьют. Спиваются во хлам.
 Их рельсы – это руки-вены-жилы.
 А на перронах – каждый день бедлам:
 историй книги, ленты мелодрам...
 И Бог не там, где выстроили храм,
 а там – где люди ожиданьем живы.
 Вокзалы учат клятвы наизусть.
 Дороги, люди принимают битву.
 Две фразы, что сливаются в молитву:
 – Я буду ждать.
 – Ты жди. И я вернусь.

А ДАВАЙТЕ МЫ БУДЕМ ЧЕСТНЫМИ

А давайте мы будем честными:
 в чёрно-белом отыщем серое,
 и у жизни пути окрестные
 мы засеём добром и верою.

А давайте мы станем братьями,
 крест которых Всевышним высечен.
 Если братьями станет пятеро –
 то пополнится поле тысячей...

Справедливыми, но не судьями.
 не закроем ворота странникам,
 и сплетемся своими судьбами
 в человеческом мире маленьком,

оставляя тепло в обителях,
 мальвы красные – за воротами.
 и детей при живых родителях
 не сиротами. Не сиротами...

ДЕРЕВНЯ УМИРАЛА

Деревня умирала. В ней
 блуждал лишь одинокий ветер.
 Вставали алые рассветы.
 Река бурлила у камней.
 В ветвях тенистых и густых
 увязли руки колоколен,



и поросло травую поле,
не видя зёрен золотых...
Деревня умирала. Лес
стерёг нехоженые тропы.
Высокий омертвевший тополь
стонал, как окаянный бес.
Дожди слезой своей скупой
поили яблони за хатой,
а возле кошки полосатой –
котенок маялся слепой.
Гармонь не пела по ночам.
Повозка не гремела лихо.
Деревня умирала тихо,
старухой дряблой при свечах.
Не слышно смеха ребятни;
от века – прохудились сени;
не слышно свадеб песнопений –
лишь поминания одни...
Деревня умирала. Пыль
укрыла серые дороги,
разросся терен у порогов,
польнь по пояс, да ковыль.
Лишь старый пёс поднимет вой,
да дед закурит папиросу.
А так в округе – голо, босо,
да тропы поросли травой...
Горели бледные огни.
Трудились сморщенные руки.
Деревня умирала в муках,
считая прожитые дни.
Зерно клевало вороньё.
Дубравы в утреннем тумане
скрывали хаты, словно раны,
до сроку схоронив её...

...А в море плещется заря, ветра балуются;
и чайки белые парят, с волной целуются.
На горизонте голубом – далёкий парусник,
что в бурю истязает гром, не зная жалости.
Небес бескрайних ярок свет – Господня вотчина.
Водою сотни тысяч лет пески источены.
Смеются тихо рыбаки, и снасть заброшена,
и воет ветер от тоски, как гость непрошенный.
Туман у непроглядной тьмы дороги выстелил,
и навевают лодкам сны морские пристани.
Пучина тёмная глядит глазами грустными,
да жмётся к каменной груди рыбёшка шустрая.
Скрывает тайны тишина и тень закатная,
на небе – звёздная тесьма блестит дукатами.
Как эхо, птица прокричит вдали отчаянно,
и лишь Луна не спит в ночи, как мать печальная...

ОЛЕГ ДУХОВНЫЙ

В ВОРОНКЕ Ю-ТУБА

ДОЛЬЧЕ ВИТА

Ну, что ещё нужно –
кофе, море, перистые облака,
девы вокруг щебечут –
и пусть где-то маячит драма, но пока –
вот она, пахлава со шербетом!
И ничего не болит –
тьфу, тьфу, тьфу! –
и стих слагается сам собой...
Неужели для этого мама в тифу
лежала? Впору уйти в запой.
Отец рыл для неё землянку,
устроил что-то вроде vip-лазарета.
Доктор потом изумлялся,
что она выжила.
Благодарю за это.
Хорошо ни о чём не думать,
полагая, что мир сей создан
для этой минутной, увы, минуты.
Что я маме дарил? Духи? Минмозы?
Не помню. Вернее, смутно.
Цеди теперь свой –
ну как без него! –
мохито,
расставляя слова в обречённом судьбой порядке.
Море сияет, как шкатулка из малахита,
но закрою глаза –
и с прошлым играю в прятки.

АЙЛАНТ

Айлант,
или как называли его «вонючка»,
пахнет детством,
беспечностью,
летним кинотеатром,
когда ты не был ещё навьючен
ни прошлым, ни будущим,



а был просто кентавром,
ибо бегал и бегал
с утра до глубокой ночи,
крича, что кина не будет,
заболел киношник,
играя в квача, в звонкий – на вылет –
штандер,
под голос «Олег, домой!»,
как всегда нежданный.
Ах, этот запах пряный,
почти забытый,
колониальный прямо,
и от него знобит вот.
Затянись сигаретой,
глотай этот дым, как выхлоп –
ах, Итаки мои с Сорренто! –
и вали на выход!

АНТРАША

Стою возле школы, взираю снизу
на окна третьего этажа,
вспоминая, как по карнизу
перебирался, выделявая антраша,
из окна дежурки, где нас закрыли,
в окно соседнее, где спортзал.
Может, действительно были крылья
или пропеллер, да я не знал?
Притяженье земное, сменив небесное,
осторожным делает каждый шаг,
и ты бережешь себя зачем-то и пестуешь,
вспоминая безумные антраша –
затаив дыханье, вдоль этой стенки,
без сомненья тени скольжу к окну,
а внизу чувак, замеревши с «Кентом»,
всё стоит и шмалит за одной одну.

ПОМИМО

Листва, собаки, голуби, дети,
но всё это как бы меня помимо –
так река распадается в своей дельте
на рукава,
будто и не было её в помине,
а ведь текла, полноводная,
в своём русле,
не зная зачем, куда, откуда,
и меня не печалило,
что я не в курсе,
вон, стою, смеюсь,
в углу рта окурок,



и толпа студиозусов корчит рожи,
не ведая, что всех ждёт цунами,
впрочем, всё это байки пустопорожние,
такое случалось не только с нами,
но река течёт,
раз ты видишь бакен,
времена проходят и те, и эти,
и листва, и голуби, и собаки,
и прощаясь, видимо,
машут дети.

ГАДЖЕТОМАНИЯ

Смотрю старые фотки,
вот здесь мы с тобой целовались,
волны, как на офорте,
перекатываются в целлофане,
а сейчас включу видео –
я здесь, словно пацан простодушный,
ничего, кроме свитера,
смеюсь, не хватает пастушек
в этой идиллии вчерашней
или поза, короче, в жизни другой,
где заблудился, как в чаще,
и женщина машет рукой –
то ли в приветствии салютуя,
но скорее – прощаясь,
погружаясь в волны Ю-Туба,
в воронке его вращаясь.

Прошла любовь, завяли помидоры,
ботинки врозь и нам не по пути –
но этот день, но этот свет медовый
мне говорят, что ангел во плоти
кружит, как лист,
витает где-то рядом,
ещё не бабочка, но кокон шелкопряда,
и букву эр ещё не говорит –
но что там синим пламенем горит? –
держи меня, соломинка, держись,
ты чувствуешь, как вытекает жизнь
из недр моих в твои резервуары?
Гуд бай, май лав,
одни оревуары
приветствуют на финишном отрезке.
Всё принимаю, но зачем так резко,
без эживоков, вытолкнув зашей,
порвалась нить –
так ничтожкой зашей



и начинай любить себя по-новой:
тычинка, пестик, клеточка генома –
скажи, кого теперь боготворить? –
ступай на ощупь –
сфера вакуоли,
и хаос жизни, волны сладкой боли,
и вздох последний, чтоб благодарить!

АНДРИЙ

Памяти Андрея Антолюка

Отпели с вечной памятью, Андрей!
Теперь сыграют Армстронг и Колтрейн,
и напоследок трио бандуристов.
Сик транзит, дорогой,
мы все туристы
по улице, ведущей в небеса.
Картина маслом.
Сколько написал
ты этих вёсен с облаком апрельским!
Трамвай грохочет, унося по рельсам
былую жизнь, где был источник света,
что нам сиял на кухне коммунальной,
чтобы теперь над рюмкой поминальной
застыть неопалмой купиной –
теперь ты там, где свет совсем иной!
Какая там, скажи,
структура спектра?
Художник в этом мире, как инспектор,
жизнь поверяет красками на вшивость.
Как будто многорукий Шива
все кисточки взял сразу, как дитя!
Мы так похожи на слепых котят –
всё тычемся и кормимся с руки,
чтобы прийти на вечные круги,
на карусели красок,
детских мрий,
с едва заметной надписью «Андрій».

ПРОЩАНИЕ С РОЖДЕСТВОМ

О Рождестве всего-то пару главок
написано Матфеем и Лукой –
так, мимоходом, вскользь и не о главном,
но почему-то трогает уход,
вернее, бегство тайное в Египет –
узлы, баулы, связок разных кишы –
так и мои съезжали в январе,
и я стоял, замотан, во дворе,



кружилась ночь
 снежинками от ёлки,
 запотевали окна, и подтёки
 скользили по стеклу грузовика.
 Прошли секунды, годы и века,
 в глаза летит небесная парша,
 а мы всё едем, едем,
 завязаем,
 и не понять, фонарь горит, звезда ли
 над нашей жизнью,
 что уже прошла.

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Стою, вещаю, но я здесь временно:
 «Память – это форма
 существования времени».
 Девушка спрашивает (настоятельно):
 «А настоящее?».
 «Настоящее – это прошлое,
 которое ещё не осмыслено».
 Девушка (удивлённо): «В каком смысле?».
 «А смысла, моя дорогая, нет,
 и в этом, пожалуй, и есть секрет
 жизни». – «А стихи?»
 «Как сказал один чеэзэ,
 стихи – как квитанция или чек
 о недаром прожитой жизни».
 Девушка (в сторону): «Какой-то шизик!».
 Парень (буравя взглядом стальным):
 «А как быть всем остальным,
 которые стихов не пишут?».
 «Мы все, полагаю, участники пиршеств,
 где избранных столько же, сколько и званых».
 Голос (простуженно, как из ванны):
 «Хочу спросить вас, ну, как читатель,
 про цели, что были и будут впредь?».
 «Про цели отвечу одной цитатой:
 я хотел бы воскреснуть –
 а потом умереть».

ЮЛИЯ ШОКОЛ

ПОВОД СОБИРАТЬ ВЕЩИ

ПОВОД СОБИРАТЬ ВЕЩИ

говорили-балакали, а слез – точно кот заплакал:
«nihil lacrima...» и так далее всё по списку.
осень красит листву, словно ногти, оранжевым лаком,
только в память ныряешь резко, как в воду с пирса
колокольным летом /лазурь и мёд двадцать пятым кадром –
подсознание их хранит, что зеницу ока/
воспоминания растут цветами в огромных кадках,
не польёшь пару раз – расстроено станешь охать.
так и будут стоять их скелеты на подоконнике,
закрывая прекрасный вид на дорогу в вечность.
первое бессмертие испечётся, конечно, комом.
только это не повод уже собирать вещи.

НЕ ПРИЕЗЖАЙ

не приезжай, здесь слепоглухонемые ночи,
свет полуправа не мощнее стоваттных лампочек.
с каждым днем разговоры делаются короче,
словно крики ласточек.

не приезжай, здесь наштигована тьма взрывчаткой,
как рождественский гусь с зашитым внутри яблоком.
ненаписанное становится непечатным,
лица людей – дряблые.

не приезжай, здесь у памяти свои правила,
и внутри неё пустоты необозримые,
я прошу /слишком долго она меня правила/
просто заведи меня.

заведи туда, где ночи поют и шепчутся
и где отогнать их можно любым фонариком.
эта тьма обглодала у лампочки часть лица.
нас – всего лишь ранила.



МЕДЕЯ

мёдом сочится имя твоё, медея.
сонный ясон – и горькое он затеял.
станешь змеёй сама, раз змею пригрела
в сладкой сдобе тела.

жжётся крапивой имя твоё... в колхиде
скорбь такова стоит, что и лиц не видно.
в сердце любовь засела драконьим зубом –
больше не забудешь.

в каждой жене, которую предавали,
всё замолкает, кроме холодной стали.
очи закроешь, только внутри горгона
объявляет гонку.

кровью сочится имя твоё, медея.
кто бы сказал, ты женщина или демон?
– больно тебе, ясон? ну скажи «довольно»!
мне ведь тоже больно...

ЯБЛОЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

переливается из пустого в порожнее,
в будущее перемальвается прошлое –
никому не нужное, вовсе не прошенное,
словно колос ржаной, скошенное –
ношенный-переносенный
секонд-хенд.

где взять силы для этой ноши нам,
послушай, а?
чтобы пить чай, по-хомячьи догрызать сушки
и не решать проблемы большие, насущные,
в наших радостях и печалях пасущиеся.
ты кому-то берег/часть суши, но
на веревке бельевой сушится
континент.

перед смертью ньютонову яблоку видится
целая жизнь: как срывает легко бесс-ты-дница
и как бабушка лишает его солидности –
тройки-костюма из тонкой шкурки.
завидная
дышит шарлотка: как-то свидимся!
смерти нет.



А СЕЙЧАС ВЫЛЕТИТ ПТИЧКА

у мамы внутри поселилась большая птица,
 чтоб выклевать маму по зернышкам, по крупинцам.
 ей мама – кормушка.
 я плакала, пощади же!
 ведь зёрна в груди моей и вкусней, и ближе.

к весне мама стала, как стебель бамбука, полой,
 ходила, уже не касаясь ни стен, ни пола.
 на каждое наше «люблю» отвечало эхо,
 а после собрало вещи да и уехало.

а к лету... давайте не будем сейчас о лете.
 к груди прижималась – и слышала птичий клетот.
 щекой ощущала, как воздух проходит мимо,
 так необратимо, о боже, необратимо!

когда на кровати стал виден лишь контур тела,
 бог камерой щёлкнул –
 и птичка
 к нему
 взлетела.

НЕСОГЛАСНЫЕ

лбл
 выпадают гласные
 а согласные – остаются
 несогласные молча в сторонке курят
 оттого я безгласная и безглазая в строю це-
 лую вечность
 словно камера-обскура
 отражаю перевёрнутое нечто
 и кузнечик
 света бьётся в чёрном ящике
 прости мне
 эту вечность
 кто поставил небо на автоответчик?
 самое сложное кажется простым
 и
 стылым
 осень простыла пьёт облениховый чай солнца
 что нам гласные раз живём мы негласно
 чтоб не сглазили
 лёгок словно птичье пёрышко сон це-
 пеллина
 если спросят –
 не признавайся



МУЗЫКА

всяк входящий сюда лишь надежду оставь,
 а всё прочее
 выбрось,
 и
 безголосая флейта раскрыла уста,
 и чувствительней вибрирует
 струны скрипки.
 мой мальчик,
 когда бы ты знал,
 как рождается музыка!
 и увидел, как песня открыла глаза,
 просто песня открыла слепые глаза...
 о
 этот гордиев узел
 языка развязать нам с тобой не дано.
 до-ре-ми же меня, допой,
 чтобы мир не окончился прямо на до,
 чтоб вернуться с тобой
 домой.

ДЕРЕВЬЯ

деревья скрипят старушечьими голосами,
 деревья понять можно – сегодня у них саммит.
 причина – резкое падение курса листьев.
 всего-то ноябрь.
 если выживешь – помолись им.

пространство молчит – мы неправильно переводим
 с тиши на русский.
 у вселенной отходят воды,
 рождается солнце – вперед головой, и вечно
 деревья под ним продолжают своё вече.

забрать бы всё это – и горькое, и больное:
 по парам, по звукам, не уподобляясь ною.
 уже не хватает широт и долгот души мне.
 мы маленькие...
 хоть и думаем, что большие.

LIGHTSHOT

выходишь в свет – и свет выходит в люди,
 где саломея голову на блюде
 несёт – твою, мою? – не разглядеть, и
 в пыли, как воробьи, гуляют дети,
 в одну слепую искренность одеты.

хоть чёт, хоть нечет – всё равно не любит
 тебя никто – краплёные ромашки
 судьба подсунет, о моя голуба.
 бывает, в молоко – и то промажешь.



глаза закроешь, только веки помнят,
как свет выходит за границы комнат.
всё помнят веки – на века вперёд, но
диктует память строго очердность,
уже не зная, кто откуда родом...

впадают вещи то в маразм, то в кому,
впадают люди, что гораздо хуже,
в других людей – и жизнь печётся комом,
и свет внутри – горяч и отутюжен.

ЗВЁЗДОЧКА

отпускаю легко – никогда не держала, но
вечность оптом торгует часами лежалыми,
их никто никогда не берёт.
перед новыми годами, днями ли судными,
закупаясь людьми, мишурой и посудой,
потихоньку волхвует народ.

раньше было иначе, все эти иначе
незаметны почти и едва обозначены,
словно швы, на изнанке души.
снег уже оторвался от неба плаценты, и
нынче жирность его – двадцати двух процентная –
ах сметанность сугробов больших!
увезут в тридевятое царство на саночках...
тишина, будто лужа, льдом схвачена – за ночь-то
звук внутри замерзает. и вот
открываю глаза: ни метели, ни вечности,
все, что спрошено было – давно отвечено.
только звёздочка в небе плывёт.

РОМАН КАЗИМИРСКИЙ

ЖИВЕЕ ЖИВЫХ

МАЛЕНЬКИЙ МУК

Объясняешь себя, словно ты – идиома какая-то.
Сколько доводов, мама родная, сколько причин!
И спасали тебя, как спасали рядового Райана,
и убивали – то исподтишка, а то и один на один.

То ты жуткий, как антропогенная рептилия,
то няшный, как человек-паук.
Но это внутри. Снаружи ты офисное бессилие.
Поразительно маленький Мук.

ЖИВЕЕ ЖИВЫХ

Я иду по проводу, зелёному, как изумрудный город.
Я ношу очки с усатыми улыбками.
В глаза смеются светофоры, старики-поребрики
подмигивают хитро из-под ног,
они живее все живых.

Я вижу на проводе, зелёном, словно изумрудный город,
я ношу ботинки на одну и ту же ногу.
На моих носках наскальные рисунки, оттиски
проспавших воскресение богов –
они живее всех живых.

Я грызу зелёный провод изумрудными зубами,
искры освещают дровосеков, львов, страшил и иже с ними,
мне ворона намекает на другое место,
где потерянное время возвращается,
живее всех живых.

ТОНКАЯ ЛИНИЯ

Могильщик вгрызается в землю настырно,
как нищий, стащивший с прилавка тушёнку
в попытке найти в ней таблетку от смерти.
А ты наблюдаешь. Ведь ты – наблюдатель.



Такая работа, ничто не попишешь.
Удобных позиций не так уж и много,
раз занял такую – сиди, не брыкайся.
Надежда на то, что найдётся ответственный,
непостижима и непререкаема,
как надоевший домашний аквариум
с грязной водой и голодными рыбами.
Сток закавычен привычными досками,
в каждой имеется гвоздь милосердия,
метящий в лоб, но лишаящий зрения
то ли по глупости, то ли по слепости.
Впрочем, неважно. Имеет значение
лишь одинокая тонкая линия,
что разделяет на «будет» и «может быть»
всё, что имеем в остатке от жизни.

КИРПИЧНЫЙ СОК

Заглянул в себя, а там глаза
смотрят на меня с немым вопросом.
Мол, какого чёрта – и вообще.
Вышел из себя, и всё, как прежде,
на местах, по полочкам, в размер,
как у Менделеева в таблице.
Может быть, внутри я так широк,
так велик и так неописуем,
что во мне есть место для двоих,
для троих – и даже многих сотен.
Или всё как раз наоборот:
я так тесен, что не умечаю
самого себя – не то, что тех,
кто хотел бы поселиться рядом.
Выглянул в окно, а там окно,
из которого тарашит стекла
человек.
Его кирпичный сок
красит трещины моих ладоней.

ЗАВТРА ВЧЕРА

Последний день настал – пиши пропало.
Наставил нам рога, пришил нам хвост.
Теперь что в цирк, что к Богу – в полный рост,
без логики конца,
без истины начала.

За камнем трёх сторон детектор веры
шмонает каждого, кто не свистел с горы,
не бил перчаткой и не звал к барьеру
поэтов преждевременной поры.



А завтра – новый день и свежий ракурс:
 всё, как вчера, но с чистого листа.
 Бумага стерпит кривизну моста
 из края чёрствых лиц
 в край бутафорских лакомств.

Ничем не пахнувший пейзаж распахивает плащ,
 как тот мужик, что ловит девок в тёмной подворотне.
 Его исподнее – то смех, то плач, то равнодушие, то злоба.
 И если б знать, что под обивкой гроба
 есть что-то кроме дерева, то гроб
 сойдёт за новенький натёртый воском плот,
 в котором на прикуриватель глаз швейцарская гарантия.
 Послушайте, ведь эта живопись гвоздями по стеклу
 объединяет тошноту с мучительной истомой,
 чарующие дали – с лапой обезьяны,
 старательно малюющей портрет компостной ямы
 кого-то для, чего-то ради.
 Кареты нет. И негде взять.
 И нет того, кого хотелось бы ограбить.

БЕЗ ИЗЪЯНА

Слышишь, как кипит, но упрямо идёшь вперед:
 знакомый угол раскрывает свои объята, что делать.
 В твоей жирной чёрной земле твой внутренний крот
 роет лабиринты ходов и прячет в них всякую мелочь.
 Ты выползаешь из своих банкотных мятых стен,
 вдыхаешь щедро слобренный мылом воздух –
 и прощаешь себе бесполезный каждый день,
 в котором есть ты – и есть твои красивые ноздри.
 В них смешные козявки и сочные поля соплей,
 от которых, бывает, захватывает то одно, то другое:
 остается клеить разорванный запах и нюхать клей –
 и охранять священный тубик, пока его не закроют.
 А потом ты смущённо бормочешь, что вообще ни-ни,
 и гладишь утюгом сморщенное мужское начало,
 которое свисает с края твоей простыни
 сталактитом воспалённого сала.

ДВОЕ

Идущая молча мимо сорвавших глотки
 в драных колготках самого банального цвета –
 где ты, ушедшая прочь от наследного трона,
 чёрная ворона в стае ворон белых?



Прожевавшая разницу между словом и делом,
выбиваешь фениксом застрявший в фениксе пепел,
чтобы вывел себя из себя – эй – прошёл гладко
и кудахчет, что тебя из твоих же лекал слепит.

Извлекаю тебя на свет, как Эйлер занозы
из убийственно прозаической извлекал константы –
у твоих секундантов закончилось время вопросов.
Заряжай и лети, я – следом, но немного позже.

Изловчишься оплавить себя в тчк –
и летишь себе оловом, голым теплом,
истепляясь в одну из чужих атмосфер.
А летящая рядом коснётся тебя –
и согреется впрок, и отдаст, что взяла,
и «прости, но вчера я стекла со стекла».
Коло-ко коло-ло коло-ко коло-ла
разнесут на весь мир до затычек в ушах,
до огня, от которого стынет Земля.
Посмотри: я принёс – эта птица твоя.
Посмотри: эта птица – живая.

КОЛЕСНИЦА

На земной простыне – перекрёстки рогатых путей,
по которым из пункта в пунктир держат путь пассажиры.
Пусть из глины конечная цель. Чем ничтожней, тем злей
бестолковая тяга к конечной трамвайного мира.

Мы с тобой – на ходу, в два прыжка и четыре руки,
зацепившись зубами за ветхий кафтан контроллёра,
пополняем ряды паразитов электродути.

И на взятой измором, хромящей стуком колёс
колеснице сидящих в наклон мы сидим в полный рост.

А на крыше – светло. И вокруг всё как будто светлей.
Разливаем свою слепоту, глухотой разбавляя.
Посмотри: мимо нас, допивающих выворот дней,
пролетает дворняга в трёхлапом костюме роляя.

КАТЕРИНА ИВЧУК

РЯДОМ С НИМ, РЯДОМ С НИМ

Ты,
уставший
от мира,
от игр
его,
сладко
спишь, —
зацепилась
в сетях
морская
звезда.

Ты сопишь
и не
слышишь,
— тает
снег,

Капли
танго
танцуют,
сжимаясь
от страсти,

разбиваясь
о железное
тело
окна.

Ты любил
заниматься
любовью
в темноте.
Я звучала
под тобой,
как скрипка, —



О, дивная
музыка,
не помнящая
начала,
не знающая
конца.

Тайна
ключа
и входной
двери.
Мягкость
и тепло
отца.

Раньше
мне
казалось,
что дом, —
то
странное
место,
где —
стены,
пыль,
доски
и
пауки
под кровлей.

Теперь
у меня
есть —
пыль,
стены,
доски,
пауки
и
пляшущая
свеча.

Не называй
всё,
что ты
любишь, —
любовью.
Тогда я
пела,
играла,
Но я
не помню.



Я до
сих
пор
не могу
вспомнить
твоего
лица.

Для Музы
ужин на столе
готов.

Сидишь, и
Отгоняешь
комаров,
Чтоб не ушла.

А за окном –
бесконечная
синь.
А за окном –
беспроглядная
мгла.

И только –
крошечка
Луна.

В листьях
акаций,
как в сетке
висит,
её золотой
апельсин.

Зачем ты
Ночами
встаешь,
и будишь
бродячих
собак?

Те лаем
протяжным
пугают
потом
усталых
и пьяных
гуляк,
которые
также,



как я,
заблудилась
во тьме.

Которые
также,
как я,
в этом
дурмане
ночном
не могут
отыскать
дом.

На небе –
рябь
из седых
облаков.
Вот – мой
единственный
приют.
Вот – мой
единственный
альков.

Наши
шансы
на этой
планетке
ничтожно
малы.
Что уж
там –
смехотворны.

Угощайся,
смелей.

Вот – блины,
торт,
бананы,
салат
с сельдереем.

Садись,
я мятой
душистой
тебя
напою,
Эвтерпа
худая,
чтоб
помогла
ты

допеть
мне эту
больную
и странную
песнь.

Ещё
весели, –
веселящая
грустный
мой
дом.

Не доела,
уходишь?
Как же?
Ещё.
Сядь
и послушай.
Только сейчас
для тебя
говорю.

Ведь
сердце
притихнет,
и забывает
свой
ритм
рядом
с ним,

рядом
с ним,

рядом
с ним.

Речка
поняла
это уже
тогда.

Видно
знала, что
мне –
суждено
родиться.
Я спала
и не
видела,
раскачиваясь
в облаках,



Когда ты
ступнями
коснулась
и оттолкнулась
от её
холодного
днища.

Мама
проснулась,
подошла
со
светильником,
молила –
не тронь,

В тот
момент,
как тебя
проглотила –
голодная,
тёмная
Обь.

Ей река
прошипела
– МОЯ.

Завернула
в зелёный
подол
и понесла
за собой.

Вот почему
тебе
буря мерещилась
и беда,
когда
прутиком, –
я укрощала
и била
по спинкам
барашков –
тёплые
волны
Днепра.

Гладила
их
по
нежной,
пушистой
холке,
и не
боялась.

Верила
сказкам,
что
смерть –
живёт
даже
на
конце
иголки.

Водоворот
милостив.
Он не
заберёт
тебя у
меня.

Вечность
в срок
превращает
всё –
в молчание.

Помнишь,
как
я
ныряла
и
беспокоила
сонных,
пятнистых
бычков, –

А ты –
задерживала
дыхание.

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ

в переводах Елизаветы Радванской на украинский язык

ОРИГАМІ

Мою тишу поруш. Я кохаю без тямі.
Звуком флейти поклич, я почую крізь межі.
Звук, що кожного вечора ставить питання
Мені дика самотність: «Кому ти належиш?»

Відповім. Уві сні навіть відповідь знаю.
Я завжди був із тих, кому слів не бракує.
Це – дорослі й старі у дитинство пірнають,
Це – дорослими думами діти міркують.

Вперті рукостискання комети, кохана,
Знов спливуть крізь твої білосніжні долоні.
Я не знаю, коли, як раніше, над нами
І світанки, і сутінки стануть – бездонні.

Тільки Хаос віднині на кожній іконі.
В повний зріст... Розумій що шаленість, як знеспі! –
Що мій іній вже визрів у моря бутоні,
І подвійну планету твій космос приймає.

І ходити по водам змогло б моє тіло,
Якщо це не моря, а затоки й мілини.
Та душа Заповіт захищати схотіла,
І одразу підсудний назвався: людина...

Ми ангіною визнати можемо дивне,
І, розплавлені, із горизонтом зростатись,
Та, змінивши себе, ми б з'єднались в єдине...
Тільки іншими нам – вже ніколи не стати...

Ми не змінимось – все нас в собі влаштувало...
Уверттори іроній – нажаль, не прочани.
Зрозуміти не можу, чому я так вдало
Мілину розставання назвав океаном?



Мою темряву вбій, посміхнувшись миттєво! –
 Бо я інших не хочу від тебе дарунків!
 Тож поклич – приголомшливо, швидко, чуттєво.
 Чи – нечутно поклич... несміливим цілунком...

Як завгодно! Сигнал твій із простору й часу
 Я впізнаю, і зміст зрозумію одразу!..

Поїдемо з тобою на косу?..
 В минулому, в билинному, – як-небудь...
 Бо не буває так, щоб вічно небо
 Лиш на Страшний запрошувало Суд,
 Щоб ліс був повний стріляних косуль...
 Я помолоюсь із муфтїєм, чи з ребе,
 Машину часу дочекаюсь, якщо треба...
 Бо в ній кризь смерть я ніжність пронесу...

А потім буде – кедра хризоліт,
 Та хризопаз долину, що свій вік ховає...
 Там нас бездонне море сповиває,
 І бачить сни, яких не знав Евклід...
 Які іще не стиглі, не палкі...
 Я навіть з карантину виринаю,
 Себе, як лицар перед бомбами, міняю,
 Щоб бачили дельфінів кораблі...

Поїдемо з тобою на косу?..
 Яке б ім'я тобі не дали в цім безладді,
 І скільки років не було б тобі насправді,
 Давай до лісу нас я відвезу,
 Де аїсти давно тебе пасуть,
 Де гай з беріз та дача... Я не можу
 Інакше... Вибачай, я дуже прошу:
 Пробач мені – це небо, що косу...

КОРАБЕЛЬНА КОЛИСКОВА

Такий місяць тут є! Завірюха така,
 Що стає камертоном любові – навіки!
 В наші дзвони хай б'є, божевільна, п'янка,
 Загостривши себе лезом ніжної втіхи.
 Тут велична орда снігопаду вночі,
 Набряк білого та невгамовного снігу,
 І в цей час слухай гру німоти – і мовчи,
 Поки атоми космосу створюють кригу.
 Завірюха така, що забув в небуття
 Видихати дзеркальну мелодію долі,
 Та заслухався, як промовчало життя,
 Не почув невід'ємної Божої волі!



Тут така коліскова, тут тиша така,
Лиш твоя... І не зможемо потім згадати,
Що тримає нас в трюмі Господня рука...
Поки Світ, що помер, знову йде помирати.

ГАВАНЬ

Тиху гавань ніхто на поруки не візьме,
Сизе море не стануть у нас забирати...
Бо відмічено місце розлуки – і, звісно,
Час настав труп історії вже поховати.

Тут ніколи ніхто закохатись не зможе –
Зачаровано нами назавжди це місце.
Тиха гавань – чужа для усіх, хто є схожим
На закоханих нас, – із чавунного тіста,

Зі серцевих шумів, з агонічного болю...
Коли прийдеш сюди – завтра – місяць зів'яне,
Коли прийду сюди – наші зносяться долі...
Ми розійдемось знов, як розірвані рани –

Континентів безодні у просторах часу...
Але позов ніхто не пред'явить. У вічі
Один одному дивлячись, взнали одразу:
Наші душі змінили прописку – навічно.

Тиха гавань із вітром з'єдналась так тісно,
Немов руки циклопів застигли в пасатах...
І цей вітер, назавжди у гавані стислий,
Вже не зможе собою весь світ колісати.

Приворожена тиха, прихована гавань –
Лиш примарними, вічними хвилями й нами...
Бо достатньо для неї і нашої Наві,
Бо вона наковталася й наших цунамі...

ЗОРНЯНИЙ ГОДИННИК (3, 14)

Донька числа л, сестра березня,
Несправжнє обличчя Сансари,
Ти – символ розлучної ересі,
В душі твоїй – води і хмари.

З усіх дітей березня раннього,
Із риб, що харчуються страхом
На тризні печалі безжальної,
Ти – найнавіженіша птаха...

Де звіра безсмертя сховала ти?
Здаються віки тобі – миттю...
Буттям не схотіла ти марити,
Й залишилась Роком в століттях.



В сузір'я дванадцять хочу я...
 Це ти у небес акварелі
 Комету Галлею наврочила?
 Або ти і є – ця Галлея?

Даруєш тріумф чи прокльон – мені?
 Як бути, коли нас вертиго
 З'єднає, сплете з незнайомими?
 Пробач, нерозгадана книга! –

У серцебиттях я заплутався,
 Твої прочитав – надто пізно,
 До Світла не встиг повернутися,
 Мені поміж зорями тісно,

Став тінню... Прийшов час мій зоряний –
 Не схожий на сонячну вічність,
 Страшний, як безодня між долями, –
 Він пербалом глянув у вічі.

Донька числа л розуміється
 У створенні тіл галактичних...
 Скажи ж, де мій погляд зустрінеться
 З твоїм, незабутим, магічним?

А поки я буду, як пам'ятник, –
 Стояти й дивитись на вирій,
 Де ми – розкачали наш маятник,
 Створивши в собі – диких звірів...

Чекати з занять або з іспитів,
 Тебе як раніше – у місці,
 Де ми стали майже – антихристи,
 Де ми розірвали намисто...

І поки все світле у спогадах
 Не жертвую я заратустрі,
 Я буду стояти, немов би ти
 Усе ж таки прийдеш на зустріч,

Бо є почуття неприступними...
 Я буду тут вічно стояти,
 І в цьому житті, і в наступному.
 Чеканням ламаючи ґрати.

СВІТЛИНА

Вночі не плач, і знай, що в кам'яній пустелі,
 Де кожен день без тебе – невимовний біль,
 Де віли плавають, аскет заради тебе
 Обіт життя зберіг, повіривши тобі.
 І хай альков розпусти охолоне, скелі
 Впадуть, він пригадає той лише обіт,
 Цілунок, погляд твій – зі спени... може – з неба?..
 Твоя рука – в моїй, моя душа – в журбі...



Стерильний Крим від поцілунку збожеволів,
В його очах – агонія та плями болю...

Вночі не плач, і пам'ятай цей сполох світла,
Тримай його, як кадри дивного кіно,
І зрозумієш, Хто спілітає наші долі,
Що Боже Диво – бавиться з людьми...
Багато тих, хто пам'ятає своє Літо,
І так, як ми, його кохає все одно –
Той поцілунок, сцену, краплю болю,
Твій погляд, руку... Я і ти – це ми...

Повітряний міраж. І чийсь безглуздий гомін.
У забутті – відчую я твої долоні.

Не плач! Нехай спіралі див спілітають знову,
Нехай Усе – було вже, і було Життя...
Не забувай, з ким ти спіймала сполох світла –
Він досі ще не дописав кінець,
І темрява не зможе вбити слово,
Яким опише чисте почуття,
Коли рука... і поцілунок... й вітер...
Крізь залу – лише стукіт двох сердець...

І пам'ять потрапляє у концтабір часу.
Фотони віри – у труні, де світло гасне...

Горіти в пеклі – за усі думки,
За всі знання і нашу щирість,
Відсутність віри в Божу милість,
За заборону на гріхи,
З тобою, моя люба, треба нам...
Та бачить Бог – а Він нас бачить,
Що лиш образить, не пробачив,
Для нас створивши в пеклі храм.

Ну що ж, все пеклом закінчилось,
Хоч кожна мить – як атом сну,
Чекає вакуум на милість...
І живуть у цю весну

Всі сни твої. Ти – зміст Творіння,
Ти – смієць грішної душі.
На ключ закрій все розуміння,
Замком коморним від чужих!



Напалм не вб'є істоту темну,
Не потонути нашим снам...
Хоча тепер душа – даремна,
Що я твоє минуле – знай!

Хоч сплять авгури, хоч без тебе
Весь світ – це просто ГМО,
Я більше не повірю Небу,
Бо зрада – на мені – клеймом...

Нехай без тебе – тут я вдома,
Мовчи, ховайся, бережи
Щасливі наших душ фантоми...
Не плач. В тобі живу, як жив.

В цій кел'ї, чи в таверні, може...
Побачив я: в одній з кают
Є тїнь, що так на тебе схожа,
Що я засну востаннє тут.

Сансара каравай готує...
Біль осліплює, гасне вірш...
Нехай помру, та занотую:
Що я – твоє... минуле... лиш...

Без міри я тебе кохаю!
Так люблять діти перший сніг... –
Це Символ Віри... Символ раю –
Не треба іншого мені.

ВАЛЕРИЙ БАЙДИН

ДОРОГА В ГОРЫ

кинодействие в нескольких разговорах и описаниях

Конец 1970-х годов, август, лагерь питерских хиппи на абхазском берегу Чёрного моря.

Стар – олдовый человек и художник 45-ти лет

Шакти – его жена, университетский преподаватель, молодая поэтесса 33-х лет

Шек – инженер с даром рок-музыканта 39-ти лет

Лариса – его жена, инженер 32-х лет

Мини – красивая студентка 19-ти лет

Шуза – некрасивая студентка 19-ти лет

Павел, он же **Вэл** – успешный в летнее странствие московский студент-филолог и бывший хиппи неполных 22-х лет.

Вместо пролога

Море рокотало и пенилось в двух шагах, ветер нёс в лицо его запахи и солёную пыль. Вэл шёл, обсыхая на солнце от после купания, любуясь заросшими зелёными склонами и напевая дорожную песню – переделанное и положенное на собственный мотив известное стихотворение:

*...мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.*

Он перепрыгнул через промину на берегу и через несколько строк. Восстановил дыхание:

*За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды горят над ними,
и хрипло кричат им птицы:
что мир останется прежним,
мир останется вечным,
холодным и непостижимым,
зовущим и бесконечным.*

Глубже вдохнул и запел в полный голос, слушая, как голос теряется в пространстве и шуме волн:

*И, значит, есть много толка
от веры в себя и в Бога.
И, значит, нужны нам только
надежда, любовь и дорога...*

Чайки кружили над берегом и, устав от красоты, притворно стонали, взмывали в небо и опускались, будто рвались из земного мира в иной, запредельно-прекрасный и звали за собой. Увиденная издали речка оказалась скромным ручьём, в маленьком устье мерно вскипал и затихал прибор, плескалась пена. Ледяная вода обожгла гортань, растаяла на лице, ломотой прошла по пальцам. Вэл перешёл на другой берег, под ногами среди клочьев высохшей травы неожиданно проступила тропка. Она петляла между замшелых валунов, пропадала на гальке, вновь появлялась. Наконец, обходя завал рухнувших в море скал, пошла верхом у самого подножия берегового обрыва. Путаясь в колючем кустарнике, Вэл прибавил шаг, надеясь поскорее выйти на прибрежную дорогу и двинуться в горы, но внезапно почувствовал дым костра, остановился и в тот же миг сквозь остролистую глянцевою зелень услышал высокий, гневный девичий голосок:

– Противный! Пошёл отсюда! Ну! Искейпни!

Несколько мгновений он колебался, но любопытство пересилило. Вэл обогнул груды скалистых обломков и увидел две туристические палатки, а у костра девушку в шортах и тонкой блузке. Её длинные рыже-русые волосы охватывал витой красный ринг.

Разговор первый. Встреча с Мини

Тенистая, укромная лужайка под кривыми соснами в обрамлении густых мелколистных кустов. Посередине вьётся к небу дымок от костра, около него на кухонной клеёнке в беспорядке лежит посуда и еда, чуть дальше виднеется высокий округлый камень. Между палатками натянута верёвка, на которой колышется сильно выцветший синий флаг с надписью: «Hippyland».

Вэл (от неожиданности переходит на сленг – будто скачком возвращается в недавнее прошлое). Хай! Эксбюз ми...

Мини (вскрикивает, вскакивает и оторопело смотрит на него, переводя взгляд с лица на одежду и обратно). Вы кто?

Вэл (улыбаясь). Похоже, вы меня сходу прогнали. Сейчас искейпну.

Мини (вглядывается в незнакомца). Это я дога бездомного прогоняла. Он у нас еду ворует... Так ты из Питера? А где другие?

Вэл. Нет, я один. И из Москвы, сори.

Мини (обгорелой палкой помешивает золу, приходя в себя). Мы фрэндов наших ждём, я и подумала, что ты... Мы тут все из Питера.

Вэл. Значит, вы из системы? Файн.

Мини. Ну да... (С любопытством скользит по Вэлу искривлёнными серыми глазами и пробует улыбнуться). А как же ты узнал про наш кэмп?

Вэл. Никак. Я с моря. В горы иду. Случайно проходил рядом и вдруг услышал, что нужно искейпнуть. Удивился. И сделал всё наоборот. Прости, что немного напугал.

Мини. Хмм, прикольно. (Окончательно успокаивается, садится к костру, с улыбкой протягивает руку.) Я – Мини. А как тебя зовут?

Вэл. Мини? (Её ладонь доверчиво тает в руке, и Вэлу становится не по себе.) Приятно познакомиться, а я Вэл!

Мини (удивлённо шурится). Вэри вэл. А нмя?

Вэл (усмежается). Говорю же, Вэл. Меня так в системе звали.

Мини. М-м... Классный нэйм.

Вэл (скидывает сумарь на землю). Можно тут у вас слегка приземлиться? Это что за кэмп?

Мини (вскинув волосами). Конечно. Называется просто – «Хиппиленд». Здесь у нас всё просто. (Опять шикает и кидает головёшку в кусты, в листве кто-то срывается с места и шумно бросается прочь.) Достал совсем! Олды наши сюда уже четвёртый год приезжают, а я в первый раз. Тут полный кайф, сам видишь. Мы здесь уже дней десять...

Вэл (садится к тлеющему костру). А где же народ?

Мини. На море, конечно, такая жара. Скоро все придут чай пить. (В её руке незаметно оказывается сигарета). Не могу просечь – ты что, один в горы собрался?

Вэл (как можно равнодушнее). Один. А тебя оставили кэмп сторожить?

Мини. Йес. И ещё чай приготовить. Кстати... (Мини кокетливо шурится.) Ты умеешь костёр разводить? У меня никак не получается.

Вэл. Оф корс. (Иронично.) Веток сухих надо бы подбросить для начала.

Мини. А ещё раньше их нарубить. У меня с этими ветками всегда заморочка.

Вэл. О'кей.



Он поправляет хипповую повязку на голове, подходит к куче хвоста, наскоро наламывает его руками и бросает в костёр.

Мини (*удивлённо протягивает туристский топорик*). А топор... не нужен?

Вэл. Давай, с топором прощай. (*От её близости ему всё больше становится не по себе*). Нарублю вам хвоста на прощанье. Пригодится.

Собирая сухие ветки среди кустов, Вэл собирается с мыслями: «Красивая девчонка. Но из другой жизни. Из чужой... Уйти и тут же забыть её. Забыть всё, что уже позади. Дорога – это забвение. Пройти мимо в одно касание, остаться свободным – так он учил... Ладно, выт्यू кружку чаю – и в горы». Он с возвращается к костру из-за кустов, бросает на землю охапку сухих веток и слышит приближающиеся оживлённые голоса.

Мини (*кивает ему, как давнему знакомому*). Это наши камают.

Она шевелит палкой в пламени под закопчённым чайником, расправляет потёртую клеёнку, расставляет кружки. В этот момент женщина в купальнике с распущенными светлыми волосами и полотенцем на плече выходит из-за деревьев и удивлённо останавливается, переводя взгляд с Мини на Вэла с топором и охапку хвоста.

Шакти. Хай! Вы уже приехали? (*Помедлив, вопросительно*). А где же все питерцы?

Мини (*радостно выпаливает*). Нет, он один, из Москвы. Случайно на нас набрёл. Его зовут Вэл. Неплохо?

Шакти (*с ухмылкой заканчивает её фразу*). И сходу начал нам дрова рубить. Стар, разуй-ка плексиглазы! Из вэри...

Вэл (*перебивает и картинно склоняет голову*). Нет, просто Вэл.

Шакти (*оценивающе*). А... Ясно.

Лысеющий толстяк в промокшем потёртом халате останавливается и стреляет очками на Вэла.

Стар (*весело*). Наши девы и здесь кого-то захомутали. Ну, чудеса!

К костру подходят ещё трое.

Шакти (*обернувшись к остальным*). Знакомьтесь! Это Вэл, но вэри вэл. Из московских хиппов. Неим у него забавный. А как его Мини здесь нашла, непонятно.

Мини (*щебечет, как старшеклассница*). Он сам нашёлся.

Вэл (*неуверенно кивает всем сразу*). Привет... народу! Я сегодня в Сухуми приехал, добрался до моря. А теперь в горы иду. Набрёл случайно на ваш лагерь, ну и подумал по жаре передохнуть чуть-чуть. Если можно...

Шек (*кудрявый шатен с подпалинами солнечных ожогов по худому городскому телу усмехается и садится к огню*). Понятный чувак. Сразу решил сделать Мини хэлп.

Стар (*добродушно смеётся*). Передышка в пути, называется. Шакти, отбери топор у гостя! Мне за вас стыдно.

Шакти (*дружелюбно улыбаясь, подходит к Вэлу*). Так и надо. Где ты видел женщин с топором? Но теперь расслабься. Садись к костру!

Стар (*жмёт руку Вэлу*). Стар! А это Шакти, моя жена – бывшая Катя и даже Кэтти... (*Продолжает церемонию знакомства*). Это Шек и Лариса. Она не хочет, чтобы её звали Ари, так что кликухи у неё больше нет – просто Ларик.

Белотелый шатен приветствуют Вэл небрежным кивком, его кареглазая спутница – улыбкой издалека.

Стар. А это наша Шушу.

Невысокая девушка-крепыш хмуро сует для рукопожатия жесткую ладонь, бросает на Стара недовольный взгляд.

Шуза. Меня зовут Шуза, а не Шушу!

Мини (*обиженно тянет*). А я?



Стар. А ты с ним уже познакомилась, ххе... Ладно, отец! *(Жестом приглашает Вэла пододвинуться поближе.)* Чаю попьёшь с нами? Доставай крухан.

Вэл садится рядом со Старом, вынимает из сумки полиэтиленовый пакет и высыпает на клеёнку кусок сулугуни, четверть круглого грузинского хлеба и памятную плитку шоколада.

Голоса. Ого! Конкретный жест!

Шакти. На дорогу себе что-нибудь оставь.

Вэл. Ничего, куплю по пути.

Лариса. Тут в магазинах пусто.

Вэл. Понимаю, как и везде... Да я у людей куплю. Мне много не надо.

Стар *(иронично восклицает)*. Старичок, тут ты сразу в топ попал! *(Спихватывается.)* Прости, по привычке вырвалось.

Шек *(поправляет кожаный хайратник, пододвигается к Вэлу)*. Значит так, Вэл... Надо закончить процесс. Стар, как ты понял, оддовый хиппарь и рулит нашим кэмпом. В меру суров, но снисходителен. С заморочками, хотя по жизни прост. И добр, как Санта-Клаус. К тому же классный художник.

Шуза *(неожиданно)*. И страшный симпатяга.

Стар *(со смешком гладит лысину в венчике редяющих волос и щиплет сивую бородёнку)*. Не такой уж страшный, пока...

Шек *(демонстративно оглядывая Вэла)*. Прикид у тебя вполне трассовый. Нот бэд. Подожди, мы сейчас дрессы сменим. А ты пока сделай релакс и вообще, будь как все. О'кей?

Вэл кивает и смотрит в огонь, задумчиво потирая бороду.

Шакти. Икзэкт. За чаем покалякаем.

Она ныряет в палатку, за ней скрываются Лариса и Шуза, а мужчины забираются в соседнюю, размерами поменьше.

Мини *(с милой улыбкой)*. Вэл, помоги чайник с огня снять. Ты гриновый будешь? Другого не осталось.

Вэл. Мне даже вайтовый пить приходилось. Даже воду из ручья. И ничего.

Мини хмыкает и смотрит, как Вэл управляется с горячим чайником.

Шек *(его голос доносится из палатки)*. Кстати, старик, у тебя в бэге чай не заваялся случаем? А то мы с прошлого вечера вторники гоняем.

Вэл *(догадывается откуда голос)*. Нет, я без чая обхожусь, сори. А купить грузинского тут разве нельзя?

Голос *(кричит из женской палатки)*. Насмешил! Вокруг пусто, как во время войны. За любой едой в Сухуми мотаться надо.

Шек *(кричит из другой палатки)*. Здесь только рэд вайн есть, хоть упейся!

Стар *(вылезая к костру в презнем облезлом жалате и белой круглой шапочке на лысине)*. Именно. Ты «Ахалпени» местного разлива не пробовал? Кайфово пьётся. И стоит гроши.

Мини *(разливает чай, готовит бутерброды с сыром, режет на мелкие дольки растаявшую шоколадную массу, облизывает пальцы и весело кричит)*. Пли-из!

Она садится по-турецки у края клеёнки, все располагаются вокруг на земле, с охами и вздохами тянутся к еде.

Стар *(похаживает в сторону Вэла)*. Ну что, дорогой! Ты, кажется, попался. Сходу отсыпал нам отвального корма, мы про такой уже забыть успели. Теперь народ ждёт твоего расклада. Ты не очень спешишь?

Вэл *(замявшись)*. Я хотел бы сегодня до гор добраться, где-нибудь в ауле заночевать, а с утра двинуть дальше.

Шакти *(вопросительно смотрит на Стару)*. Ты можешь и у нас перенайтать. Если хочешь, конечно. А утром по прохладе в горы двинешь? А, Стар?

Стар *(поправляет очки и проводит ладонью по лысине)*. Иначе и быть не может, старичок. Скоро вечер. Ничего путного ты для ночлега уже не найдёшь. На сегодня мы тебя вписываем. В палатках, правда, мест нет и спать противно, если честно. Зато у костра полная свобода.

Вэл. Спасибо. Даже не знаю... *(Хмыкает и решается)*. Ну, пожалуй, до утра лучше притормозить... Я тут



недалеко, одно место у моря приметил. Там свобода совсем уж полная.

Лариса (*шурится на Вэла*). Но это для самых крутых. Ты не из таких, надеюсь?

Шек. Отдам тебе на ночь свой спальник, если хочешь.

Стар (*добавляет*). А я одеяло могу предложить.

Вэл. Ну, раз так... (*Обводит глазами всех, кроме Мини*). Мэни фэнкс.

Разговор второй. Рассказ Вэла (немая кинолента)

Солнце расплавленными каплями протекает сквозь листву. С моря долетают порывы ветра, оседают над костром, смешиваются с дымом и запахом перегретой зелени. Вдали, по незримому верхнему шоссе тянется тихий рёв автомобиля.

Стар (*усаживаясь поудобнее с кружкой в руках*). Тогда давай свой прогон! Народ слушает.

Вэл. (*Задумывается, отхлёбывает чай, мельком взглядывает на неторопливую игру морской лазури, и ему приходит мысль, что оказался он в этом лагере неслучайно*). Попробую. Не знаю, как получится...

Поначалу все незримо переговариваются, тянутся к чайнику и еде. Шек курит, лежа на спине, и смотрит в небо. Стар долго выхитит над кружкой, потом, выпрямляет спину и прислонившись к камню, каменеет в позе лотоса. Лариса и Шапти смотрят в костёр, накручивают на пальцы колечки волос, жуют травинки и слушают неотрывно, с явным сочувствием. Мини и Шуза перешёптываются, поглядывают на Вэла, покачивают головами под неведомую мелодию и, кажется, готовы в любой миг рассмеяться. Удивляясь своему бессилию, он волнуется и с трудом подыскивает слова. В памяти всплывают дымные, шумные московские сейшены, их встреча, уносящие в небо поцелуй, миг разрыва и синяя пропасть в её глазах. Грохот железнодорожных вагонов, прощёлки, развалины церкви, лица старух, голос бродячего монаха: «Вера – это дорога. Иди!». Вэл пытается рассказать о том, что так изменило его жизнь после знакомства с хиппи: о гибели знакомых, о любви, смешанной с мраком, отчаянии и поиске веры, о странствиях по России на электричках, товарняках, попутках, пешком, о глухих сёлах, ночном разговоре в церковной сторожке с бородачём, бросившем Москву, преподавание в университете и увлечение Лао-цзы, об исцелении души великим пространством и восторге, который выше любого кайфа...

Стар (*префыкает его, слегка хлопая по плечу*). Заходы у тебя крутые, старичок. Будь слегка проще. Мы тут, конечно, понемногу колдырим, но живём без дури. И вполне клёво получается. Почти как у тебя. (*Шурится в усмешке*). Так что дыши с нами ровно.

Вэл кивает, скрывая досаду: «Зря я так раскрылся. Наверняка от меня ждали обычного трассового расклада, с феньками и столичным стёбом – не больше. Но ради этого не стоило бы и рта раскрывать. Ладно, пусть. Рассказал кое-что, и хватит».

Вэл (*не отводя глаз от пригасшего костра*). Вот, в сущности, и весь прогон... Сейчас я в горы иду. Может, отыщу тут старцев. Много, о чём спросить их нужно. А дальше – как Бог даст.

Теперь он готов был со всеми распротиться и идти дальше. Кажется, тот, похожий на художника монах, вновь оказался рядом, смотрит мимо глаз, говорит в душу: «Чувства и мысли соедини с сердцем. Помни об истине, в которой жизнь. Доверься пути». В тот же миг Стар взрывается.

Стар (*с горячностью, переходящей в резкость*). Для начала растолкуй заморочку! Кликуха у тебя английская, джины штатские, косынка на голове какая-то гималайская, а ты нам про Россию и православие талдычишь?

Вэл (*с досадой*). Меня так в системе назвали, ну и осталось... А вообще меня зовут Павел.

Стар (*строго, тоном поучения*). Павел – будет честнее. Если ты христианин, должен от кликухи отказаться. Вон, как Лариса. Она недавно на православии страшно запала, даже крест носит. А ты под кого косишь? Ментов боишься что ли, Тарзан?

Вэл хватается за голую грудь и бледнеет: крестика на нём нет.

Вэл (*едва слышно*). Потерял.

Стар (*оглушительно хохочет*). Ларик, сколько раз я тебе говорил, что христианам нельзя верить! Лгут и себе, и другим. (*Он блещет очками на Вэла и восклицает с шутиливой горячностью*). Немедленно переходи в лоно индуизма! Постепенно станешь самим собой, и лгать будет не нужно.



Вэл (*пунцовый от смущения*). Ещё утром он был на мне. Не представляю... Ладно. (*Меняется в лице*). Спасибо за чай и гостеприимство. Мне пора!

Он резко встаёт, вскидывает сумку на плечо. Лариса, сидящая дальше всех, вскакивает и бросается ему навстречу.

Лариса. Не слушай его! Стар чудесный, но иногда пургу несёт. Он меня уже достал со своими комплексами – почему христианство, зачем? И так далее.

Стар (*сокрушённо вздыхает*). Опять! Сколько раз повторять, что у меня не комплексы, а вопросы. Это у вас и у эрипенсов разные комплексы и неврозы. К Востоку эти дела не относятся.

Лариса (*не отвечая, бёрёт Вэла за плечо*). Переночуешь у нас, а завтра пойдёшь. Не обижайся. Я так рада, ты замечательные вещи рассказывал. (*Быстро целует его в щёку*). А Стар приложил тебя, как бы сказать? Ради углублённого знакомства, что ли. Такой у него прихват жлобский есть. Задел ты его, видно.

Стар (*шитит*). Чупшь говоришь...

Шакти (*подходит и для убедительности тоже целует Вэла*). Твой прогон – целая хипповесть. Или хипповесть. И не только для юнгов. Это, во-первых. А во-вторых, в нашем кэмпе всех любят. У нас тут полная свобода и совести и убеждений. Оставайся, увидишь.

Вэл. Спасибо. (*Явно колеблется*). Я обиды не клею. Просто хочу найти свой крест. Как можно быстрее. Я его, когда купался, потерял. И даже не заметил. Глупо...

Шек. Брось, расслабься! Из-за поповской феньки голову ломать. Другой купишь. Если Бог и есть, то в таких вещах явно не нуждается.

Лариса (*с возмущением вынимает крестик, невидный под майкой с надписью «Love»*). Жэка, я тоже феньку ношу? Тебя мой крест достаёт, да?

Шек. Ты его этой весной вдруг нацепила. А до этого вполне клёво без него жила.

Стар (*делая рукой отмашку*). Шек, не травми любимую жену – ещё не раз в жизни пригодится! Папа, прости, дорогой! Я рад, что ты у нас тут нарисовался, честно говорю. Садись! Давайте успокоимся. Народ, вспомним, кто мы и почему вместе? Чтобы стать истинно свободными, ну и немного покайфовать на нашей убогой земле.

Лариса (*садится к костру, тянет за собой Вэла, но смотрит через огонь на Стара*). Как художник, признайся! Ты ведь лучше других должен чувствовать, что такой радости и красоты как в христианстве, ни в одной вере нет. Я с Вэлом согласна.

Стар (*снижительно*). Неужели я так юно выгляжу? Ты же знаешь, радость сменяется печалью и наоборот. Всё в мире призрачно. Истинная мудрость учит идти мимо страстей, искать великий покой и находить утешение в малом. (*Он нырнул в палатку, звякнул стеклом и вновь возник с бутылкой вина*). Закончим расклад московского гостя по обычаю. На сей раз из остатков нашей сухумской коллекции. «Киндзмараули!» Не слышу криков «ура».

Несколько голосов (*дурачась*). У-ра-а! Уррра!

Шек (*слегка толкает Вэла плечом, кивая на Стара*). Он уже давно и круто запал на Востоке, в отцы метит. Но пока ещё допускает свободомыслие и живёт с нами в кэмпе, как простой мэн.

Стар (*замолкает, иронически наставив очки на Шека, потом наполняет кружку Вэла*). Держи колдырь! Гостю первому полагается.

Сбросив сумку, Вэл вновь садится к огню. Слабо улыбается, отгоняя зреть, чокается со всеми, но не может избавиться от мысли, что его толком не услышали и не поняли, что, скорее всего, приняли за одного из пустозвонов, каких полно шатается по хипповым трассам и тусовкам.

Шакти (*с пафосом*). За нас, за наш кэмп!

Шуза (*кричит и подпрыгивает на месте от воодушевления*). За всех пшплов! За «Хипшиленд»... без границ!

Все тянутся друг к другу с кружками.

Стар (*похахтывая*). Народ, полегче со странником. Ему завтра с утра придётся на большую голову в горы переть, к старцам.

Лариса (*недовольно*). А что ты его так резко отчисляешь? Вэл, тебя никто не гонит. Завтра, послезавтра – сам смотри. Мне, например, поговорить с тобою хочется, об очень важных вещах.



Шапти. Конечно, оставайся! *(Поочерёдно переводя взгляд с одного на другого.)* Правда, Стар, Шек?

Стар *(смеётся).* Отец, все девы тебя сразу срисовали. За твою еду, разумеется.

Шек *(не обращая внимания на Стара).* Расклад у тебя был с примолотами, конечно, но пусть. Я про такие трассы ещё не слышал. Ехать день и ночь на товарняках, добраться на шару от Москвы до югов это класс! Не то, что мы – купили билеты, сели на поезд, как турьё, и прикатили. Кстати, покажи свой трасник! *(Вэл извлекает из сумаря и протягивает ему страничку, вырванную из школьного атласа.)* И с этим ты ездил? Инкредибл!

Лариса *(язвительно смотрит на мужа).* Конечно, сам ты в одиночку тоже легко доехал бы «на собаках» от Питера до Абхазии. Но, как всегда, жена мешает.

Стар *(беззлобно усмежаясь и немного паясничая).* Истинным христианкам, я слышал, присуща кроткая любовь...

Шек *(с нажимом).* И послушание мужу.

Мини *(неожиданно).* Любящему мужу!

Шек *(кивает на Ларису).* Пусть скажет, что я её не люблю.

Шапти *(плеснув остатки вина в воздух над костром).* За любовь! Только любовь выше свободы! Раз мы всё выпили – вместо вина у нас будет огонь. Будем впивать его глазами и гореть душой.

Стар *(обернувшись к Вэлу, иронично кивает на жену).* Она у нас стихаресса. Ей всё можно.

Мини и Шуза *(вздыхают руки к небу и бросают вверх пустые кружки).* Любовь! Свобода! О-о-о! А-а-а!

Разговор третий. Среди своих: рассуждения о верах

Вэл тоже плещет в костёр остатки из кружки и ловит беглый взгляд Мини.

Стар *(усаживается по-восточному и громко произносит, явно затевая спор).* А я последний глоток пью за истину. Только в ней свобода. Для мудреца истина выше любви, ненависти и прочих страстей.

Лариса *(возбуждённо).* Истина без любви и свободы нужна только астрономам. Чтобы вычислять ход погасших светил.

Стар. Не заводись. *(С усмешкой поглядывает вокруг, потом кивает на Вэла.)* Шек, кажется, девы немного запали от его прогона. А?

Шек. Да, я заметил. Что-то в последнее время герлухи к попам и церквям потянулись. «Бог есть любовь», и они кайфуют. Свечки, кресты, монахи. Красиво, конечно... А ведь эта мода – признай, Стар – на Русь тоже с Запада пришла. Помните рок-оперу «Джесус Крист суперстар»?

Лариса *(запальчиво, почти гневно).* Ну, сказанул! Это же дурацкая бродвейская дешёвка. Мы её вместе слушали, забыл, что ли? В совке и то честнее: нет Бога и всё! А тут добро и зло перемешано: Христос – несчастная суперзвезда в толпе фанатов! Всё сведено к примитивной лав стори и сказке про злого царя! Подогнано под дебилов – точно в сайз! И музыка попсовая. Где надо, кислотная, где надо – сладенький сонг. Под неё и дэнс можно продавать, и о любви помечтать. А на самом деле этой оперой Христа распинают! Да, именно!

Шек *(возмущённо).* Бред полный! Если тебе не катит, не впадай в мракобесие!

Лариса *(продолжает горячиться).* А тебе всё по барабану, да? Верующий после этой бодяги будет долго отплевываться, а остальные могут глухо на дурь садиться. Ноу проблемз – всё позволено.

Вэл пытается что-то спросить, Шек небрежно отмахивается от жены, не желая спорить.

Стар *(со скрытой иронией).* Круто ты Запад приложила – я молчу! Но думаю по-другому... В России начинают дуть ветры Великой степи. В православии всплывает Восток, и совдепия превращается в «Русскую Индию». Мы – первые тому свидетели.

Он с усмешкой поднимает указательный палец, затем изображает мудру «Будды проповедующего».

Лариса *(недовольно сверкает глазами).* Опять туфту гонишь? Уже проехали.

Шек *(затягиваясь сигаретой).* Не знаю, старик... Лет пять назад, помнишь, мы вчетвером на Памир ходили. Ари тогда среди нас самой нешуточной была, исмаилиткой хотела стать. А теперь в обратную сторону потянулась – на Запад. Куда-то под Ригу к старцу своему ездит. Не могла в Питере чувака отыскать.

Он безнадежно машет рукой, но Лариса приходит в гнев.

Лариса (*хлопая себя по колену*). Во-первых, чувак – это ты! А он – мой духовный отец. Во-вторых, при чём тут Запад? И Восток тут совершенно не при чём. Я езжу к моему духовнику. Неважно, где он живёт. У меня есть всё, чтобы смысл жизни найти. А вы, как дети, то в Америке, то в Индии откровений ищите. И всё по заумным книжкам! Слабо вам по нашим просёлкам побродить? Была бы я мэном, я бы вместе с Вэлом по России странствовать пошла.

Стар (*выразительно глянув на неё*). По совку, ты хотела сказать. Чего тут искать? Это мёртвая страна. Одни синяки в сёлах остались, и в городах синь непроглядная. (*Поворачивается к Вэлу*.) Этот твой странствующий гуру – от него явно шизой несёт, ты уж прости. Слишком он радостный. Юродивый из лесов. А деревенские старухи, хоть и настоящие, но это тоже клиника, только мрачная и убогая. Они скоро перемрут, и после них вообще никого не останется.

Вэл (*резко перебивает*). Насчёт шизы и клиники. Давай так – диагнозы каждый ставит только себе! Ты этих людей даже близко не видел. Жалею, что о них рассказал.

Стар (*неохотно смягчается*). Ну, пусть ты отчасти прав, ладно. Всё равно, всем, кто в эсэсэрии хоть немного на религии подсел, крезовоз уже заказан. Их, твоих старцев, гэбэ обязательно добьёт. Тебе крупно повезло, что встретился с монахом. А где у нас истинные святые, отшельники, странники – такие как на Востоке? В дурдомах! Тут, в горах, ты явно никого не найдёшь. Спокойно поезжай домой. Последние отцы, духовные исполины, давно умерли – или в гугаге, или за бутром. А где вообще сейчас наши гении – писатели, философы, учёные, художники? Вы много их видели, слышали?

Вэл (*тихо, с понурым видом*). Много не бывает. И по мусорнику их не покажут. Да они сами ото всех скрываются. И не только от разной попсы, а просто чтобы не стать никому в кайф.

Стар (*чуть понизив голос*). Может быть. Пожалуй, тут ты тоже прав. Учителей всегда было мало. Но сейчас и последние исчезли, а новые не появляются. Рождаются одни придурики. Кстати, (*Стар, хмыкнув, обернулся к жене*), потому я никогда и не хотел детей. Ты же видишь, кого растим, на свою голову... Так что, Ларик, нам останутся одни книги. Только книги! Ты ведь сама с книгой и спишь и ешь.

Лариса (*вспыхивает*). Это Евангелие, а не просто книга!

Стар (*невозмутимо*). А для меня Упанишады вместо Евангелия. И вместо учителей. Я боюсь, сейчас ни в Индии, ни на Тибете, ни вообще на земле не осталось настоящих отцов.

Вэл. Что бы кто ни говорил, а учителя искать нужно. Книги – это только еда в дороге, обувь, одежда, карта – что угодно. А ходить, находить, идти до конца учит только духовный учитель.

Стар (*с вызовом*). И у тебя он, конечно, есть!

Вэл. Я же про него рассказывал. Это мой незримый духовник. Мастер пути. Его надо искать до тех пор, пока он сам тебя не найдёт. (*Отворачивается, чтобы не продолжать*.)

Стар. Что-то вы, православные, темнить любите. Глаголь проще: учителя у меня нет. А от себя добавлю – и быть не может.

Лариса. Стар, хватит понты гнать! Откуда ты знаешь, что может быть, что не может? (*Глядя на Вэла*.) Ищите и обряцете! Мы все должны странствовать по жизни, а не кайфовать по флэтам и кэмпам. Система, кстати, учит не забывать про трассу.

Шек (*хохочет*). Что ты сейчас и делаешь, днэ тичер.

Стар (*поднимая палец*). Опять крайность, Ларик. Потому над тобой и смеются. Наш лагерь – не просто стоянка, это мысленное продолжение дороги, у каждого своей. Кто этого не понимает, объясню особо.

Он шутиливо хмурит брови и смотрит в сторону Мини и Шузы. Шакти приваливается спиной к коленям мужа и с улыбкой ждёт, чтобы вставить слово.

Шакти (*умиротворённо*). Сейшны нельзя отрывать от трассы. Но я хочу о другом сказать. Когда мы были моложе, искали не запредельные истины, а любовь. Прежде всего. Так, как сейчас её юнговые хищны ищут. Только о ней и думали, но говорили другими словами. Для меня любовь и есть высшая истина. Мини, Шуза, скажите!

Мини (*плечом толкает подругу*). Без любви, как без кислорода!

Шуза (*падает со смехом*). Умираю, задыхаюсь...

Стар (*зорко поглядывая то на Вэла, то на Ларису*). Не впадайте в самообман. Для христиан, как и для буддистов, земная любовь – это майя, грех и зло. Шакти, мы же с тобой читали Евангелие, помнишь: «Весь мир во зле лежит...». Вы согласны?

Лариса. Прости, ты главного не понял. Для православного «мир» – это пространство без любви, потому



он и «лежит во зле». А пространство любви – это церковь, община верующих. Там человек рождается заново и при крещении получает новое имя. Система наша тоже так была задумана – соединить людей любовью, спасти от одиночества, страданий, помочь радоваться жизни, сбереечь всё живое в природе, сохранить красоту. Об этом святые писали. Жизнь – высший дар, божий. Отсюда и прозвища наши наивные – чтобы отделиться от мёртвого мира. Вообще, на мой взгляд, всё лучшее в системе было взято из христианства. А потом начались отходы и подмены. Дзен и весь Восток, фрилав, наркота – вместо настоящей радости и любви.

Стар (*протяжно, с тоской в голосе*). Опять ты начала...

Шек (*пожимает плечами*). А почему теперь для тебя наши кликухи наивные? Сказала бы дружеские. Ларик, поменьше мистики! Проще живи, и будет хайлайт.

Шакти (*лучезарно улыбаясь*). Да, давайте проще! Мне кажется, пора подумать об ужине.

Стар. Подожди. (*Глядя на Вэла*). А ты что закочумал?

Вэл. Интересно послушать. Все мы думаем и говорим об одном и том же, хотя такие разные.

Стар. Ты больше разный, чем мы. И вообще, как я понял, от системы далековат. Не обижайся, старичок.

Вэл. А я и не скрываю, что от неё отошёл.

Лариса. Стар, почему ты его чуть ли не в марамой записываешь? Потому что не о Востоке, а о христианстве глаголет? Но на Западе среди хиппов полным-полно христиан. И католиков, и протестантов, и даже православных. А у нас за это людей в тюрьги сажают или по психушкам – как бешеных. И вообще это большой вопрос – что объединяет всех пшплов и отличает от монстров разных стран и народов?

Шек. Как что? Свобода, отказ от насилия, а у нас ещё – отказ от совка во всех видах, от лабуды про «светлое будущее».

Стар. Этого мало. За бугор тьма всяких придурков отваливает «за свободой», к таким же придуркам, как они сами. При чём тут система? Восточные отцы говорят: ищите внутренней свободы и просветления!

Мини. Нет, настоящий хипши – это тот, кто нашёл любовь и ей одной живёт. Неважно где. Остальные просто пластики!

Шакти. Именно. (*Водушевляясь*). Мы – дети живого мира, люди праны! Дышим и этим счастливы. Храним для всех любовь и радость жизни. Я так Вэла поняла. (*Кивает ему*). Ты согласен?

Вэл. Ты лучше меня сказала.

Лариса. Конечно, наша суть – радость жизни, любовь ко всем, свобода, вера. Ну, правда же, народ?

Стар. Всё это пустые слова – «радость», «любовь», «счастье» и так далее. Путь к истине требует честности. Это путь аскета. Его цель – достижение бесстрастия, а в пределе – нирваны. Ему нельзя смешиваться с вещами мира, он должен бороться с земными желаниями. (*Вздыхает*). Но мы, увы, не на Востоке. Нам без лёгкого колдыря всё же не обойтись. Круче мы не берём, чтобы не рухнуть в полёте.

Шек. А поначалу ты на джефе и маршпке немного зависал, вспомни.

Стар. Но быстро сник. Понял, что можно жить и без духоты. Всё зависит от твоих мозгов, от личного дара. Я бы назвал его художественным, если хочешь. Лажовых чудес не бывает, отец. Марамой и от самой лучшей ганжды марамоем остаётся, даже если неделями торчит в лом и ловит кайф в собственном навозе. Через пару лет чувак отъезжает или сам кидается, ничего не просекая. Вот и всё удовольствие.

Вэл. Стар, ты тут весьма кстати насчёт любви и радости заметил. (*Он поймал на себе взгляд Мини и придвинулся к Стару*). Мне неясно, как вообще Восток вторгся в нашу систему? Ведь ни в буддизме, ни в даосизме нет понятия «любовь». Или я плохо их знаю...

Стар. У индуистов есть понятие «бхакти» – состояние благоговейной любви между Богом и человеком.

Вэл. Прекрасно. Значит, в нём – одно из предчувствий христианства. А что ещё? В исламе есть мистика любви, но она слишком телесная, «гаремная», я бы сказал. А православие для меня – это обожествлённая радость, неотделимая от любви. Она не исчезает даже в страданиях, она в них крепнет, а иногда и рождается! В этом чудо веры. Если бы я был женщиной любой религии, немедленно обратился бы к христианству! Там её самое достойное место.

Шек (*фрапко*). А почему не к иудаизму? Ты Библию читал, «Песнь песней»? Вот где полно любви – живой, человеческой, а не дохлой, как в твоём христианстве.

Вэл. Хотя бы потому, что там меня никто не ждёт.

Стар (*приподнимаясь, в сторону Шека*). Отец, тут ты, и правда, через край хватанул. Спроси у любого раввина. Это религия «для своих», как и зороастризм. Дай-ка закурить!

Лариса (*то и дело взглядывая на Вэла за поддержкой*). Шек, я в Библии не только «Песнь песней» читала, но много другого, на что сил хватило. А ты, интеллектуал, Евангелие толком не прочёл! Сунул нос туда-

сюда и всё сразу просёк. Класс! В христианстве любовь является на землю не из пучины морской, как Афродита, а с небес – для всех и навсегда! Кто вообще, кроме Христа, сказал целому свету: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые»? Все придите, понимаете? (*Оборачиваясь на Стара.*) Индуисты твои тоже, признайся, нас не ждут.

Стар. Глупости. Индуизм открыт всем труждающимся и обременённым. А кроме того всем радующимся жизни – глупым и умным, пьяным и трезвым.

Шек (*начинает говорить, всё больше распляясь*). Хорошо, тогда почему бы нашим хиппам дружно не стать католиками? Или протестантами? Вот где истинная культура. Чистая религия любви, без полисов и гэбухи у каждого подсвечника! На такую любовь и должна опираться система. Она не случайно возникла на Западе, а не в Чухломе какой-нибудь и не в Москве. Что вы всё за православие, за совдеповскую церковь хватаетесь? Там же пусто – одна ложка и лажа! Разве не ясно?

Лариса вскочила и, не находя слов, с криком «О-о-о!» бросилась прочь.

Вэл и Стар (*одновременно*). Лариса! Ларик, подожди!

Вэл (*сощурил глаза, медленно говорит в лицо Шеку*). Нет ничего отвратительнее, чем смешивать совдепию и церковь, тюрьму и заключённых. Да, зэки живут по законам тюрьмы, но тюремщиками не становятся. Кстати и хиппы в совдепии только прописаны, а внутри себя остаются свободными, вопреки всему. Вся Россия погребена в эсэсэрии, но ею не является. Я это только недавно понял, когда впервые в нашей глубинке оказался.

Шек пытается что-то возразить, но тут возвращается Лариса и кричит ему, всех перебивая.

Лариса (*гневно*). Это церковь-мученица! Миллионы людей были сосланы, лучшие из народа – уничтожены! Мы же с тобой вместе «Архипелаг» читали! Их и сейчас травят, ты это знаешь. Как ты можешь?..

Вэл (*машет ей рукой, успокаивая*). Совдепия со своим гулагом появилась и рассыплется, а православие останется. И ты, Шек, будешь сравнивать его с католицизмом и протестантизмом, когда оно станет свободным, а не сейчас. Андэрстэнд?

Шек (*сбавляя тон, но с прежним упрямством*). Вместе с совдепией рухнет и сталинское православие. В тот же день, вот увидите! Про саму Расею я вообще не хочу говорить. Но предчувствую, что облом с попами будет грандиозный...

Лариса. Посмотрим, если доживём. Ты кроме Запада ничего не знаешь и знать не хочешь.

Стар (*нетерпеливо поднимает руку*). Всё, Шек, ты всех победил. Да здравствует Папа римский! Выдохни и задержи дыхание. Народ, перед нами два пути. Путь низший – прикончить последнюю бутылку «Ахалшени» в надежде договориться. Думаю, надежды нет – только испоганим неплохое вино. Путь высший – резко перейти к ужину и вечернему концерту. «Ахалшени» при этом не отменяется. Вы как?

Шакти (*оборачивается к девушкам*). Мы за ужин и концерт. Причём, уже давно. Правда?

Мини (*звонко*). Йес-с-с!

Шакти (*к Шеку и Мэлу*). А вы как, отцы?

Шек (*выдавливает кислую улыбку*). Жалко, конечно, вино портить каляками бессмысленными.

Стар (*решиительно*). Тогда кончаем базар. Всё происходит, как обычно. А гостя мы сейчас вновь загрузим по полной. Ты не против?

Вэл (*усмежается*). Я привычный. Где топор?

Стар (*смеётся*). Ты, чулка, догадливый, однако. Но теперь трудиться ты будешь не с красоткой Ми, а с нами. Пошли за дровами, втроем мы сейчас на неделю хвороста и разных коряг натаскаем.

Разговор четвёртый. Ужин у костра

По тропинке между завалами камней Стар, Шек и Вэл спускаются на нижний склон и выходят к тихому сочащемуся ручейку. Рядом лежат черпак, мьельница и грязная кастрюля, у воды стоит пара пластмассовых вёдер, а на ветках ближнего дерева сохнут полотенца.

Стар (*небрежно, на ходу*). Тут у нас умывальник. Хочешь, в ручье мойся, хочешь, поливайся из ковша. Вода отличная, можно в бутылки закатывать. Кстати, мужикам за ручей хода нет. Наша сторона – вниз от



костра, за скалами. Тут так: приезжаем, копаем два верзатника, туда же остатки еды бросаем и засыпаем золой от костра или листьями, чтобы мухи не летали. А хрусталь носим в ближний аул. Кепки страшно рады. Вино в нашу тару разливают и нам же продают. Когда уезжаем, после лагеря никаких следов не остаётся. *(Вэл одобрительно хмыкает, разговор продолжается сквозь листья).*

Вэл. А ты в каком стиле работаешь, в каком жанре, Стар? Интересно бы картины твои посмотреть.

Стар. Жанр – проза жизни. Я в разных издательствах книги иллюстрирую. Ну, а для себя пейзажи пишу.

Шек *(добавляет).* Не какие-нибудь, а классные! Акварели в духе Волошина.

Стар *(невозмутимо).* Здесь я который день только мандалы рисую – для очищения мозгов. Завтра утром могу альбом показать, если хочешь.

Вэл. Хочу, конечно.

Намеренно избегая сложных разговоров, они пробиваются по прибрежным зарослям чахлых сосен, акаций и увитых лиананами кустов. Через полчаса возвращаются к лагерю, сбрасывают хворост в кучу и подходят к огню. Вэл влезает на ближнюю скалу и долго, неотрывно смотрит в море, гоня от себя мысли о Мини. Солнце касается горизонта, пунцово горит и высвечивает на земле тени. Воздух наливается сизыми сумерками, а пламя костра набирается яркой силы.

Шакти *(поднимается на скалу к Вэл).* Созерцаешь? В нашем лагере все понемногу клины ловят. Я первое время совсем потерянная ходила, между небом и землёй родину искала. Морем болела и им же лечилась, как ты своими лесами и полями. Тут далеко уносит, без всякого дринча. А в Питере сразу ломка начинается, особенно по ночам. Тянет назад невыносимо... Ладно, пойдем ужинать, пока ты не подсел тут на закатах.

Вэл *(улыбается и разом прыгивает с высоты к костру).* Я горами спасаться буду, если что.

Стар *(сходу включается в разговор).* Правильно, старик. Разбежишься и ка-ак бросишься с берега в пучину гор! А пока сиди, копи силы. *(Уныло поводит носом над кастрюлей.)* Опять макароны. *(Насмешливо оборачивается к Вэл.)* Это стало нашей здешней судьбой. В ближайшем селе есть лабаз, но нет еды. Нет вообще! Что-то невероятное. В Цзы-Бзыре... или как его там, тоже почти ничего. Лаврушка не в счёт, её тут целые леса. А ехать в Сухуми лень.

Лариса. Но всё равно придётся, у нас макарон на два дня осталось, не больше. И банка горошка. Даже овсянка и рис кончились.

Шакти. Да, надо бы кушать чего-нибудь понажористей, сразу на неделю.

Стар *(усаживается у своего любимого камня).* Мне всё равно, я чистый травоед. А по жаре вообще не важно, что шамать, можно прожить и на лапше. *(Испытующе смотрит на Вэл.)* Кстати, как ты насчёт поедания плоти невинных животных? Ты же православный, должен всё это хавать с самым блаженным видом.

Вэл. Мясо и рыбу я уже год, как не ем... Но других глупо осуждать, раз уж мир так устроен. В Индии горы овощей, фруктов и вечное лето, а попробовал бы какой-нибудь джайнист выжить зимой на одной пшёнке в нашей глухой деревне. Кстати, ламаисты в Сибири и Монголии, я слышал, спокойно едят мясо и от стыда не пухнут.

Шакти. Значит, мы все вегетарианцы! Тогда предлагаю проглотить то, что есть, быстро и молча, как лекарство.

Мини *(виновато обводит взглядом сидящих вокруг костра).* И с закрытыми глазами. В кастрюлю случайно зола насыпалась. Ай м сори.

Стар. Ладно, мы к твоей кухне уже привыкли.

Шакти *(продолжает).* Давайте будем считать единственной едой вино. Устроим праздник в честь нашего лагеря. Это будет пир из остатков всех предыдущих пиров. *(Шуза хлопает в ладоши.)*

Мини *(подпрыгивает, тянет Шузу за руки).* А потом концерт. Ура-а!

Стар. Годится.

Шек *(возглашает).* Фат!

Лариса *(делает знак Вэл).* Посиди со мной, поговорить хочется.

Стар *(сводит указательным пальцем).* Мало ли, что хочется. У православных за едой все молчат и, чуть что, ждут удара ложкой по лбу. Говорить может только старший, то есть я.

Лариса. Да, но у православных старшему есть, что сказать, а ты то и дело пургу несёшь.

Стар *(разводит руками и хмыкает).* Опять дерзость в ответ. А где же твоё смирение?

Ему не отвечают. Шек приносит из палатки гитару, берёт аккорд, подкручивает струны и слегка откашливается.



Мини (*жалостливо*). А может быть, сначала немного выпьем? С макаронами тоже можно.

Шек. И с пеплом можно. (*Укоризненно смотрит на Мини*.) Ну что, пить будем или пить?

Лариса (*сует мужу миску*). Поешь сначала. Если еду выдержишь, потом споешь. Как сумеешь. (*Раздаётся смех*.)

Шек (*жует из миски, театрально морщится, затем поднимает бутылку вина над головой*). Нет, макароны съедим, когда терять нам будет уже нечего.

Шакти. Точно. (*Встает, молитвенно раскрывает заходящему солнцу объятия*). Предлагаю выпить за этот божественный закат, смотрите!

Стар (*вскидывает голову и опять углубляется в еду*). На тебя смотреть или на солнце?

Шуза (*кричит и вертит головой во все стороны*). Давайте за наш костёр! Ни разу ещё не пили.

Стар. Ладно, и за костёр выпьем. И за море, и за землю. Но только по глотку, чтобы всему досталось...

Шек (*с нарочитым кавказским акцентом*). Ваааааа за всю кароши, батано.

Стар (*продолжает*). ...за свет, за огонь, за дрова. Что там ещё остаётся?

Мини. За нас.

Стар. Ну, а как же, и за вас тоже. И за нас, может быть. Это уже на неделю беспробудного пьянства. (*У костра поднимаются кружки*.) Только чокаться не надо. Сколько раз объяснял, что это западное варварство.

Лариса. Бред полный. А я вот хочу! (*Наклоняет голову к Вэлу, намереваясь поговорить*). Это старинный народный обычай, правда, Вэл? (*Чокается с ним и понижает голос*.) Как я рада, что ты вдруг возник! Я здесь, как в осаде. В Питере среди хиппов много христиан, а тут я одна.

Шек (*пищит девичьим голосом*). Бедняжка.

Вэл (*улыбается Ларисе*). А может быть, не совсем одна? (*Говорит ей почти на ухо, так что другие не слышат*.) Я к вере недавно пришёл, но в душе всегда таким был – хотя звучит лажово. Стремился к чему-то настоящему, только не знал к чему. Христианство и другие религии по книгам изучал, а жил как последний даун.

Лариса (*так же тихо*). Значит, ты совсем недавно крестился? Ты не рассказала, как это произошло?

Вэл (*вдыхает*). А как рассказать?.. Вспоминалось одно смутное видение – ещё с детства. Был какой-то шёпот в душе. Но началось всё после знакомства с системой. Один мой друг оказался православным, и если бы не он... Я тогда не понимал, что завис между тьмой и светом. Едва не отъехал по дурости. Потом мы с ней сошлись, прожили почти год. А недавно расстались. Она, кстати, верующая была.

Лариса (*изумлённо*). Верующая? Как же вы могли? Ведь брак – это навсегда!

Вэл. Мы не венчались – я против был. И даже не расписались.

Лариса (*качает головой*). Хиппово, нечего сказать... Но всё равно – важны не бумажки, а любовь. Что случилось-то?

Вэл. Она ушла. Неведомо куда. (*Помолчав, добавил*.) Я её вынудил.

Лариса. Ты? Не представляю, что ты такое сделал!

Вэл. Это я потом прозрел... После того, как она от меня ушла, я и сам из Москвы сбежал. Моя во всём вина. (*Сокрушённо машет рукой и отворачивается*.) Не хочу говорить! Мрак...

Лариса (*негромко*). Чтобы не произошло, отчаиваться нам нельзя. Это как спиной к Богу повернуться. Надеждой всё вернуть можно. (*Задумывается, пристально смотрит на Вэла*.) А знаешь, как я к вере обратилась? (*Склоняет голову*.) Мне мой младенец приснился. Неродившийся. Потом ещё раз, через месяц, наверное. Ручки тянет ко мне и зовет: «Мама!». Это был бы мальчик, я знаю. С тех пор – всё. Я другой стала. Когда тянет плакать, когда никто не слышит, не видит, я молюсь. Не могу теперь жить без молитвы. Она для меня, как надежда, что Бог простит грех мой ужасный. (*Лариса опускает лицо, шепчет*.) Что ещё даст мне ребёнок... Так тяжело, а Жэка не понимает.

Разговор пятый. Слова на свободе и сказание о Богородице из цветов

В это время слышатся аккорды и звучный проигрыш какой-то мелодии. У костра Шек вновь пробует гитару. «Квины», «Кинги», «Дженезис»? – пытается вспомнить Вэл.

Стар. Шек, подожди, дорогой! (*Поворачивается к Вэлу*.) Может, наш гость хочет что-нибудь своё изобразить? С радостью послушаем. Бери доску и вперёд. Ты поешь, брэнчишь помаленьку?

Вэл. Немного пою, но по струнам бить толком не научился.

Стар. Ну, тогда почитай нам что-нибудь своё. Из сокровенного... Ты ведь пишешь, конечно. А то у нас одна Шакти в стихотворцах ходит.



Вэл (*в замешательстве*). Пожалуй, нет. Всё это в прошлом осталось, чепуха.

Стар. Ладно, как хочешь. (*Поправляет очки и торжественно продолжает.*) Тогда предлагаю пропустить по глотку... зелёного чая и послушать великого поэта. Единственного, после Пушкина и пары других, кого никогда не забудут. Гения русского слова! (*Многозначительно смотрит вокруг.*) Давно намыливался почитать вам стихи нашего прямого предка, вольного странника и словотворца Виктора Хлебникова, по прозвищу Велимир.

Шек (*щёлкает пальцами и восклицает*). Эксэлент айдиа. Прочти «Кузнечика».

Лариса. Лучше «Бобэоби».

Шакти. Да, его «перевертни» – полнейший запретел. Все слова прозрачны, строки – зеркала, звуки – оборотни! Читай хоть прямо, хоть задом наперёд. Какой-то заколдованный язык или, скорее, расколдованный, ангельский, небесный. У других было только трюкачество – никто с тех пор не смог подобных стихов написать. Правда, на слух их не оценить...

Стар (*перебивает, выразительно*). «Конни, топот, инок. Но не речь, а черен он... Течет и нежен, нежен и течет»... И так – на дюжину страниц! Нет, у него всё великолепно: «Смехачи», «Камыши», «Свирель» – всё улет!

Стар занимает своё любимое место, опирается спиной о камень и начинает читать, смакуя и бережно отпуская на волю каждое слово. Прочитывает несколько стихотворений и прерывается. Наступает молчание.

Шек. Кайфовый мэн был... Без вайна тащит. (*Он растянулся на земле, глядя ввысь.*)

Стар. А я бы немного глотнул для полного удовольствия, да нечего. (*Хочет, глядя на Шека.*) Ты, кажется, немного завис, отец?

Шек. Хлебников на моём месте тоже слушал бы цикад и смотрел бы на звёзды.

Стар (*подхватывает*). А потом бы сказал:

Мне мало надо:
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!

Говорят, он это перед смертью написал, как завет всем нам. А такое помните? Тут все пинты долго отдыхают:

У колодца расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце с позолотцей
Отразились повода...

(*Прерывается на полуслове и поигрывает пальцами в воздухе.*) Забыл, как дальше, тьфу! (*Почёсывает лысину.*) У него, кстати, и совершенно другие, невероятные вещи есть. Вот, напоследок... (*Ловит рукой в воздухе слова и звучно произносит.*)

Так я кричу крик за криком,
И на моём каменеющем крике
Ворон священный и дикий
Совьёт гнездо и вырастут ворона дети,
А на руке, протянутой к звёздам,
Проползёт улитка столетий!

Вэл. Блеск!

Шакти (*обводит всех восторженным взглядом*). А? Мозги разлетаются...

Стар (*отмахивается от неё и продолжает*). Хлебников – наш человек. Эту стоянку он назвал бы не по-обезьяны, «Хишпиленд», а на родном языке. Например, «Вольномир». А нас бы окрестил не «пи-плами» – тошнит, простите... (*Делает гримасу и закрывает рот своей шапочкой.*) А, скажем, «бродниками», «вольнародом», «вслюбами»...

Шек. Опять тебя понесло. Не в ту стэп, сэр! (*Нервно фивстаёт в знак протеста.*) Хватит словоблудия. Весь мир по-английски говорит! Если тебе не катит, иди в тайгу, в тундру, в горы. Вон, Вэл уже нацелился.

Вэл (*воодушевлённо*). А что? Звучит нелажово, вполне в духе Хлебникова: «вольнарод»... Меня не корябает. Это ты придумал, Стар?

Мини (*смотрит на Вэла и надует губы*). А «Хиппиленд» тебя корябает?

Вэл. Нет, а что? Одно другому не мешает.

Шек (*недоверчиво*). Тебе не мешает? А Стару мешает. Он от Хлебникова шпизеет, иностранные слова тупо заменяет разными исконно-посконными расейскими глаголами. (*Возбуждённо обходит вокруг костра и бросает в огонь охапку хвороста, будто возвращается к старому спору*.) А почему, кстати, если ты так любишь Восток, не заменяешь русские слова калмыцкими, чукотскими и так далее?

Стар (*невозмутимо*). Каждому своё. Не надо друг другу рот затыкать. Это в компартии дисциплина и речевые строго забугорное: измы... сизмы... нинизмы... Расслабься, старичок, здесь не красный уголок!

Шакти (*сердито бросает в него травинкой*). Стар, завянь! Так среди своих не спорят, ты же сам нас учил.

Лариса (*поддерживая подругу, беззлобно*). Миленький, допустим, мне Хлебников не совсем в жилу. Ну и что? Почему ты всех гасишь? Заткнул Вэла за православие, меня сколько раз затыкал? А сейчас Шека... Бог учит не буквы и слова слушать, а людские души. И слышать их. Да-да! И любить! На том наша система стоит. Иначе я бы давно от вас слиняла.

Стар (*чуть растерянно*). Ладно, Шек не обидится, мы с ним давние спорщики, а? (*Подмигивает Шеку*.) Но сказать-то, что я думаю, имею право? В первую очередь, друзьям.

Шакти. Всё правильно. (*Улыбается*). Я тоже за свободу. Пусть растут все цветы! Не будем же мы на инглише между собой спикать. Это для прикола. Но уметь при случае ток продавить – может, кому и пригодится. Ведь в совке нас этому нарочно не учат, чтобы с заграникой общаться не могли. Всех за фуфло держат подневольное. Всех достал этот совхоз чёртов! Разве не так?

Лариса (*заливается смехом*). Ладно тебе... У нас не только мэны крутые – вэри джаинты! Ты тоже им подстать. (*Чуть задумывается*.) А я давно хотела вам рассказать про истинную женщину. Самую первую, возникшую из цветов. Вэл меня вдохновил. Хотите?

Стар (*настороженно*). Это что ещё за бодяга?

Голоса (*всех кроме Шека и Стары*). Фемина из цветов? Это что за легенда? Сказка про феню? Давай, Ларик! Послушаем!

Лариса (*скользит взглядом по лицам и ждёт тишины*). Когда я была девчонкой, мне эту легенду моя бабушка рассказала – она родом с Украинны. Там и дома, и церкви, и самих себя любят украшать цветами. Весной девочки и женщины венки плетут, хаты цветами убирают. А зимой сухие букеты ставят. Есть на Украине сказание о том, что Бог первую жену Адама сотворил из цветов.

Шек (*страдальчески воздев глаза к небу*). Опять.

Стар. Смирись, старик, а то все девы будут против нас. Гони, Ларик, до упора! А я пока подымлю вместе с костром. Шек, будешь? (*Открывает новую пачку и протягивает ему*.)

Лариса (*кротко*). Ну, тогда слушайте. Сказание о Богоматери из цветов... Бог сотворил Адама из глины и вдохнул в него душу. Потом насрал сон и сотворил ему подругу из цветов – белой лилии, розовой мальвы, красного мака и роз. Адам проснулся и увидел около себя прекрасную деву, непохожую на него. Такую нежную, чистую, хрупкую, что не мог к ней прикоснуться. Огорчился и сказал Богу: «Не хочу подругу из цветов, хочу такую же, как я». Тогда Бог наваял на него сон крепче прежнего, взял от него ребро, сотворил телесную деву и положил рядом. Она сразу понравилась Адаму, и он захотел взять её себе в подруги. Бог спросил Адама: «Какую жену ты полюбил больше – из цветов или из твоего ребра?». Он ответил: «Люблю ту, что взята из моей плоти и на меня похожа». Бог сказал Адаму: «А Мне краше дева из цветов и Я уготовлю её Сыну моему». И взял Бог деву из цветов на небо, в райский сад. Затем родилась Она на земле в плоти человеческой, словно чудо. И стала Богородицей. И там, где Она проходила, расцветали райские цветы – лилия, роза, мак и мальва. От них пошли по всей земле и другие, самые красивые растения и деревья, и будут они цвести до скончания века, чтобы люди смотрели на них и вспоминали красоту и чистоту самой первой женщины – Матери всех земных жён, всех людей и всего живого на свете.

Стар (*бросая окурок в костёр*). Ну что? Красиво. Как художник говорю. Уверен, правда, что сказание это попало к нам с Востока, а попы под себя переделали. Такого культа цветов, как в Индии, Индонезии, Японии никогда на Руси не было и не будет.

Шакти. У нас и цветов меньше, что ты сравниваешь? Ты хоть в суть въехал? А я, Ларик, запала на твоей легенде.

Стар. Успокойтесь. И не забывайте, что Будда восседает на цветке лотоса, а Христос явился на землю с мечом.

Вэл (*нетерпеливо*). Это про меч духовный говорится!



Стар. Не только. Но всё равно – меч, кровь, крест. А тут – цветы вместо оружия.

Шакти. Ладно уж. А ты забыл про бодисатв в ожерельях из черепов?

Стар (*с досадой*). Сколько раз повторять упрямой жене, что это образы смертных грехов, терзающих душу человека?

Вэл. Хорошо, пусть на Востоке цветы. Но во имя чего, если любви нет? Во имя буддийской пустоты?

Стар. Тьфу, надоел каляк детский! (*Горячится и переходит на крик*.) Ты что, не знаешь, что буддийская «шунья» – «пустота», как ты говоришь, – содержит в себе всё-о?! Это, если хочешь, полнота возможного бытия! Плерома гностиков! Я же массу книг перечёл, в отличие от вас, православных. Восток вашего христианства просто не заметил – до сих пор! Индуисты, буддисты, даосы живут своей жизнью, как было всегда, и ничего не ищут. Потому что всё уже давно найдено. Истина у них внутри!

Вэл. А в чём она выражается? И где она? В индуизме, буддизме, даосизме?

Стар. Дурацкий вопрос, европейский. Истина везде и нигде. И в христианстве есть крупица истины, и в марксизме, и даже в людском дерьме – каждый врач подтвердит. А само это слово, все слова или имена богов, ничего не значат. Слова всех людей и всех времён равны молчанию! Выше слов бессловесное дыхание жизни! Вот чему учит Восток.

Лариса. И это дыхание славит Бога, как написано в последнем псалме. Твой Восток – дословесный, полуживотный. А христианство – это религия людей, их сердца, мысли, слов, поступков.

Стар. Хватит гонива, а? Перегруз пошёл! Лучше немного помолчим и посмотрим в небеса.

Шек (*после некоторой паузы, примирительно*). Премудрый Старче! Давай тогда без форшлагов и вообще без лэйблов – буддисты, христиане, мусульмане... Мы просто хиппы, свободный народ! (*Берёт в руки гитару*.)

Стар (*никак не может успокоиться*). Ну, ты даёшь! Что это за «лэй-блы»? Для тебя все религии едины, что ли? Ты что, к научному атеизму прикалываешься?

Шакти. Нет, Шек – старый анархист.

Шек (*срывается*). Заткнитесь вы! Заколебали со своими религиями и философиями. Мне всё это параллельно, включая анархизм. Понимаете? Я хочу как ребёнок – дышать, любить, кайф ловить по любому поводу. И без повода. Ваше занудство всё гасит. Как на профсоюзное собрание попал!

У костра повисает молчание.

Стар (*быстро скрывается в палатке и вскоре вылезает назад, подступая к Шеку с широкой улыбкой и бутылкой вина*). А кайф от глотка сухого тебе уже в лом? Старина, ты прав. Вот, самую последнюю, тайную и заветную, для тебя достал. Давай ёмкость. А потом сделай нам что-нибудь на твоей доске, как ты один умеешь.

Шек (*вяло улыбается, но протягивает кружку*). Поздновато уже. Ну, ладно, о'кей!

Разговор шестой. Рок для русской души

Шек сидит на камне, собирается с мыслями, поигрывает струнами. Потом негромко, с отличным аккомпанементом начинает петь битловскую «All You Need Is Love». Получается очень похоже, но тоном ниже.

Девушки (*бурно трепещут ладонями*). Класс! Ещё спой! Браво, Шек!

Стар (*приподнимая с лысины шапочку*). Старик, в который раз снимаю восточную шапку с моей буйной головы. Не могу забыть любовь молодости!

Шакти (*хмыкает и в воздушном поцелуе протягивает руку в сторону Шека*). Спой «She Loves You», умоляю!

Мини (*азартно кричит и вскакивает с земли*). «I'm Crying!» «Hey Jude!»

Шуза. «Something» Харрисона! Да-а! Да-а!

Лариса (*что-то едва слышно говорит и выразительно смотрит на мужа*). Ту, из «Сержанта Пеппера»... Помнишь?

Шек поёт одну песню за другой, целиком или отдельные куплеты, без пауз и пустых проговоров, с чётким английским выговором, несильным красивым голосом. А сам он будто оказывается в иных временах, в иных краях... Перед ним так и остаются нетронутыми кружка вина и хлеб с последним кусочком сулгуни. Все молчат, смотрят в огонь, смакуют вино и впадают звуки песен. У Ларисы горят глаза, она отворачивается, пытается скрыть волнение. Шакти и Мини сидят, касаясь спинами и чуть покачиваются, запрокинув в небо головы, Шуза задумчиво помешивает палкой в костре, Стар полблескивает очками и медитирует с каменным лицом. Вэл навзничь лежит на земле и тонет в небесах.



Шек (*устало опускает гитару и поднимает кружку*). Ну, зис из энаф. За Битлов и за всех, кто был после них, но остался с ними – на предельной высоте!

Шакти. И за тебя, Шек!

Она встаёт и трижды звучно чмокает его в щёку, затем подбегают Мини и Шуза.

Мини. Это рудез полный! Окончательный! Шек, милый...

Стар (*качнув головой*). Дурной пример заразителен. Пока все будут тебя в очередной раз обцеловывать, мы с москвичом выпьем за твоё здоровье.

Вэл. Это во-первых. А во-вторых, давайте выпьем за песню вообще, без которой, наверное, и система наша не возникла бы. Либо рассыпалась бы вскоре.

Стар (*уставя на Вэла очки, отверкивающие пламенем*). То есть?

Вэл. Мне кажется, мелодизм у «Битлов», «Квинов», «Йес», связан с народной песней, с англиканской музыкальной традицией... Хотя те же «Битльз» и косили под сатанистов, подсознательно всё равно оставались христианами. Стар, дай договорить! (*Нетерпеливо тянет руку в его сторону*). Красота не может идти против Бога! Кстати, потому среди хиппов и не прижилась авангардная музыка – совершенно ледяная, где всё для мозгов, ничего для души.

Стар. Ты кого имеешь в виду? Лигети какого-нибудь? Мне это давно без прихвата.

Вэл. Про то и речь. Авангард борется с мелодией, а в ней душа музыки. Скорбная, радостная, всегда живая. Авангардисты ничем человека ухватить не могут – всё тут же забывается. Их игры с адскими шумами, тишиной, разные звуковые придумки тоскливы, как старческий маразм, а минимализм – как больничная капельница...

Стар (*рвякает с довольным видом*). Ххо-о! Однако ты строг! Это у тебя от православия, наверное. Но сам заход мне нравится. Я переслушал чуть не весь авангард и кайфовал поначалу не меньше, чем от рока. Но давно остыл, в отличие от Шека.

Шек. Ну, и зря! Сто раз тебе говорил – они неплохо друг друга дополняют. Против только кантры могут быть. Берно или Ноно, в обоих направлениях классно работали, как и весь арт-рок.

Стар (*улыбается и разглаживает халат на груди*). Если честно, мне Рави Шанкар и Али Акбар Хан гораздо ближе. Как-то согревают, в отличие от авангарда и рока.

Шек. Эти твои гудошники индусские? Да, перестань!

Вэл. Извините, а кто объяснит, зачем авангард и тяжёлый рок так грубо на мозги давят? Потому что кому-то хочется поиграть в смертельный кайф, но – в условиях домашнего комфорта? А я, например, улетел от грохота товарняка, на котором ночью километров двести проехал. Вот, кстати, когда реальный хэви-металл звучал! А ещё больше запал от народных песен, которые пьяные кантры в деревенской глухомани пели.

Стар (*ехидно*). Надо было неслабо заколдырить, чтобы от какой-нибудь «Калинки» повестись.

Вэл. А других песен ты не знаешь?

Шек (*издевательски*). Как жи, многа чаво слыхамши – и пад былалайку, и пад хармонь.

Вэл (*недоумённо*). Ты это серьёзно? Первый раз встречаю человека, песней ушибленного. А что ты против фолк-рока имеешь? Он ведь полностью на народных мелодиях вырос. Я про настоящие традиции толкую, а не про лубок совковый.

Стар. Ладно, уговорил. Пьём за песни – всех времён и народов!

Шуза. И за пляски тоже.

Стар. Да, и за пляски до упада.

Мини. За дэнс всего мира! (*Восторженно*). Вот был бы кайф у костра с африканцами попрыгать или самбу с латинами рвануть!

Стар (*Шеку*). Срочно изобрази для Ми африканца. А я ритм отбивать буду.

Шек. А может ей в кайф танго продавить в темноте, с Вэлом, например?

Шакти (*решительно протягивает Шеку гитару*). Не доставай юнгов. Лучше вспомни, как ты спиричуэлсы синговал. «Nobody Know» и так далее. Понтово было. Тут и Запад и Африка вместе, столько силы, красоты. Спой, а...

Лариса (*живо поддакивает*). Да, Жека, что-нибудь радостное – джаз, спиричуэлс, что хочешь. Чтобы все немного притихли. Помнишь «I Must Tell Jesus» или «It's Jesus In Me»? Ты ведь их пел когда-то.

Она умоляюще взглянула на мужа и чмокнула губами, но Шек отмахнулся.



Шек. Конечно, соул мьюзик я и сейчас люблю... *(Нервно мотнул головой.)* Да! Потому что в одном спиритчүэлсе больше жизни, чем во всех православных завываниях и восточных тянучках.

Стар *(смеётся)*. Ну, дорогой, ты всех разом приложил. И нечего уже выпить за твоё здоровье, что обидно.

Шапти. Шек, милый! Пусть это не твоё, но другие любят, и значит, правы. Что толку наезжать друг на друга? Лучше уж петь, чем каляк туфтовый через силу гонять.

Мини *(издаёт печальный писк)*. А ещё лучше танцевать.

Шапти *(с нафосом)*. Русская душа безмерна, всё принимает, всё любит! Восток – Запад...

Шек *(отодвигает гитару)*. Может, хватит про русскую душу? И про Восток тоже? Можете гасить меня, сколько хотите, но шиплы без Запада и его культуры – полное фуфло! Такого просто быть не может!

Стар *(с усмешкой)*. Сдался ты, гасить тебя. У тебя все клины на Западе сошлись. Запад гасить надо – вся попса оттуда в нашу систему прёт.

Лариса *(притворно негодуя, с улыбкой подняла кулаки вверх)*. Я не понимаю, Стар? Что ты в последнее время, как семафор, всем всё указываешь: Восток – Запад, можно – нельзя? У нас в России всё примиряется, я согласна с Шапти. Разве не чувствуешь? Мне, например, церковное пение в кайф, а ты его никогда не слышал. Художник! Ведь это то же самое, что иконы звучащие.

Стар *(сердито пыхая сигаретой)*. Послушай, мать, если бы это было нечто, весь мир давно бы слушал пение православных старух и всю торговал бы их плёнками, как торгуют рок-музыкой и восточными делами.

Лариса. И хорошо, что не знают. И не торгуют ими, как жвачкой. От этого наши песнопения хуже не становятся. А поют у нас, кстати, не одни старухи. Послушал бы хоть раз настоящий монастырский хор, уже пара винилов вышла.

Вэл *(пытаясь сбавить пыл нового спора)*. Я сегодня утром в Сухуми, в соборе грузинские песнопения слушал. Вам когда-нибудь приходилось?

Лариса. Нет, мы там так ни разу и не были.

Шапти. Да, а почему, кстати?

Стар *(соглашается)*. Надо бы зайти при случае к кешкам, поглазеть. Я не против.

Шек. И что ты там услышал?

В ответ Вэл поднимает обе руки к голове и закрывает глаза.

Вэл. Не хочется произносить слово «кайф». Вкратце было так. Я начал слушать, и меня на земле не стало...

Стар *(язвительно)*. Ясно. Сразу на небеса вознёсся.

Вэл *(ничуть не смущаясь)*. Нет, оказался где-то очень далеко от совдепии, от разных заморочек – Восток, Запад. Наверное, перед появлением на земле, душа человека чувствует то же самое – любовь бесконечную, бессловесную, какое-то невесомое, райское бытие.

Стар. Особенно, если заторчать. Ведь с тобою случалось...

Стар сверлит взглядом Вэла, тот мрачнеет и отворачивается от костра.

Шапти *(возмущённо)*. Хватит монстру давить! Стар, ты циником становишься.

Стар. Не люблю гонима пустого. Вы же знаете.

Лариса. Я тоже не люблю. Но когда ты о Востоке талдычишь, ничего за собой не замечаешь.

Стар делает неопределённое движение, не поворачивая головы.

Шапти. Народ, вам не надоел этот нескончаемый бэээр? Мне уже выше крыши. Это всё ты, Стар. Всех сходу заводишь. Тормозни чуток! Или я стопанусь, и тогда надолго.

Стар. Ладно! Тогда пьём по последнему глотку, если у кого осталось. *(Вытывает и шумно произносит.)* За кайфом кайф, идут года! Всё остальное – ерунда!

Лариса *(прерывает всеобщее молчание)*. Давайте лучше стихи читать, своих любимых поэтов! Хотите? *(Встает и в последних отблесках костра обводит всех с озарённым видом.)* Вэл, начни, прочти, что любишь!

Вэл *(смутившись)*. Как-нибудь потом.

Стар *(ехидно)*. Это когда – потом? То есть, ты до упора у нас прописываешься, странник? А как же горы, старцы твои?

Вэла колет обида, он опускает глаза, не зная, что ответить.

Шакти (*Стару, возмущённо*). Ты совсем в полисы намылился или ещё нет? Что ты к нему шнуришься без конца? Это наш общий гость, а не твой. Пусть живёт в кэмпе, сколько хочет. Питерские фрэнды неизвестно, когда придут.

Шуза (*жалостливо тянет вместе с Мини*). Да-а, пусть Вэл остаётся. Найсовый бой...

Шакти (*поворачивается к Вэлу*). Мы со Старом никогда никого не отчисляли, ни в Питере, ни здесь. После своей трассы обязательно закатывайся на нашу флэтяру. Я тебя хоть на кухне пропишу, место найдётся.

Стар (*бурчит*). А мужа даже не спросила.

Шакти. Ты же первый рад будешь. Я тебя знаю.

Стар (*театрально вздыхает*). Вот! На Востоке женщина всю жизнь сидит, закрыв рот хиджабом, и смотрит в рот мужчине. А тут просто дикий Запад! М-да!

Шек (*выходит из тени и бросает в костёр окурок*). Вот потому-то и нет на твоём Востоке ни одного хиппи! Сечёшь причину?

Стар. Бред полный. На Востоке все люди, по самой своей сути, как мы. Все в душе бродяги, нищие. Там дух жизни – это дух странствия. В России тоже полно таких было – странников, монахов разных, юродивых. Ещё не так давно. Взять, например, Хармса с Введенским – это же юродивые! И приколоться умели, как никто, и расслабиться. Причём, задолго до Запада. Эропенсы долго мозги будут морщить, когда их прочтут, если ещё прочтут. Жаль, что при Сосо никому нельзя было бродяжничать. А так они после Хлебникова – наши первые олды. Извиняюсь за варварский язык.

Шакти (*влюблённо глядя на мужа*). Стар, а помнишь, одна деваха с филфака, букварь такой, шибко худенькая, нам про какого-то Добролюбова текстовала? Но не про того, а про другого?

Стар (*зажигается и поднимает палец в знак согласия*). Точно! Этот отец вообще был круче некуда. Вначале стихи писал, по тусовкам символистским крутился. Потом завязал со всей столичной лабудой, со стихоплётством и рванул в бесконечное пространство. Исчез на несколько лет. Странствовал где-то, жил среди мужиков. Веру свою им проповедовал. И так докайфовал до конца тридцатых годов. Большевиков просто не заметил. Никто, правда, не знает, где и когда он отъехал.

Мини (*удивлённо*). Это не тот, кого мы в школе проходили – «луч света»?

Стар (*смеясь*). Не путай с очкариком – шнурок во лбу, любимец партии. Тот на полвека раньше жил. А этого, вроде бы, Александром звали.

Шек (*хватается за голову*). Ну, хватит! Опять ты сарай грузишь своими хиппиами древнерусскими. Не было их, прямо тебе скажу, никогда!

Шек нервно швыряет в огонь обгоревшую палку.

Стар (*снисходительно*). Я бы рассказал тебе про Григория Сковороду, который ещё при Катьке Второй жил, но не буду воздух сотрясать. Ладно, не было, успокойся! Всё началось с Керуака, в твоих любимых Штатах. И там же кончится. А мы останемся!

Лариса (*зрломко обрывает разговор*). Мальчики, абзац! Потом когда-нибудь доспорите. А теперь настройте тишину. Я хочу прочесть вам стихи одного простого нашего гения, Тютчева.

Шек. А может не надо? Я и без снотворного легко засыпаю.

Лариса (*с обидой*). А ты хоть раз в жизни по-настоящему проснулся?

Шек не отвечает. Лариса вопросительно смотрит на Вэла. В этот момент все слышат мягкий шорох, треск мелких веток, шуршание пакетов и крик Мини.

Мини (*кричит в темноту*). Опять ты! Пси́на противная!

Вэл (*продолжает зычным басом*). Ис-кей-пни! (*Неведомый пёс с шумом бросается прочь, Мини заливается смехом*.)

Стар. Ну вот, звери приходят к погасшему огню... Пора спать.

Шек (*задумчиво смотрит в небо*). Судя по звёздам, уже часа два ночи.

Стар (*шутливо*). Мы ложимся, как обычно, а гостю предложим на выбор – либо, как истинному страннику и аскету, место в палатке, между юными девами, либо у костра, как начинающему бродячему монаху.

Вэл (*продолжая шутку*). А слабо будет всем выбраться наружу и спать под звёздами? Я, например, сходу засну без всякого спальника.



Шакти. Почему? Тебе ведь Шек свой обещал отдать.

Вэл. Мне, правда, не нужно, я привычный.

Шакти (*протягивает одеяло*). Возьми. И чехлы от спальников на землю подложи, лучше будет.

Мини (*подходит к Вэлу с одеялом*). Моё тоже возьми, на всякий случай. (*Шёпотом*). После твоего прогона я многое поняла. Ты... очень хороший. (*В темноте чуть слышен воздушный поцелуй*). Пока!

Он ощущает мягкий ожог её пальцев и почти отдёргивает руку.

Вэл (*предельно смущаясь*). Я... Мне, правда, не нужно никакого одеяла.

Стар (*язвительно*). Не выпендривайся! Девам давно ясно, что ты чувак нешуточный.

Шек (*появляется из палатки со спальником*). В одном наш странник прав: всем нам надо немного одичать, чтобы прийти в норму. Давно хотел на свежий воздух выбраться. Но спать я буду не у костра, а на ближайших камнях. Кстати, они до утра не остывают.

Шакти (*Ларисе, романтическим голосом*). Отныне Жека будет спать на скалах, как горный орёл.

Шек (*мечтательно*). Ит из э дрим. Засыпать, глядя на звёзды. Гуд найт, пипл!

Его голос удаляется во тьме. Стар заливает из чайника угли костра и последним скрывается в палатке. Вэл надевает свитер, накрывается одеялами и блаженно растягивается на земле.

Разговор седьмой. Голос восточной флейты

Густой туман поднимается от моря, клубится у скал, плывёт над палатками, повисает в листве. Вэл, завернувшись в одеяла около потухшего костра, сочно дышит во сне. Его будит сопение над ухом и мягкие шлепки лап по клеёнке. Не открывая глаз, он шикает и шевелится, отпуская собаку, слышит звук прыжков через листву, и всё стихает. Некоторое время вслушивается в пение цикад и вздохи пробоя, потом опять засыпает. И вновь просыпается от тихой возни. Над костром вьётся дымок, Лариса готовит завтрак.

Вэл (*приподнимаясь на локте, едва слышно*). Доброе утро.

Лариса (*кивает, прикладывает палец к губам и шепчет*). Тсс, ещё рано.

Вокруг лёгкими тенями таят остатки ночи. Прибрежные склоны теряются в рыжлой близине, но на горизонте уже горит море, розовеют нижние и золотятся верхние облака. Вэл сидит босой и приходит в себя, глядя вокруг. У входа в одну из палаток висит сохлый лавровый венок. Над костром шипит и роняет капли закопчённый чайник. На клеёнке фразомозится горькая грязная посуда, а посередине пестреет в стеклянной банке букетик мелких цветов.

Вэл (*шепчет Ларисе, глядя на цветы*). Ты собрала?

Лариса (*кивает и произносит одним губами*). Я иду посуду мыть. Пошли со мною, хочешь?

Вэл поднимается, подхватывает часть посуды и устремляется за Ларисой. Она уже причёсана и выглядит совсем юно. В волосы вплетён замысловатый финг из разноцветных шнурков, ковбойка и узкие джинсы сидят, как на студентке. У ручья они возобновляют разговор, споласкивая миски и кружки в ледяной воде.

Вэл (*растирая ладони*). Пальцы ломит. Ты всегда так рано встаёшь?

Лариса. Да. Пока всё убираю, завтрак готовлю, о многом успеваю подумать... Потом Евангелие читаю. Чтобы правильно день начать. (*Лариса скользит по его лицу бархатным взглядом, оживляясь*). Оставайся у нас подольше. Кстати, хочешь, вместе почитаем, а потом поговорим? (*Не дожидаясь ответа*). Подожди, я сейчас принесу!

Вэл (*неуверенно*). Я так читать никогда не пробовал.

Лариса забирает вымытую посуду и скрывается за камнями и деревьями. Вэл умывается в ручье, встаёт лицом к горам с ореолом восходящего солнца и на глубоком вздохе мысленно произносит дорожную молитву.

Лариса (*возвращается с книгой в руке и выводит его из оцепенения*). Стар уже проснулся. Пойдём к моему любимому месту, это рядом. (*Улыбается на ходу*). Ну, как, нравится тебе у нас? Базар оловый не слишком напрягает?

Вэл (*вскинул голову*). Наоборот. Я таких, как вы, ещё не встречал.

Лариса. Да, такие прогоны не везде услышишь. Со Старом дремать не приходится, особенно мне. Так и лезет в душу, на прочность проверяет. И Жека от него не отстаёт. Приходится изо всех сил упираться.

В этот момент недалеко раздаются протяжные звуки флейты. Вэл недоумённо поворачивает голову.

Вэл. Что это?

Лариса. Это Стар всех будит, к завтраку зовёт. Противный, заметил, что нас с тобою нет. Придётся возвращаться. Ладно, потом почитаем. Я должна тебе столько всего рассказать – про пустыньку под Рингой, про тамошнего старца, про одну матушку чудесную. Кучу всего.

Вэл (*с предельным удивлением*). Ты знаешь старца? Настоящего? Расскажи!

Лариса. Потом. И только тебе одному.

Она понижает голос, подходя к лагерю, где уже вовсю полыхает костёр. Стар восседает на камне, закрыв глаза, и выводит на свирели восточную мелодию, повторяя её круг за кругом, изменяя и опять возвращая к началу. Остальные молча усаживаются на полянке и застывают в созерцании. Вэл опускается вместе со всеми на землю, думает о встрече со здешними старцами. Грезится, что он сидит с кем-то из них у входа в горную пещеру, птица кружит высоко в небе, недалеко журчит ручей и утекает в нижний мир, где радость чередуется со скорбью, год проходит за годом. Жизнь движется в безысходности, течёт по кругу, как звуки флейты. Время заклиняет живущих: «Ты пребываешь во мне, пока я пребываю в тебе!». А старец только вздыхает: «Господи, помилуй!». И улыбается закрытыми глазами... Стар опускает флейту, набирает воздуха и ведёт мелодию по новому кругу. Она кажется мыслью и дыханием, ускользает в долгих переливах, прерывается, возникает, отзываясь в камнях и внезапно исчезает. Над поляной повисает тишина, едва слышно потрескивает огонь. Стар поднимает лицо, поворачивает ладони к небу и застывает в молитвенной позе. Ему следуют Шакти и Мини с Шувой. Лариса крестится и закрывает глаза. Шек, подперев рукой подбородок, продолжает неподвижно смотреть в костёр. Вэл вновь начинает безмолвную странническую молитву...

Стар (*после долгого молчания*). Оум! (*Умиротворённо обводит взглядом сидящих*). Всем небесный привет! Всех с пробуждением!

Голоса. Привет, Стар! Доброе утро! Хай!

Мини (*напевает, покачивая головой, и гордо поглядывая на Вэла*). Оум! Оум! Ауэр хоум! Ауэр хоум! Оум! Оумм...

Лариса. А мы с Вэлом без ваших мантр давно проснулись.

Стар (*поправляя жёлтую головную повязку, небрежно*). Будда, в отличие от вас и от Христа, вообще не засыпал. На санскрите Будда значит, «пробуждённый», или «бдящий», если хотите.

Он сверкает очками в сторону Ларисы и Вэла, садится на землю и тянется к чаю.

Шакти (*недовольным голосом*). Давай отложим весь бэзэр на вчера, ладно.

Вэл. Меня лично Будда не напрягает. Он за шесть веков до Христа жил.

Лариса. Меня тоже, если честно, не очень.

Вэл (*глядя на Стару, увлечённо*). Тогда и откровения были совсем другие, пробуждали людей от первобытного сна. Но после пробуждения надо было как-то жить, мыслить... Ладно, не о том сейчас речь. Ты только что на флейте Восток замечательно изображал. Но какой? Буддийский, индуистский, даосский? В твоей мелодии какая-то идея была?

Стар (*немного поколебавшись*). Отвечу тебе, старичок. Это созерцание в звуках, для преодоления потока мыслей. Я каждое утро стараюсь понемногу играть для очищения ума и для правильного дыхания. Считаю, что это свободная смесь восточных мотивов. И ты, кстати, первый, кто спросил о сути. Девы наши только тащатся от мелодии, но на Востоке слушать – значит думать, творить бессловесную молитву. (*Он шутливо указывает пальцем через костёр*). Ми, не смотри на меня так. У меня жена есть.

Вэл (*негромко перебивает*). Кстати, по-русски «внимать» когда-то означало «понимать». (*Стар кивает, поправляет очки и продолжает*.)

Стар. Восточная музыка передаёт то, что незримо, необъяснимо словами – высшие истины. Как и мандалы, впрочем. (*Вытаскивает из-за спины и протягивает Вэлу альбом*.) Полистай! Хотя, уверен, ты ничего не поймёшь. На Востоке художник или музыкант должен быть не только мастером, но и учителем, истолкователем смыслов. Мандала – образ духовного мира. Просветлённый постоянно носит его в сознании



и словно пребывает внутри священной мелодии. Для него все земные страсти, без которых эропенсы жить не могут, растворяются в едином круге бытия.

Вэл (*внимательно листая альбом*). Мандалу даже близко с иконой не поставишь. Действительно, ничего не понимаю. Какие-то чертежи духа, скелеты мысли... Крест, как духовный символ, куда глубже, мощнее. Ладно, не буду спорить. (*Продолжает неторопливо листать*.) Скажи, а ты кельтскую музыку слышал когда-нибудь? Мне довелось – тоже не пустые звуки. И на Восток очень похоже.

Шек (*встревает в разговор*). Джастли! Ауэ пилгрим меня опередил. Отец, ты, наверное, шотландскую волюнку никогда не слышал. Рядом с нею восточная флейта серьёзно тускнеет.

Лариса. И кельтские хороводы – это тоже бесконечность, тоже глубокий символ, если вдуматься.

Стар (*на секунду замолкая*). Слышал не раз. Волюнку эту по ящичку часто гоняют. Да, это древность, признаю. Но когда под неё хороводы по Европе водили, тогда ещё Запада, как такового, не было. Мозги у людей были другие. И всё равно – такая потрясающая разница с Востоком. В самих корнях уже! В Европе вечное повторение, там – постоянное становление. Начало и конец мелодии всегда условны, но и они включены в колесо сансары. Заметьте, что оно вовсе не похоже на хоровод – вращается между небом и землёй.

Лариса (*хватается за виски*). Ужасно! Всё крутится в дурной бесконечности. Добро и зло, истина и ложь, жизнь и смерть – всё сосуществует и без конца превращается одно в другое.

Стар. Ты права, Ларик, как ни странно. Но успокойся, в мире не было и никогда не будет духовного совершенствования под дурацким названием «прогресс». Ему мешает зло человеческой природы и вообще космическое зло. Называй его по-христиански дьяволом, если хочешь. Правда, есть возможность уменьшить собственное зло, улучшить карму и после телесной смерти превратиться не в червя, а в бодисатву. И в итоге достигнуть нирваны. Тогда колесо сансары для тебя размыкается.

Вэл (*иронично*). И ты достигаешь вечного небытия. Красиво, а?

Лариса (*с жаром*). А по-нашему, ада, где исчезаешь навсегда!

Стар (*спокойно и веско*). А что такое ваше православное бытие? Объясните! Буддийский саньясин достигает небытия не вообще, а по отношению к земному призрачному миру. И взамен получает иное бытие, в высших мирах.

Вэл (*горячится*). А мне это поперёк, поскольку обратной связи миров в буддизме нет. Бесконечные обновления равносильны непрестанным разрушениям, умираниям заживо. Все высшие миры, в конце концов, поглощаются чёрной дырой нирваны, то есть абсолютным небытием. В цепи перерождений всё перемальывается в вечную пустоту.

Стар. Которая равна вечной полноте!

Вэл (*с жаром*). Значит, тьма равна свету, ложь истине, смерть жизни и так далее?! То есть, всё взаимопревращается, и нирвана означает хаос?! И майя есть отражение нирваны?!

Стар (*недовольно*). Чуть говоришь. Но объяснять будет слишком долго. Лучше скажи, как христианский рай связан с земной жизнью? Никак!

Лариса. Неправда! Связан через церковь. Церковь любящих душ – это прообраз рая на земле.

Лариса оставляет недопитый чай и, видно, готовится к серьёзной битве.

Стар. Это какая-то церковь? С попами-гэбистами во главе и стадом тупых старух?

Шакти. Стар, уши вянут... Прости, но вы с Шеком, как попугаи, уже второй день друг друга повторяете: церковь – гэбэ. (*Кивает в его сторону*.) Гэбисты и в буддийских дацанах есть. Совок для всех один. Фефёлой не прикидывайся, ладно!

Стар. Ну, пусть. Не в этом суть. Соглашусь даже, что после Гулага уцелела горстка православных отцов, которых Вэл собирается где-то в дзешних горах искать. (*Взглядывает на Шакти, которая знаками умоляет его остановиться*.) Но где эти любящие христианские души – образ рая на земле? В молодости я как-то зашёл в питерскую Лавру. Там меня безумные старухи и бородатые мужики едва не замочили. То ли из-за брюк-дудочек, то ли из-за жёлтых ботинок на микропоре. Я тогда стилигой был, как и все мои друзья, включая Катю – будущую Шакти.

Шакти. Ты же говорил, что спиной к алтарю встал, и с этого всё началось.

Стар. Ну, на минуту отвернулся, хотел росписи над входом рассмотреть. Гадостью оказались, но надо было в этом убедиться.

Лариса. Попробовал бы ты у буддистов в храме повертеться во время службы. Помнишь, мы у них под Читой были? Как ты там млеял.



Вэл (*пристально смотрит на Стара*). А почему ты говоришь, что эти тамошние росписи гадость?

Шек (*смеясь*). Я знаю. Потому что они написаны в западном стиле.

Стар. Хуже – в антирелигиозном! Если бы я был православным, тут же, глядя на те стены, навсегда потерял бы веру. Запад туп в религиозном отношении. Византийская плоская икона – как художник вам говорю! – несравнимо ближе к буддийским мандалам, индуистским лубкам, даосским пейзажам, дзенским гравюрам. То есть, ближе к истине, если хотите.

Шек (*Стару, ехидно*). Ещё пару рывков, и ты православным заделаешься.

Шакти. Стоп, фильтруй базар! От вас уже костёр тухнет. (*С досадой смотрит на говорящих.*) Вернитесь с небес в наш кэмп. Мы уже почти на нулях, который день в Сухум мылимся. Надо срочно или туда или в ближний аул грести.

Стар. Сегодня лучше в аул, а в Сухум завтра.

Лариса. В округе еды не достать, вы же знаете.

Шакти. Ну, хотя бы за вайном сходить, а там как повезёт. Заодно все остатки доедим, чтобы не затухли. Кто пойдёт?

Шек. Я скамаю, не привыкать.

Шакти. Вэл, может быть, ты Шеку хэлп сделаешь?

Вэл (*встает с земли*). Ноу проблемз.

Стар (*допивая чай*). А у тебя на пару сухарей бабки есть?

Вэл. Как-нибудь наскребу.

Стар (*с усмешкой*). Придётся подкинуть студню. Шакти, возьми чирик в моём ксивнике!

Вэл. Ни к чему, обойдусь.

Шек (*залпом допивает чай и поднимается*). Тогда – форвэд!

Шакти. А все гёрлы пойдут на море. Искупаемся и позагораем без лишних дрессов.

Мини (*лукаво взглядывает на Вэла*). И без лишних айзов.

Стар. А я останусь стоянку сторожить. Немного почитаю в тишине.

Шек (*протягивает Вэлу две авоськи с пустыми бутылками*). Осторожней с хрусталем! Склон тут крутоват, с непривычки шею сломать можно.

Сам он надевает на голую спину рюкзак, берёт в обе руки полиэтиленовые пакеты набитые стеклянными банками, жестянками из-под консервов, пёстрым пластмассовым мусором и двигается вверх по тропе. Вэл идёт следом.

Разговор восьмой. По дороге в село и обратно

Шек и Вэл зигзагами поднимаются на обочину нижней полузаброшенной дороги. Она усеяна мелкими камнями, сухими быльками навоза. Между кусками раскрошившегося асфальта и наплывами окаменевшей серой глины растёт трава.

Шек (*задыхаясь*). Что подъём, что спуск здесь крайне жестокие... Но это и спасает. Никакие фраера... турьё к нам на голову... не падают. Они нас сверху просто не видят, только дым... А низом никто не ходит. Если не считать самых отвязных бродяг вроде тебя. По берегу в обе стороны камни непроходимые, ноги обломаешь...

Вэл (*усмехается*). Знаю, испытал.

Шек. Джоржам смысла нет в наш кэмп переться. Рапен гёрлз они в Сухуми ездят снимать. Там на пляжах полно чувих-одинок... Их и на каре можно покатать и по разным гадюшникам потаскать – накормить напоить. А тут... полный облом.

Шек смолкает, хватается за бок и медленно, жмуро идёт вперёд. Некоторое время они бредут по петляющей дороге, не говоря ни слова. На каменистых откосах греются ящерицы, дрожат в жарком мареве пучки засохшей травы, стелется терновник, тянутся заросли кустов с мелкими колючками. Далеко вверху надсадно ревет грузовик. Скрипя тормозами, им навстречу из-за поворота внезапно выезжает пара мотоциклов с выключенными моторами, на них – два загорелых парня без маек, с огромными рюкзаками. Радостно матерясь, они проносятся мимо, будто никого не заметив.

Шек (*раздражённо*). Вот фуфло!



Он мотаёт головой и вновь принимается молча, медленно шагать. Вэл чувствует растущую неловкость и пытается измыслить какой-то разговор.

Вэл (*самым дружеским тоном*). Далеко ещё нам?

Шек. С полчаса. И всё в гору. (*Хмуро продолжает, мимо Вэла*.) Мне всё равно, ты мою жену охмуряешь или она тебя... Раз ты здесь, скажи ей, чтобы... не доставала меня с православием. Сарай ломится, не выдерживает...

Вэл (*удивлённо*). Скажу, конечно, если сам не хочешь. Я, кстати, ни к кому ни с чем не лезу. И вообще, засиживаться у вас не собираюсь.

Шек. О'кей!

Вэл. Но и скрывать ничего не хочу.

Шек, не отвечая и часто отдуваясь, продолжает подниматься. Вэл молча следует сзади. Обливаясь потом, они выходят на прибрежную дорогу. За ней начинаются виноградники и кукурузные поля, недалеко, среди садов виднеется деревня, а ещё выше открываются вершины дальних гор. У ближайшего дома Шек останавливается и несколько раз стучит в дверь под самодельной надписью на куске крашеной жести в деревянной рамке – «Магазин» и крупной грузинской вязью повыше. На стук из двора с лаем и рыком выскакивают несколько разномастных собак, за ними ковыляет щенок, но больше ничего не происходит.

Шек. Так! Значит, надо со двора. (*Он оставляет пакеты с мусором у ворот, вынимает из рюкзака пустую пластмассовую канистру и оборачивается к Вэлу*.) Давай хрусталь! Дальше я один пойду. Доги тут зверские, но меня уже знают, а тебе лучше стоять тихо и никуда не соваться.

С этими словами, подцепив пальцами канистру и фуюкая на лающих собак, Шек с сетками в руках бесстрашно скрывается во дворе. Псины следуют за ним, яростными кругами носясь в пыли у самых ног. Под магазин приспособлен обычный жилой дом. На один этаж он сложен из слоистого желтоватого камня, выше идёт увитый виноградом балкон и деревянная надстройка под горящей на солнце оцинкованной крышей. Со двора доносится грубый гортанный окрик. Собачий лай немного стихает и сменяется приветственными голосами и разговором, пропадающим в глубине дома. Осёл, привязанный к ближнему дереву, долго, удивлённо смотрит на волосатого и бородатого пришельца. Вэл, в свою очередь, разглядывает стоящий рядом старый «Москвич», заваленный кочанами капусты, корзинами с луком, ящиками яблок и зелёного перца. Минут через пятнадцать Шек возвращается и победоносно поднимает вверх два пальца. За ним, глухо ворча, бегут собаки и кубарем выкатывается щенок.

Шек. Двинули. (*Протягивает Вэлу канистру, его глаза поблескивают от свежеевыпитого вина*.) Держи! Два литра найсового рэда.

Вэл. Как тебе удалось?

Шек. Легко. Я уж года три с Нико знаком. И с его догами.

Вэл. Это и есть ваш обменный пункт?

Шек. Он самый.

Вэл. Неплохой экскейндж вы тут устроили. Кстати, сколько с меня?

Шек (*благодушно*). Давай ванок... А Нико это тоже выгодно. Он в Сухуми на базаре в разлив торгует, в нашем хрустале вайн приезжим толкает.

Вэл (*протягивая рубль*). А как же магазин?

Шек (*умехается*). Это вход для полнсов, для рашен туристз вроде нас и всяких начальников. А для своих всё идёт через двор, по-свойски. И по рыночным ценам.

Вэл. То есть?

Шек. Тут в лабазе на ценниках копейки указаны. А в Грузии только бумажные деньги ходят, мелочь – для детей энд фо поор мен фром Рапа.

Вэл. Понятно. А что с едой?

Шек. Так себе. (*Морщится и показывает на рюкзак за спиной*). Лашии и лука у нас теперь на неделю. Каравай хлеба продал, спички. А сахар, картошку опять зажал.

Вэл. У него же в машине полно всего. Ты видел?

Шек (*уныло хмыкает*). Нэчурли. Тут всё, как везде в совке, по своим расходится. Ладно, пусть хавают. Перебьёмся.

Теперь они легко идут под гору. Шек насвистывает какой-то блюз, и Вэл решает его распросить.

Вэл. Шек, это для понта у Стара такие заходы – заменять иностранные слова русскими?

Шек. Я же говорил, он сначала на Хлебникове шизанулся, потом на Востоке запал. Начитался разных книжек и теперь мозги всем переделывает. Забыл, что дзен-буддизм, индуизм, флейты, мантры – в нашу систему западные хиппи принесли, причём, уже давно. Нечего Америку открывать! Или, тем более, закрывать.

Вэл. Ну да, это ещё от битников пошло. (*Иронично.*) А ты, ясно дело, упираешься за правду, то есть за феню пипловую и за англосаксов.

Шек. Йес. Хотя бы потому, что у них полная свобода. Кстати на Западе, а не в совке и не на Востоке «Битльз» появились, рок-музыка... На пипловый сленг мне начхать. Это у меня как смоук – привык и всё. И вообще я живу, как мне лаваётся.

Вэл. Понятно. Но каляк у Стара забавный, надо признать. Мне, как филологу, интересно.

Шек. Что тут интересного? Языков реальных надо больше знать, а не лапти сосать.

Вэл (*невозмутимо*). Ты, конечно, прав. Но когда я засыпал, тоже подумал, почему мы называем друг друга «пиплами»? Почему не сказать «вольники», «вольнарод»? Это что-то своё будет. И смысла больше.

Шек. Так. И ты крезанулся!

Вэл. Зис из литл джоук. (*Ловит прострельный взгляд Шека и смеётся.*) Шек, зачем такой напряг? Хипповый сленг не деревянный. Язык и мозги никому не окантуешь. Все речетворцы, вольнолюбы от Хлебникова пошли. Каждый думает и говорит, как хочет.

Шек не отвечая, останавливается, вынимает пачку «Явы» и протягивает Вэлу сигарету.

Шек. У тебя чик-фаер есть?

Вэл (*не понимая*). Зажигалка, что ли?

Шек. Ну да.

Вэл. Спички в бэге остались. А вообще... я с дымом уже завязал, сори!

Шек молча сует сигареты в карман и продолжает путь словно в одиночестве, отрешённо смотрит на голубую крамку моря и насвистывает. Вэл узнаёт флоридовскую «Julia Dream».

Вэл (*после минутного молчания возобновляет разговор*). Знаешь, мне с тобою легче, чем со Старом. Я таких, как он, ещё не встречал – до упора задвинутых на Западе, но как бы задом наперёд. Чтобы любить Восток, необязательно Европу и Россию ниже коврика опускать. Она тысячу лет была частью христианского мира. Нет, скажем так, – была зелёным пригородом каменного Запада, где можно на природе погулять, подумать, из безумной жизни выпасть на время... Кончится ведь когда-нибудь этот маразм совковый. Не может же человек хоть раз в жизни не задуматься о Боге.

Шек. Ты это к чему? (*Пристально смотрит на Вэла.*) Понятно... Тогда у меня вопрос. Если Бог – высшее совершенство, почему мир получился таким убогим?

Вэл. Изначально мир был совершенным... (*Замедляя слова.*) Автор мироздания не меньше нас терпит это убожество. Во имя нашей же свободы. Потому что мир, где человеку не дана свобода, не может быть совершенным.

Шек. Допустим. Но откуда вокруг всё это гнильё взялось?

Вэл. Откуда? Да потому, что люди так и не достигли уровня людей. Человечность предполагает любовь. Чтобы жить не как в стае. Голый ум, без сердца и совести, когда-нибудь всех погубит, на земле останутся лишь насекомые... Вчера Шакти вдруг спьяну крикнула, – ты слышал? – любовь выше свободы. Я поразился. Ит из абсолют труф. Согласен?

Шек (*резко*). Оф корс, нот! Для меня любовь и свобода – одно и то же.

Вэл. В идеале. Но в жизни, в семье, часто всё иначе. Потому что мы не ангелы, а люди. Жаждем свободы, но не от своих страстей... Кстати, суть человека в его речи отражается. Русский язык куда сильнее и свободнее нас, даже Гулаг не смог его раздавить. Дышит, как хочет, всему открыт. Смотри, пипловый сленг – это какой-то невероятный сплав. Он ведь не только на инглише замешан, в нём полно всего – и от бывших зэков, и от просторечия, и от разных говоров, и от церковных слов. Это речь свободных людей. Сама собой возникла, на глазах меняется. И дальше будет развиваться.



Шек (*неохотно*). Не знаю... Но Бог здесь не при чём. (*Хмыкает и неожиданно спрашивает, не глядя на Вэла*) Ты где учишься? На филфаке?
Вэл. Да, в универе московском, на русской филологии.
Шек. Ну, тогда ол из андэрстуд.
Вэл. То есть?
Шек. Замес твой ясен. На инглише ты немного спикаешь, но каляк у тебя всё же не пипловый. Ладно, о'кей! (*Шек смягчается и кислогато хмыкает*). Только давай впредь без понтов и задвигов церковных! Эгри?
Вэл (*с невинной улыбкой*). О'кей!

Они молча проходят остаток пути. Лишь перед спуском к лагерю Шек останавливается, взглядывая на Вэла.

Шек. Так ты на сколько у нас прописаться хочешь?
Вэл (*колеблясь*). Дня на два. Если я никому не мешаю...
Шек. Брось, все довольны. Гёрлы сразу тебя срисовали. Было бы что шамать. Завтра надо в Сухуми за едой двигать, давай вместе?
Вэл (*с нажимом на английский, иронично*). Виз май плажа, если доживу.
Шек. Что ты как старуха? Доживу – не доживу...
Вэл (*усмехается*). Я не о том. На месте не сидится, хотя у вас и кайфово. Я ведь нигде ещё не был. Вчера первый раз в жизни и горы и море здешнее увидел! До сих пор всё в голове дымится. Ещё бы разок испкупаться, позагорать, а потом – в горы. Нау из зе бэст тайм.
Шек (*с довольной усмешкой*). Ладно! Спустимся в кэмп и втроём со Старом сходу сделаем грейт липп на море. Не одним же нашим гёрлз загорать и плавать ин зе ньюд.
Вэл (*удивлённо смотрит на Шека*). А у вас так?
Шек. Ну да. Мы пойдём на пляж, а они пока обед приготавливают.

Шек спускается вниз с обочины по едва видимой тропке. За ним, отступая на осыпях и цепляясь за всё, что можно, двигается Вэл.

Шек (*кричит снизу*). Смотри, хребет не сломай, у нас тут круто! Ноу джокинг!

Разговор девятый. Краткое толкование Упанишад

Обед уже готов, все сидят у костра с дымящимися мисками. Шек сходу тянется за едой.

Шек (*глядя на Вэла*). Заплыв в море откладывается из-за обеда на час-другой, но Стар согласен. Правда, сансэй?

Стар насмешливо хмурит брови и кивает. Лариса усаживает Вэла рядом с собой.

Лариса. Быстрей включайся! Еды немного, а аппетит у всех зверский. Бери миску.
Стар (*с благодушной иронией*). И крухан. Незнакомец принёс вина и еды к костру, и племя признаёт его своим. Теперь у тебя есть здешняя прописка и право на свободную жизнь с новыми друзьями.
Вэл (*тем же тоном*). Спасибо, что ты меня узаконил. Но я не покупал, только доплатил немного. Шека благодарите.
Стар. Не важно, ты ведь принёс. Ну, каких старцев ты встретил по пути?
Лариса (*облизывает ложку, готовясь стукнуть Стару по лбу*). Твой базл достал. Ты когда-нибудь расслабишься? Все давно поняли, что единственный старец – это ты и только ты! Доволен?
Мини (*не обращая внимания*). А мы ещё вчера Вэла прописали. Разве не так?
Стар. Но это было на одну ночь, а теперь он может жить с нами, сколько хочет. (*Тянется кружкой к Вэлу, за ним остальные*). За нашу стоянку!
Несколько голосов (*кричат Вэлу*). И за тебя!
Шек (*многозначительно*). И за твою дальнейшую трассу.

Вэл с улыбкой потрясает кружкой в воздухе, но не находит, что ответить.



Мини (*нетерпеливо*). А потом глоток за всех нас.

Шек (*снижает ноту*). И съедем за всех по ложке каши. Потом другую, третью...

Лариса (*со смехом*). Это плов, чукча, миленький! Из остатков риса, моркови и лука.

Стар. И с местной травой. Я тоже собирал – по питерским магазинам!

Вэл (*добродушно смеётся*). Вы же без травки живёте.

Шакти. Это хмели-сунели. Мы пакетик из дома захватили.

Лариса. В лес дрова привезли.

Шек (*цмокает языком*). А вкусно. Хайлайт.

Стар (*сверкает на него очками и делает грозное лицо*). Не порти обед варварскими выражениями!

Шек (*вперяясь страшным взглядом в Стара, начинает окать*). Ну, тогда крутота. Ежели по-расейски путём сказать.

Вэл (*охотно продолжает, но без оканья*). Она же клевета.

Лариса. Улёт.

Шуза (*прыскает в кулак*). Убой.

Мини (*звонко*). Чума!

Шакти (*ухмыляется, глядя вокруг*). Отпад.

Стар (*довольно*). Проще, полный балдёж. И всё по-русски. Шек, дорогой, секи на будущее!

Шек (*отодвигает миску, очумело вертит головой и навзничь падает на землю*). О, великий и могучий, ясен пень! Финиш, больше не могу.

Лариса (*удивлённо*). Неужели объелся? Ты же среди нас на живот самый мощный. Дерево перевариваешь.

Шек. Я о другом. Крезовоз сюда не проедет, а мне слабо от клинов вас лечить.

Шакти (*командует голосом Стара*). Тогда, днэ докта, разливай твой медикамент!

Раздаётся общий смех.

Шек. Разве вас этим вылечить? (*Притворно ворчит, приподнимая канистру*.)

Шакти. Надежда всегда есть. Надо только не прерывать курс лечения.

Лариса (*с нажимом*). И слушать лечащего врача!

Шек. Тогда предлагаю главное лекарство отложить на вечер, а сейчас принять другое – джорджиан грин ти... с остатками сухарей по прозвищу «бискуит».

Стар. Народ, плесните мне чаю, а я сейчас кое-что принесу.

Он скрывается в палатке и возвращается к костру с книгой в руках.

Шек (*уныло*). Опять ликбез.

Стар (*садится на камень и раскрывает книгу*). Согласитесь, вместе услышать и понять хоть одну великую истину лучше, чем по утрам тайком Евангелие читать, как Ларик.

Шакти. А почему тебя это колеблет? Ты сам без конца читаешь – то индусов, то китайцев.

Лариса. Ты меня вынудил. Давно собиралась сказать, что твой «Джатаки» – бред полный! Это даже не для детей... Будда благословенный явил миру сверхчеловеческую любовь и скормил себя голодной тигрице, чтобы спасти от смерти её тигрят. Святой отдал нищему слепцу оба глаза и ослеп вместо него. Ещё один святой скормил себя людоеду или что-то в этом роде. Что на это скажешь, учитель?

Стар (*мгновенно распалаясь*). А твой Христос целое стадо бедных свиней ни за что погубил. Хотя в Библии сказано: «Не убий!». Это ведь буддийская заповедь, а не христианская! О чём Толстой и кричал во весь голос!

Вэл (*с азартом*). Свињи в Евангелии – образ людских грехов, как черепа вокруг головы у бодисатв. А вот буддийское «не убий!» означает для человека «умри!» – не борись против зла и как можно скорее покинь зловонную землю. Тогда переродишься в святого.

Лариса. Именно! Всё это бесчеловечно и просто глупо. Понял, наконец? Молчи больше, если живёшь, как все. Ешь, пьешь и так далее.

Стар. «И так далее» с законной женой. (*Ловит протрельный взгляд Шакти и тафает глаза в ответ, иронично продолжает*.) Готов немедленно выпить за наших женщин, но в полдень трудно. Только у них в душе всё примиряется – Восток, Запад, Россия...

Лариса (*упрямо*). Нет, не всё! Не говори вздора! Для тебя мы, как амёбы, да?

Стар. Извини, но вчера ты так говорила. Ладно... (*Снисходительно машет рукой*.) Согласен, «Джатаки» – не-



много лубочная книга, для недалёких. Такие в любой религии есть. А теперь послушайте слова истинной мудрости. Я целый год выписывал отрывки из Упанишад. Вы всё равно никогда этих книг не прочтёте, хотя это великие откровения древности. Грамотные могут молча отдыхать, а потом задавать глупые вопросы.

Лариса. А умные, наставник? *(Лукаво склоняет голову.)*

Стар *(не моргнув глазами).* Если потянешь на умный вопрос, буду искренне рад. Начну с того, что недавно натолкнулся на потрясающие высказывания в одной из Упанишад. Само это название означает «познавать рядом с учителем» или что-то в этом роде... Там все замечательно, но этот отрывок – просто блеск. *(Поднимает указательный палец.)*

Шек *(откидывается навзничь).* Я отключаюсь.

Шакти. Тебя потом включить или сам сумеешь?

Шек. Сам. Ай эм эбсент. Валяй, Стар. *(Зевает, закрывает глаза и замирает на земле.)*

Стар. Ладно, уговорил. Теперь слушайте. Вот к чему зовёт «Брихадараньяка-упанишада». *(Открывает заложённую страницу и размеренно читает.)* «Оум! Ум, помни совершенное, помни! Ум, помни совершенное, помни!.. Поистине, жизненное дыхание – больше, чем надежда... Жизнь движется благодаря дыханию». *(Поясняет.)* Дыхание – это брахман, основа всего, понимаете? Потом идёт мысль, которая поразила меня навсегда: «Поистине, бесконечное – счастье. Нет счастья в малом, лишь бесконечное – счастье... Где не видят ничего другого, не познают ничего другого – это бесконечное. Где же видят другое, слышат другое, познают другое – это малое. Поистине, бесконечное – это бессмертное, малое же – это смертное». *(Останавливается, испытующе смотрит на Вэла.)* Прочту ещё отрывок из «Субала-упанишады», сутобо для нашего странника: «Узнав великое состояние, да обитает он у подножия дерева. Покрытый рубищем, без спутников, одинокий, сосредоточенный, стремящийся к Атману, достигший желанного, свободный от желаний, с угасшими желаниями... Да пребывает он в истине, ибо истина – это Атман». *(Замолкает, обводит глазами лужайку, картинно закрывает толстую тетрадь в чёрной обложке, опускает веки и отчётливо произносит по памяти.)* «Мудрый, изучив по книгам сущность высшего знания и мирского понимания, оставляет полностью книги, как ищущий зёрна – солому». Так учит «Брахмабинда-упанишада». На этом закончим. Оум!

Мини, Шакти. Оум! Оумм...

Шек *(прерывая спор).* Мне вдруг Вэла жалко стало. А дальше-то что ему делать? Ни почитать, ни поговорить, ни попеть, ни выпить. Превратиться в живую мумию и, сидя под деревом, созерцать в себе бесконечность? Ближе к смерти – ближе к цели. Так что ли?

Стар. Нет никакой смерти, на самом деле. Есть переход души в другую оболочку. О чём глаголешь, старик? Однажды тебе надоест, и ты уйдёшь из своего тела, как через минуту уйдёшь с этой лужайки.

Шек. Но сюда я тут же смогу вернуться. Здесь мне кайфово.

Стар. Прости, про настоящий кайф ты ничего не знаешь. А я лишь догадываюсь, где и как его искать.

Лариса. Уж конечно! Твои индусы всем объяснят, что такое радость и как стать счастливым.

Стар. На Востоке нет понятия «счастье», как об этом талдычат у нас и на Западе. Зато есть праздник. Причем, праздник на Востоке – священный обряд, в котором смешаны многие чувства, включая радость, гнев, любовь, благоговение, страх.

Шакти. Я бы сказала, счастье мало общего имеет с радостью. Радость – это нечто другое: простое, человеческое, доступное, мимолётное.

Стар. Что другое? Повторяю, радость и у животных есть, а счастье – пустое слово. Или пустая мечта – у каждого своя.

Вэл *(машет фразу двумя руками, пытаясь остановить спор).* Спасибо, Стар, что эти отрывки прочёл! Я просто изумлён. Такой порыв к Богу, дух захватывает! Для меня познание высшего «я», которое индусы называют «Атманом», – это начало пути к откровению, ко Христу. Согласен, божественная бесконечность несравнимо выше её отражения в уме человека, даже самого великого. Тут не о чем спорить. И ещё... Мне тоже кажется, что искать счастье бессмысленно. Человеку свободы следует искать только вечное, как в эпоху Упанишад.

Шек *(кричит).* Ю ток нонсенс! Я пизею от твоих глюков. Вэл, мы же договорились...

Мини *(перебивает и тоже кричит в сторону Вэла).* Нет ничего вечного! Мы не в небе живём, а на земле. Любовь, счастье – всё проходит без следа. Здесь кроме кайфа и искать-то нечего.

Вэл *(с силой).* А истинная любовь, а восторг? Кажется, Фет сказал: вечное – это ещё и человеческое.

Шакти *(поправляет).* «То, что вечно – человечесно».

Вэл. Именно. Кайф что-то коротит в мозгу, даёт вспышку удовольствия и всё. Только печень портится и мозги плавятся. А восторг переворачивает жизнь, меняет судьбу! Он выше разума, сильнее всех чувств вместе взятых – жажды плоти и страха смерти. Мы привыкли говорить о счастье, но оно – лишь эхо

однажды пережитого восторга. Счастье – продолжение в душе неповторимого! У кого не было этих мгновений, нет представления о счастье. А у кого были, не сможет их выразить.

Спор на миг затихает.

Стар. То есть, ты всё это испытал, но выразить не можешь. Ловко.

Мини (*перебивает*). Не в этом дело. Настоящий восторг, как и счастье, может быть только в любви – в конкретной, реальной...

Шек. Чтобы чилдрэн рождались, йес?

Мини (*продолжает с досадой*). ...и больше нигде! Всё остальное от пиizzy наворочено.

Вэл. Да... В любви. Но в такой, которая больше нас, не кончается вместе со страстью, не дряхлеет вместе с телом. Только такая любовь ведёт – к восторгу, к истокам жизни. (*Понижив голос*) К Богу ведёт. Птица создана не для клетки, восхищение – выше разума и плоти!

Стар (*резко, указывая пальцем на Вэла*). Пустой трындёж. Может, хватит? Никто из нас не пережил сатори, а значит, не испытал восторга. И ты тоже. Так что, давай, помолчим.

Шек. Странник наш опять расписал слащу несусветную. Ты первый такого кайфа не выдержишь – хэд заклинит.

Вэл. Если не выдержу, значит, кончилась юность. Вот и всё. (*Вздыхает*.) Начнётся тошнотная жизнь в рублёвой зоне, почти как у эков. По выходным балдёж фуфловый с парой оставшихся фрэндов, шмотки, хауз, халаты, чтобы организм починить, и так далее. Ненавижу заранее. Пока молод, надо до предела за-пасть от чего-то великого! Съехать на музыке, свихнуться на искусстве, обезуметь от красоты! С ума сойти во имя божье! Вот – путь к восторгу. Мы для него рождены, а не для одних лишь страданий.

Мини, Шуза (*кричат одновременно*). Ура! Креза затит!

Шек. Абзац, я пиizeю! Не смейши. Все мы медленно умираем – с детства. И ловим кайф, чтобы не за-кексовать. Этих твоих глюков по жизни не бывает, только в навороченных книгах.

Стар (*встревает*). В которых чуваки попугаями повторяют и перевирают откровения горстки отшельников, вроде тибетского Миларепы.

Вэл. Пусть. Если хоть один человек испытал восторг, значит, он возможен. Не знаю, какой ценой... Но чтобы его достичь, нужно для начала этого захотеть! Осмелиться! Захотеть высшего, а не заморачиваться с покупным кайфом, с разными гумозными подделками.

Шек. Ладно, с Вэлом всё понятно. (*Усмехается и хлопает его по плечу*.) Отныне покупного кайфа мы тебя лишаем. Нам больше достанется. Так, что у нас дальше? Море? План такой. Все, кроме наших вумэн, резко спускаются к морю, плавают и загорают до изнеможения в костюмах блаженного Адама. Эз вэри либерти бойз. Остальные тоже свободны – до общего ужина на закате солнца.

Лариса (*будто не слышит Шека*). А я совершенно с Вэлом согласна. Умничка. (*Посылает ему воздушный поцелуй*.) Но сейчас меня другое интересует. Если вы слиняете, кто нам будет помогать ужин готовить? И из чего?

Стар. Вечный бабский вопрос. Никто! Вы-то зачем? И готовить надо из всего, что ещё можно есть. Мы же не хавать сюда приехали. В ауле с едой обломилось, но у нас, я видел, крупы какой-то полпакета осталось. Завтра с утра смотаемся в Сухуми, а сегодня как-нибудь перебьёмся.

Шек (*обращаясь ко всем*). На Востоке так – немного послушают учителя, а потом пашут на него целыми днями. А то и годами. Иногда всю оставшуюся жизнь.

Мини. Неплохой задвиг про учителя. А смысл в чём, Стар?

Стар. Начинается... Повторяю, учитель воплощает собою истинную жизнь. Служить ему – это радость, которая редко кому выпадает. Как написано в «Майтри-упанишаде», он – «образ света, не знающего сна, лишённого старости, смерти и печали». Я не собираюсь быть твоим учителем, хотя бы потому, что по-спать люблю. Но всё-таки, Ми, когда я причучу тебя к размышлениям о смысле жизни? Правда, единого смысла нет, каждый отец учит по-своему...

Лариса (*не выдерживает*). Это для тебя нет, а для других есть. Правда, Вэл?

Стар (*недоволен*). Опять разговор до полуночи. Нет уж. (*Обращаясь к Вэлу*.) Старик, ты идёшь на море?

Вэл (*медлит с ответом*). Вообще-то я хотел бы пойти свой крест поискать. Это недалеко отсюда, за рекой, около больших скал. Я помню место, где мог его потерять. (*Машет рукой куда-то в сторону*.) А как только найду... или не найду, сразу к вам присоединюсь.

Шек (*вздыхает и вертит пальцем у виска*). Вероятность нулевая, если мозги слегка напрячь. Ну, иди, пици! Против крезы не погрёшь.



Стар. Атман всегда свободен. Шек, двинули вдвоём! Он нас через час на берегу встретит.

Лариса. Ты уверен, что его нужно искать? Ведь, в самом деле, шансов нет. Если хочешь, завтра в Сухуми другой себе купишь, в той самой церкви, где вчера был. Нет, я сама куплю, тебе в подарок.

Мини (*неожиданно*). А мы хотим с Вэлом пойти. Поищем вместе. По крайней мере, прогуляемся. В той стороне мы ещё не были.

Шуза (*просительным голосом*). Да, пошли вместе, Вэл! И тебе не будет скучно пилить. Мы только дрессы сменим. (*Не дожидаясь ответа, скрываются в палатке*).

Мини (*кричит изнутри*). Холд он э моумент!

Вэл (*растерянно*). Ну, если хотите. (*Пожимает плечами и виновато улыбается Ларисе, потом Шакти*.) Там, в самом деле, красиво.

Лариса (*невозмутимо*). Идите, конечно. Мы и вдвоём справимся.

Шакти. Да, потом нам расскажете. Может, и мы туда на днях двинем.

Девушки одна за другой появляются из палатки и уходят вместе с Вэлом.

Лариса (*изумлённо смотрит вслед и качает головой*). Ну, наши гёрлы и прикинулись. Оцени!

Шакти (*окружая глаза*). Да-а, у юнгов теперь задвижки куда круче, чем у нас были!

У моря: сила боли

От скал и от зелени исходил томительный жар. Над головой плыли влажные тягучие запахи и стрёкот кузнечиков. Сквозь листву сочились горячая синева и, стекая вниз, темнела и разливалась до горизонта.

Разумеется, они говорили ни о чём, едва замечали дорогу, переглядывались и беспричинно смеялись. Шуза, к немалому удивлению Вэла, оказалась в шортах цвета хаки, чуть надрезанных на бёдрах, и светлой сорочке без пуговиц и рукавов. Мини неспешно вышагивала в неизменных коротких джинсах с весёлой бахромой и светлой футболке на голое тело, как он тут же догадался – её маленькая грудь трепетала при каждом движении. Он снял майку, обливался потом и шёл, упорно отставая. Тело горело, но, казалось, солнечный жар пёк его изнутри. А Мини, как нарочно, то и дело оборачивалась, словно показывая свою точёную фигурку, что-то говорила, улыбалась, взмахивала медно-золотыми волосами. Вэл отводил взгляд, тёр горячий лоб и отчаянно жалел, что согласился идти вместе с ними. Чтобы овладеть собой, прошёл вперёд, обогнув обломок скалы с другой стороны, и затеял пустяшный разговор с Шузой. Чувства и во-ображение отдыхали на этой чудаковатой дурнушке с затаённой грустью в юрких голубых глазах. Со спокойным дружелюбием он посматривал на её смуглое лицо, короткие прямые волосы, крепкий торс с плечами пловчихи и круглые глиняные ноги.

– Шуза, нэйм у тебя прикольный. Кто тебя так наградил? Давай руку! – обернулся он к ней, перешагивая через камень.

– Обойдусь, – усмехнулась та. – Меня на тусовках так прозвали, ещё на первом курсе. За разные приколы.

– То есть?

– Я тогда на спорте заворачивалась, диск метала. Ну и дэнс давила от души. Всё балдели.

– Её не за дэнс так прозвали, – включилась в разговор Мини. – Она с виду тихая, а может и защемить.

Только тронь, такую шизу отмочит...

– Да, при случае могу и фейсануть какого-нибудь дауна! – выпалила Шуза и колко прищурилась.

– Уже заметил, – Вэл весело поёжился. – А я думал, тебя так кликнули из-за любви к шузам понтовым.

Он выразительно глянул на её затрёпанные сандалии, и все рассмеялись. Они вышли на каменистый берег и теперь шли рядом, скрежеща мокрой галькой и уворачиваясь от волн.

– С тобой не соскучишься, – Шуза улыбнулась ему и тут же смутилась.

– С тобой тоже. Только стрёмно. Зафигачишь в ухо, если что не так.

– Если будешь доставать со стёбом... – она хмыкнула, в глазах её мелькнуло подобие скрытой ласки. – Но тебе вроде не грозит. К тому же теперь ты в нашей тусовке прописан.

– Форэвер, – Мини лукаво глянула.

– А где ты букваришь? – Вэл сделал вид, что не слышал.

– Мы обе на биофаке учимся, в питерском универе.

– Выбор чёткий – подальше от городских помоек... – он помедлил. – Мини, а тебя кто так прозвал?

Она в упор польхнула серебристо-серыми глазами:

– Само прилипло, тоже на первом курсе. Я самая молодая в тусовке была. Ты лучше про себя скажи.

– Я вчера уже рассказал.

Шуза прищурилась, глядя на Вэла:

– Глючно, что ты на православии так заворачиваешься. Ты это для понта или всерьёз?

– Неужели не поняла? Я уже двоих знакомых похоронил. Между верой и смертью не выбирают...

– В Питере у нас, я слышала, тоже несколько пиплов сторчалось, – Мини сбавила голос. – А одна гёрла, на год старше меня, этой весной кинулась.

– После химчистки, – хмуро добавила Шуза. – Один ублюдок её опустил.

Волна ухнула, разлетелась крупными блёстками, поток пены ринулся между камней. Сорвались в небо и на лету заклекотали чайки. Мини неожиданно спросила:

– А ты так и будешь в одиночестве странничать? Искать любовь безответную?

– Я такую вовсе не ищу, – произнёс Вэл как можно суше. – И никогда не искал.

– А что ты ищешь? Старцев?

Он не ответил, поймал взгляд Мини и не выдержал – так испуганно зашло сердце. Её глаза нежно лучились, плавилась, проникали в мозг. Вэл отвернулся, сорвал и сунул в рот какой-то горький листок. Несколько мгновений шёл, как во сне: «Нет-нет. Здесь я чужой. Зачем ей моя любовь? Я ищу другую жизнь... Или просто испытывает себя на мне? Знает, что красива. Долго я с нею не выдержу...». Вэл почувствовал, как в глубине начала тлеть и неодолимо подниматься страсть – до груди, до горла. Задохнулся, помрачнел и тут услышал голос Шузы:

– Ты, правда, послезавтра в горы уходишь?

Он очнулся, поднял брови и удивлённо обвёл глазами девушек:

– Откуда такие сведения?

– Нет, ну, правда? Скажи! – не отставала Мини.

– Да, скорее всего. К вам на днях фрэнды из Питера приезжают...

– Не заморачивайся с ними! У костра места всем хватит, – надула губки Мини. – Ты классно у нас вписался.

– Если и придут, то со своей палаткой, – вставила Шуза. – Оставайся. Чего ты пугаешься?

Девушки насмешливо переглянулись, и разговор прервался. Думать о тех, кто должен вот-вот сюда приехать, не хотелось.

– Забыл спросить, а как вам история о цветочной Еве? – поменял он тему.

– Мне не в кайф. Ларик любит всякие навороты церковные, – тут же отозвалась Шуза.

– А я запала. Скажи, клёво – за лайф ин за флауэрз, – Мини посмотрела вдаль. – Хотя тоскливо, по сути. Даже первый мэн, как полный даун, в упор не увидел ни нежности, ни красоты, ничего. А сейчас вообще кругом одно дерево – сплошь! – она грустно блеснула глазами.

– Я бы из двух сделал одну, – Вэл обнял и поцеловал воздух. – И разукрасил бы её цветами.

– Вместо дресса? – хихикнула Мини.

– Зачем в раю лишнее? – усмехнулся Вэл и тут же пожалел.

– А нам и здесь рай! – выпалила Шуза, раскинула руки в стороны и победоносно на него посмотрела. – Можем хоть сейчас искупаться! Слабо с нами будет?

– Да уж, я не Адам, – он оторопел от неожиданности. – И не змей. Лучше я на время выйду из рая, погуляю в окрестностях.

– Ладно, не стремайся, – довольна хмыкнула Шуза.

– А всё-таки это кайф в одни цветы наряжаться. Всем, как в Индии, жить, – Мини мечтательно закрыла глаза и сделала руками жест восточного танца.

– Зимой в Питере крайне понтово будет... – усмехнулся Вэл и отвернулся, отгоняя внезапное желание её обнять.

Вспомнились страдания старшеклассников рядом с красивыми девочками и надёжный способ – немедленно сделать себе больно. Он до крови закусил губу и понял, что нужно хоть на время куда-то исчезнуть. У самого подножия береговых обрывов шли сплошные заросли ежевики и перевитого лианами кустарника. Вэл свернул, пробрался между колючками и сорвал несколько чёрно-блестящих, игрушечных ягод:

– Хотите?

– Я не очень, это она лайкает, – отозвалась Шуза и протянула ладонь через кусты, за ней потянулась Мини, и её пальцы пекотнули руку:

– Ой, вкусно! А ещё?



Шуза недовольно фыркнула:

- А сама не можешь набрать? Смотри, сколько их тут!
- Самое оно, когда тебя такой бой угощает, – хмыкнула Мини.
- Ладно, покамали! – насупилась Шуза.

От жары мягко подкашивались ноги. Казалось, они не идут, а плывут – по груди в легчайших тёплых волнах.

– Кстати, а вы когда уезжаете? – спросил Вэл, вновь выбираясь из кустов на тропинку.

– В конце августа. У Шека с Лариком отпуск кончается. Ну, и вообще, у всех разные дела сплошняком пойдут – у кого учёба, у кого ворк, – Мини то и дело улыбалась, облизывала фиолетые губы, показывая кончик сиреневого языка, напевала, вскидывала волосами, забиралась в заросли: – Смотрите, какой я цветок нашла! А тут эвкалипты растут. Такие крошки!

Шуза поглядывала то на небо, то на Вэла с Мини и продолжала:

– У Стара и Шакти кинды в школу идут. Достают по-страшному, вот они и оттягиваются здесь, на свободе. Тут везде такой улёт, а ты куда-то мыслишься...

– Ладно, посмотрим, – протянул Вэл. – Чуть позже, чуть раньше, но в горы я всё равно пойду.

Он поймал взгляд Мини, почувствовал, как опять колыхнулась кровь и начала упрямо, глухо рваться наружу.

– Возьми нас с собой? – она шутливо прищурилась. – Ну, что за кайф везде одному ходить?

– Значит вы хотите запросто со мною в горы рвануть?

– А чем мы плохая компания? – Шуза вызывающе посмотрела.

– Тогда для начала нужно... – Вэл прибавил шагу, – проверить, как вы прыгаете по камням. Догоняйте!

Все трое с хохотом ринулись по берегу. Добежав до ручья, Вэл перемахнул на другую сторону и обернулся. Шуза далеко обогнала Мини, подскочила к воде, пружинисто прыгнула на один камень, на другой. Но под её ногой что-то скрежетнуло, и она упала в середину потока. Вскочила, несколько раз шагнула вперёд, растерянно глядя на Вэла, и вдруг сморщилась от боли и досады.

– Ударилась? – крикнул он.

– Кажется, ступню вывихнула... И коленку ушибла, – Шуза постояла в воде и, хромая, повернула назад.

Вода стекала по её волосам и лицу, рубашка прилипла к широкому торсу, на коленке всплывало розовое пятно. Она села у ручья, потирая ногу.

– Больно, Шузик? – крикнула Мини, подбегая сзади, и обняла подругу за плечи.

– Да, ладно... – та скривилась от боли и виновато посмотрела на Вэла. – Кеглю подвернула.

– Давай вернёмся! Я тебе помогу, – Мини погладила её по волосам.

– Бросьте из-за меня заморачиваться! Я подожду, вы ведь недолго там пробудете? Что там искать-то?

Все трое молча переглянулись. Вэл пожал плечами и заметил растерянную улыбку Мини, которая тут же наклонилась к подруге:

– Ты уверена?

– Надо ступню в воде подержать. Не хочу, чтобы опухла.

– Здесь ходьбы туда и обратно с полчаса, – Вэл глянул на Мини. – Может, ты с нею останешься? Я быстро смотаюсь.

Мини вздохнула:

– Ладно, останусь.

– Да зачем? Я одна посижу, мне уже лучше, – Шуза выразительно глянула на Мини, пошевелила ступнёй и растянула ремешки сандалий.

– О'кей, Шузик. Тогда подожди немного, а потом вместе вернёмся, – прошептала она, поцеловала подругу и осторожно перешла ручей, пробуя ногами камни.

– На тебе, как на кошке, всё заживёт. Ты гёрла мощная! – ободряюще крикнул ей Вэл.

– Не кексуй, к утру всё пройдёт! – Мини тоже махнула ей рукой и обернулась к Вэлу. – Обломно получилось.

– Если и ты где-нибудь по дороге рухнешь... – он погрозил пальцем и отвернулся.

– Донт ворри! – усмехнулась Мини.

Некоторое время они молча шли по гальке, покрытой соляным налётом, – то в полушаге от прибою, то между островков высохшей травы, то у кромки зеленых зарослей, волнами падающих к морю. Обернувшись в очередной раз, за изгибом берега они не увидели никого, и Вэл тревожно ощутил близость Мини.

– Да, этот нэйм Шузе не зря прилепил, – с усилием произнёс он, глядя вперёд.

– Она отчаянная. И, жуть, какая упрямая, – вздохнула рядом Мини. – А далеко эти твои скалы?
– Вон, видишь? Метров триста отсюда. Только осторожней! Тут такой берег, – он попытался улыбнуться.

– А если я пласт сделаю, что тогда-а? – кокетливо протянула она.

– Для начала буду долго поливать тебя морской водой, – Вэл обернулся, сделал страшные глаза, но, поймав её встречный взгляд, зарёкся от шуток.

– Мы с через этот ручей ещё не переходили. Здесь только Шек был. В прошлом году, кажется...

– А зря... Сейчас начнётся подъём на скалы! – Вэл, не оборачиваясь, показал рукой вперёд. – Вид оттуда потрясный.

– Давай, я за тобой!

– Смотри, тут не Питер.

– Ты такой мэ! Если что, меня до кэмпя на руках донести сможёшь, – произнесла Мини с лёгким смешком.

Он смутился:

– Конечно, и Шузу в придачу...

Всё труднее становилось скрывать волнение. В голове кружили мысли: «В одиночку гулять с нею? Вовсе этого не хотел. Придётся терпеть». И он, как сомнамбула, шёл вперёд. Тропинка потерялась среди огромных камней. Их неровные замшелые бока высились один над другим, уходили в тёмные расселины. Кое-где лениво трепетали на ветерке пожухлые травинки, зеленели крошечные деревья-уродцы. Несколько раз Вэл втаскивал Мини за руку вверх, пока они не поднялись на знакомую ребристую вершину. Спугнутые чайки повисали над обрывом и парили в трёх шагах, тараща глаза. Морская равнина медленно зыбилась, волны закипали от жара, пенились у берега и горели на горизонте. Воздух с моря плотно давил на тело, пахло одуряющей йодистой свежестью.

– Чувствуешь? – он потянул носом и многозначительно глянул на Мини. – Так пахнет бездна.

– Скажешь тоже, – мотнула онга головой.

– А ты вниз посмотри. Тут невысоко, но...

– Ой, страшно! – Мини схватилась за его плечо, тут же отпустила и вскрикнула: – Смотри, Шуза уходит! За полоской речного русла Вэл разглядел фигурку, ковыляющую к подножию берегового обрыва.

– Не дождалась.

– Она всегда так. Никогда не знаешь, чем её заклинит, – Мини всплеснула рукой. – Всё равно, я её очень люблю. Ладно, пошли быстрее.

Она протянула ему руку, и у Вэла перехватило дыхание. Всё вокруг сразу изменилось, когда они остались на берегу совсем одни. Он гнал от себя и топил в море сумасшедшие желания: «Проклятье, лучше в воду брошусь. Иначе грош мне цена», – отчаянно стучало в голове. Ноги растомлённо дрожали и едва не расплозались на камнях.

– Не так быстро, умоляю! – крикнула Мини и ухватилась за скалу. – Голова кружится.

– Хорошо, – закусил он губу.

Петляя между скал, они совсем сбились с тропы, попадали в тупики и провалы к морю. Казалось невероятным, что вчера он с лёгкостью поднимался и спускался здесь к воде, не подозревая, что где-то рядом существует крошечный «Хиппиленд» и в нём живёт Мини. Она стояла совсем рядом, чуть отвернувшись, и поправляла пряди сияющих на солнце волос. У Вэла в висках часто билась кровь, волнами расходилась и колыхалась по телу. Ноги и руки дрожали. Он часто смахивал со лба пот, прятал глаза, говорил отрывисто и небрежно:

– Ну, как, жива? Сейчас посмотрю, где спуск.

– Ошизеть можно, столько камней. Ты куда меня завёл? Вот сейчас будет... тот самый пласт. Мама миа! Мини споткнулась и едва не стукнулась головой о каменный выступ.

– Давай руку, – мгновенно опомнился Вэл. – Вон это место, совсем близко! Глупо будет ни с чем возвращаться, ну!

Он крепко сжал мягкую потную ладонь и потянул к себе. Стало страшно, что она сейчас случайно коснётся его грудью. Протискиваясь между камней, они прошли десятка два шагов. За спиной слышалось усталое дыхание Мини.

– Пришли! – крикнул Вэл, спрыгнул вниз на знакомую маленькую отмель. – Это здесь. Тебе остался один шаг в воздухе.

Он поднял обе руки вверх и напряг мышцы.



– Стрёмно... – улыбнулась она сверху, зажмурилась и повисла у Вэла на шее.

– Хуфф! – он опустил её и тут же отпрянул, словно выпрыгнул из костра.

Мини сделала вид, что ничего не произошло, восхищённо шагнула к морю:

– О, как здесь красиво! Не зря мучались.

Отмель узким клином раскрывалась волнам и с двух шагов обрывалась в подсвеченную небом глубь.

Под ногами шуршала мокрая галька. Тёплая влажная пыль разом заполнила голову, осела глубоко в груди.

– Да-а... тут бы я искупалась! – воскликнула Мини, и Вэл увидел её слегка расширенные зрачки.

Она мигом сняла босоножки и вошла в прибой. Оставаясь на месте, летела вдаль, Мини не чувствовала ни тени смущения, её лицо сияло, солнце отливало в волосах и на коже. А Вэл задыхался от неодолимой страсти. Ещё немного, и тело обезумев, расстанется с душой в поисках другой плоти. «Зачем это, Боже? Потому что я сказал себе “нельзя”»? – он вошёл в море, плеснул в лицо волной, пытаясь остановить невыносимую страсть.

– Ты что? – голос Мини прозвучал за спиной невыносимо тихо. – Весь мокрый будешь.

Он мотал головой в ответ, и сквозь полузакрытые глаза металось из стороны сторону море, небо, солнце.

– Хоть бы джинсы снял, если купаться хочешь, – ещё тише произнесла Мини и вдруг слегка повисла у него на плече, словно пытаясь удержаться.

...Море ударило в лицо, с шумом сомкнулось над головой, вода заурчала в ушах. Руки и ноги двигались помимо воли, и перед глазами с каждым взмахом наливалась мраком сине-зелёная глубь. Вэл упрямо плыл ко дну, пока не начал задыхаться. Виски сдавил жидкий холодный металл, вспыхнули и ушли под череп радужные пятна. Раздался гул товарняка, сотни лиц вихрем промелькнули в сознании.

– Конец! – сверкнула мысль, и он в ужасе рванулся вверх.

Стемнело в глазах. Несколько мгновений Вэл будто не жил, не чувствовал рук и ног, лишь видел, ничего не понимая, как перед ним распадаются чёрно-синие, зелёные, золотые круги... В один миг море стало небом. Он задыхался, силло хватая ртом воздух. Слышал, как с хрипом и кашлем отступает смерть, и молился каждым вздохом.

...Вокруг слабо колыхалась прозрачная бирюза, ласкала, живила. Он взмывал и опускался на волнах далеко от земли и жизни. Догнала и пронзила молния страха. Сердце билось резкими толчками, грудь беспорядочно, неумело дышала, но в мозгу разливался невыразимый покой:

– Всё хорошо... Жив... Боже... – прокатывалось в голове, и Вэл обессиленно вглядывался ввысь. – Чуть не утонул из-за неё. Глупо было бы.

По плеску волн он догадался, что рядом скалы, повернулся, подплыл и вцепился в поросшее зелёным мхом каменное ребро. Вспыхивали и гасли в воде маленькие золотистые молнии, халяпали облепленные ракушками камни. Не отпуская руки, он откинулся назад, глянул в небесный зенит, обрывки мыслей мешались в голове:

– Она бросила меня. Я бросил её... Испугались будущей жизни, страданий. А ведь любили друг друга... Ушла, чтобы родить моего ребёнка? Моего. Потому что я против был? А я вдруг влюбился. До смерти. И так глупо, по пути в монастырь...

Он повернул к берегу и долго, медленно поплыл на спине, пока вместе с волной не уткнулся затылком в гальку. Поднялся из воды и сразу увидел Мини. Обхватив колени руками, она сидела в шаге от прибои и смотрела в сторону. Вэл смахнул солёные ручейки с волос и лица, опустил рядом и только тут заметил на себе мокрые джинсы и сандалии.

– Не думала, что ты такой крезанутый, – сказала Мини, не повернув головы.

– Я тоже не думал, – глухо ответил он и замолчал.

Тело мелко дрожало. Но теперь Вэл чувствовал лёгкость, будто с него свалился и утонул в море неподъёмный груз.

– На, держи свой крестик, – Мини разжала пальцы и пристально, урюмо глянула ему в глаза.

– Не может быть! – Вэл вскочил от неожиданности, взял крест и тут же подумал, что именно он спас его от смерти.

– На камнях тут лежал, – она небрежно показала рукой на берег. – Нитка оборвалась.

– Так ведь не бывает! Представляешь? Нашёлся!

– Значит, бывает, – Мини презрительно хмыкнула. – Не пойму только, что ты на нём так запал? Не красивый, кантровый. И зачем было его искать?

– Это подарок. И потом... – Вэл прервался, прошёлся взглядом по её лицу. – Теперь он мне дороже любого другого, самого расчудесного.

– Рада за тебя, – холодно сказала Мини и поднялась. – Пошли.

– Нет, сначала попроси, чего хочешь! – Вэл вскинул голову, протянул к ней руку и неотразимо улыбнулся. – Всё для тебя сделаю. Как в сказке.

Она промолчала.

– Хочешь дружбу навек?

– Знаешь, у меня полно фрэндов, – Мини сощурилась на солнце.

– Не сомневаюсь... – Вэл помрачнел. – Отвернись, я джины выжму.

– Нужен ты мне.

Она вошла по колено в прибой и закинула руки за голову, глядя на закат. Вэл стащил с себя одежду. Опять вихрем понеслась по телу, стала жадными толчками биться кровью. Он прикусил губу и чуть слышно застонал. Мини обернулась:

– Не смотри на меня!

– А ты на меня! – его голос сорвался на крик.

Она фыркнула и мотнула головой.

– Всё! – Вэл втиснулся в джинсы, намертво застегнулся, а крестик запрятал глубоко в карман. –

Пошли!

Мини окинула его взглядом с ног до головы и усмехнулась:

– Замерз? Дрожишь так.

– Да, немного. По дороге согреюсь, – ответил как можно суше.

– Ты всегда в джинсах купаешься? – она издевательски улыбнулась.

– Если бы я голый полез в море, мы бы с тобой сейчас не говорили.

– А что бы мы делали?

– Мы? – сверкнул глазами Вэл. – Я бы с тобой... с ума сошёл.

– Такой мэн! И вдруг с ума...

– Да, вдруг, – перебил он. – Друг – это ты.

– О-о! Из зэт райт? – Мини рассмеялась. – А теперь не сойдёшься?

– Всё! Фэгет ит, – Вэл резко отвернулся.

– Мокрые джины помогут? – не унималась она.

– Поможет другое, – Вэл огляделся, кусая губы, подтянулся, залез на камни, твёрдо протянул ей руку: – Всё прошло, Мини. Прости.

– Прощаю, – презрительно выдохнула она и отвела потемневшие глаза.

– Давай руку! – грубовато бросил Вэл.

Мини безвольно повиновалась. Будто во сне они преодолели каменные завалы, вновь спустились на берег. Отовсюду наплывала грусть, оседала в груди, дурманила голову: «Она хочет того же, чего всегда хотел я – любви, похожей на чудо. Для неё нет ни пределов, ни запретов, как не было их для меня. Ждёт нежности, с ума сходит от своей красоты. Как ей сказать, что после разрыва с той, с которой ни за что нельзя было расставаться, другой любви я не ищу?».

Несколько шагов они прошли рядом, хрустя крупной галькой, слушая тягостные крики чаек, глядя на низкое солнце, растёкшееся по морю. Потом их руки медленно расцепились. Томительное забытье кончилось. Мини наклонила голову и быстро пошла вперёд.

– Не спеши, так и рухнуть недолго, – Вэл догнал её и остановил движением руки.

– Не беспокойся, – она взглянула с горькой усмешкой, но не освободила плеча. – Я привыкла одна, не упаду.

Ему показалось, что губы Мини стремительно приближаются, тает в объятиях её тело. Опять рванулось из груди сердце, в голове пронеслось: «А если эта встреча, эта внезапная любовь дана мне свыше? Если вместо той, вместо всего прошлого мою жизнь заполнит её отчаянная красота?». Вэл пошатнулся, закрыл глаза и целый миг не чувствовал ничего... Когда опомнился, вокруг опять горел жаркий вечер. Небо, море, камни, шум волн – всё стало прежним. Вдали дымно голубел и таял знакомый берег. Рядом была Мини и недоумённо смотрела ему в лицо.

– Представляешь? – прошептал Вэл. – Мы ходили за чудом. И без тебя я бы ничего не нашёл.

– А я ничего не искала. Он случайно нашёлся, пока ты там нырял и плавал... – Мини отвернулась и двинулась дальше, бросив на ходу: – И потом, я в чудеса не верю. Так что не грузи сарай!

Тут Вэл перестал думать. Резко остановился и сел на влажную гальку. Небо на западе чисто и тепло



сияло, будто вся нежность мира собралась в одном месте перед тем, как покинуть землю. Солнце тонуло в бескрайнем море. Весь его дальний край был залит розовой водой, узкая золотистая дорожка тянулась до самых ног. За спиной пробовала голос первая цикада.

– Ты что, одну меня оставляешь? Так и будешь здесь сидеть? – откуда-то издалека крикнула Мини.

Вэл понуро поднялся и побрёл по берегу. Она ждала его, спрятав руки за спину и прищурив глаза в странной улыбке.

– Смотри! Красиво? – Мини внезапно что-то обвила вокруг его шеи. – Вот тебе гирлянда в подарок. Теперь ты – чудо, – едва слышно добавила, – которое я нашла...

Вэл задохнулся и тут же закрыл глаза. Лицо её пылало, темнели, сладко жгли душу зрачки, золотистые волосы увивал венки из плетения.

– За что это мне? – шепнул он, не зная, что сказать.

– За красивые глаза... – Мини отвернулась и шагнула вперёд.

Не помня себя, он ринулся вслед, повернул её за плечи:

– Ты... Ты удивительная! Можно я тебя обниму?

Мини помотала головой:

– Нет.

В её глазах стояли слёзы, губы дрожали и будто целовали воздух.

– Боже... – простонал глубоко в груди его голос, и Вэл крикнул: – Я сейчас опять в море брошусь! Не могу больше!

– Ты даун! Уро-од! – она села на берег и зарыдала. – Уходи! В свои горы, куда хочешь. Только быстрее, умоляю!

– Сейчас... Искейпну, – скривился Вэл вместо улыбки, ничком упал около неё на гальку. – Неужели я тебя полюбил? Как глупо...

Крест опять впилился в ладонь.

– Нет, ты только Бога своего любишь.

– Если бы.

Вэл повернулся к небу, открыл влажные глаза, увидел потемневшую синеву, текущие сверху медно-золотые волосы и тихо сказал:

– Ты права, нельзя... Если я тебя обниму, останусь с тобой навсегда. Тут и будет конец моего странствия.

После долгого молчания послышался неясный, плачущий шёпот:

– А может быть... это и нужно?

В тот же миг Вэл поднялся, не оборачиваясь, шагнул в прибой и рухнул на колени:

– Больно! Бо-же! Боль-но!..

Море стало его отчаянием, накатывало, закипало в груди. Он плескал водой в лицо и чувствовал на губах соль боли. Всё исчезло, кроме шума волн, и Вэл молился, чтобы душа окаменела, незаметной галькой упокоилась среди множества камней. Слышал больные голоса чаек, смотрел на закат, не понимая, зачем нужны эти дымчатые облака, остывшее солнце и тусклое золото, нитью растекшееся по горизонту...

Когда, страшась себя, он, наконец, обернулся, берег был пуст. Далеко-далеко мелькала среди камней и кустов живая точка. Можно было ещё догнать Мини, обнять, забыть всё на свете, задохнуться от слова «люблю» и вместе с ней, теряя разум, исчезнуть из этого мира. Но потом, что будет потом?

– Ты слышишь? Не было этой встречи! – кричал он и ничего не слышал. – Я не должен был уходить, когда ты ушла! Мы оба сошли с ума!.. Нет, пойми, у меня не было больше сил! Я боялся этого ребёнка...

Быстро спускалась тьма, Вэл стоял на коленях, шатаясь в волнах. Море то тянуло к себе, то отталкивало, и душа безвольно колебалась между той и этой жизнью.

– Горечь – речь твоя. Пагуба – на губах. Нежности нож... – зажигалось и гасло в мозгу.

Зачем, кому были эти слова? Осталось лишь вернуться в лагерь, взять сумарь, со всеми проститься. И больше никогда не увидится с Мини. Надрывно крикнула чайка, мелькнули в сумраке неподвижные крылья. Вэл опомнился и, шатаясь, двинулся назад. По телу прокатывался озноб, стучали зубы, мокрые джинсы казались ледяными. Чтобы согреться, он побежал – медленно-медленно. Мокрые сандалии тяжело шлёпали и скользили по гальке. Вэл задышался, но чувствовал мучительную радость, оттого, что всё кончено. Нет больше Мини. Он опять – вольный странник. А впереди – благословляющие руки старца. И божественное всё.

Смутно виднелся берег. Слева шумело море, справа шатались и прыгали чёрные холмы. Над головой



тихо метались звёзды. Вэл перешёл на шаг. Ступни и лодыжки ощутили ледяную воду ручья. Показались крупные камни и кусты, начался подъём. Глаза различили трепетавшую далеко во тьме огненную точку. Только тогда он вновь ощутил своё тело. Маленькие листья плающа щекотнули грудь и спину.

– Мини подарила... – прикусил он губу и сбросил гирлянду на землю.

Разговор десятый. Люди без возраста

У костра звенит гитара. Шек поёт что-то знакомое, Вэлу совершенно неважно, что. Он выходит к палаткам и останавливается. Шуза и Мини, обнявшись, сидят напротив. Мини, заметив его, тут же отворачивается и закрывает лицо ладонью.

Шуза (*радостно вскрикивает и машет рукой*). Вэл вернулся!

Стар (*смерив Вэла взглядом из-за огненных очков, раздельно и громко произносит*). Утопленник воскрес и явился с крестом перед народом!

Лариса (*вскакивает и хватается за руку Вэла, заглядывает в глаза*). Совсем закоченел! Руки ледяные. И джинсы тоже. (*С силой тащит его поближе к огню*). Господи! Как ты всех напугал!

Шек (*откладывает гитару и начинает шарить рукой среди еды и посуды*). Срочно налейте ему! Двойную дозу!

Стар. Лучше тройную. (*Вытаскивает канистру из темноты и протягивает Шеку*). Православные троицу любят.

Шакти (*ласково*). Мы тебе поесть оставили. (*Тоже поднимается, треплет Вэла по мокрому, свисающим до плеч волосам и качает головой*). Миленький, что с тобою? Мини одну в темноте бросил. И сам пропал. Нельзя же так. Шек, подкинь веток в огонь!

Стар. Всё просто. Наш странник воспылал любовью к прекрасной Ми и ринулся в море тушить огонь. (*Хохочет*). Так, старичок?

Вэл (*мельком смотрит на Стара и кривится в улыбке*). Именно. Ты сразу всё глубоко просёк.

Шакти (*хватается за голову*). Или ты замолчишь, безумный Старче? Или в море брошусь я!

Стар (*невозмутимо*). Глупость заразительна, как насморк. Я давно это знал. (*Кивает Шеку*). Отец, слабай ещё что-нибудь. Специально для моей жены и других дев. А наш гость тем временем будет сохнуть у костра от любви и в одиночку напиваться, чтобы поскорее вернуть отлетевший на время разум.

Шуза. Почему в одиночку? Мы все выпьем. За его здоровье.

Мини (*неожиданно*). И за твоё тоже.

Осторожно гладит ногу подруги. Вэл отыскивает свой сумарь, поднимается и рывком вскидывает его на плечо.

Вэл (*решительно*). Народ, хочу вас поблагодарить за гостеприимство! Искренне. (*Страдальчески оглядывается и слегка всем кивает*). Чао, пипл! Прощай, Мини!

Шек. Круто!

Вэл стремительно уходит в темноту. Лариса догоняет его в ближайших кустах.

Лариса (*всем слышен её голос*). Только с ума не сходи! Весь мокрый, голодный. Уже ночь. Ну, куда ты пойдёшь? На тебе даже майки нет...

Стар (*кричит в кусты*). Перестань, Ларик, вот его майка! Наш странник возжаждал, наконец, истинной свободы. Прекрасно. Пусть идёт.

Появляется Лариса, легонько подталкивая Вэла к костру. Шек поднимается навстречу, кладёт руку ему на плечо.

Шек. Сори. Но это ты зря. Не слушай Стара, он свои дзенские примочки на тебе проверяет.

Стар молчит. Шакти, накидывает на Вэла пляжное полотенце и прижимается к его плечу.

Шакти. Миленький, если хочешь, это даже не по-христиански – и с собой, и со всеми нами так поступать...

Голова Вэла заполняется прохладной пустотой, и тело покорно оседает на землю: «Всё равно я ушёл. Здесь осталась только моя слабость. До утра...» – крутится в мозгу. Мини и Шуза потерянно стоят на полянке и смотрят в огонь,



остальные хлопочут возле костра с едой и тёплой одеждой, лишь Стар сидит на прежнем месте и с понимающей улыбкой протягивает Вэлу полную кружку.

Стар. Давай выпьем, отец! Это не сома, но нам, смертным, пить можно. Не удалось красиво уйти... Ты не огорчайся. Не всегда удаётся безумный поступок. И не всем.

Шакти (*раздражённо*). Опять монстру давишь? Дай поесть человеку. (*Сует в руки Вэлу миску*.) Остыло, правда, но ничего.

Вэл (*тихо*). Спасибо, не хочется. (*Виновато морщится*.) Честно.

Лариса (*с силой*). Нужно! (*Плотнее укутывает его одеялом*.) Надо что-то делать с твоими джинсами. Придётся над костром сушить...

Стар (*производит рукой непонятное движение в воздухе и смеётся*). Без штанов он точно никуда не уйдёт. И мы продолжим наши бессмысленные споры об истине.

Вэл (*мотает головой*). Отшнуритесь от меня, ради Бога! Само всё высохнет.

Шакти. Ну, тогда двигайся ближе к огню. Хоть сандалии высуши, ноги согрей.

На этот раз он повинуется. Все потихоньку расслаиваются у костра, Шек прикрепляет над огнём два обгоревших сука. Мини прижимается к Шузе и жмуро склоняет голову, огнистые волосы занавеской падают на лицо.

Шек. Вешай на них сандалии, и через час всё будет о'кей. Я старый турист.

Стар (*повелительным голосом*). Итак, наш вечный пир продолжается! Девы, Шек, где ваши круханы? Пьём за возвращение блудного гостя. За тебя, отец! (*Делает глоток, вытирает лоб и сверкает очками на Вэлу*.) Я бы на твоём месте тоже попытался сбежать от нелепости жизни. Но это ошибка. Мудрец не должен терять бесстрастия, и ты правильно сделал, что остался. Учись зеркально мыслить в этом мире.

Вэл (*хочет возразить, но вместо этого многозначительно произносит в сторону Стафа*). Да, я сделал ошибку. Остановился в дороге... (*После паузы добавляет, обводя всех взглядом*.) Ладно, экскюз ми. Чепуха... За ваш кэмп и за вас!

Стар. Ещё один правильный шаг.

Он приподнимает кружку в знак одобрения. Наступает тягостное молчание. Вэл выпивает вино в несколько глотков и закрывает глаза. Тёплые волны другого моря одна за одной прокатываются по телу. Опять вокруг полыхает южный день. Солнце огненно просвечивает через веки и выжигает проникший до самой души холод. Только теперь он начинает приходить в себя, тянуться навстречу костру, жмуро глядя в огонь.

Лариса (*садится рядом, трогает его руку*). Что ты не ешь?

Вэл (*неохотно мотает головой*). Не хочется. Прости.

Лариса (*наклоняется к нему и едва слышно говорит*). Послушай, если у тебя это серьёзно, не сходи с ума. А если нет, тем более.

Она тревожно заглядывает ему в лицо, ожидая ответа.

Вэл (*разжимает ладонь, на которой поблескивает крестик*). Вот.

Лариса (*вопросительно*). Я знаю, Мини его нашла. Почему ты так смотришь?

Вэл. Он меня спас. Иначе я бы утонул. В море или... всё равно. Себе на погибель.

Он опускает глаза и вспоминает, как терял сознание под водой, как задыхался рядом с Мини.

Лариса. Что ты придумал? Вы оба такие хорошие... (*Слегка трясёт его за плечо*.) Лишь бы любовь была настоящая! Во имя такой любви Бог всё простит, я уверена. Смотри, что я тебе приготовила! (*Берёт его крест, ловко вдевает витой шнурок и завязывает*.) Надевай. Такой знак вам с Мини был, просто невероятно! Мы все вас любим, все за вас волновались. Даже Стар. Не обижайся ты на него.

Вэл хочет что-то ответить, но тут слышится насмешливый голос Стафа.

Стар. О чём вы там шепчетесь? Молитесь что ли? Шек и Ми страдают от ревности. Срочно вернитесь на

грешную землю! Народ жаждет всеобщего веселья! (*Встает, вздымает руки в жесте благословения и грамогласно произносит.*) Пир всем!

Лариса (*раздражённо*). Стар, не будь дауном!

Шакти. А за что пить? (*Балтает канистрой в воздухе.*) Шек, разлей всем, что осталось.

Стар. Неважно за что. (*Театрально вздымает руки к небу.*) Пьём за священное безумие!

Лариса. Мне не катит. Лучше за молодость.

Шакти (*патетически*). Тогда – за вечную молодость! (*Поднимает кружку и обводит всех горящими, чуть пьяными глазами.*) Мы из «Хиппиленда»! Люди без возраста. Наивные дети вечной мудрости. За всех пиплов!

Шек (*дотянулся до неё кружкой и глухо звякнул*). Икзэктали!

Лариса (*мотает головой*). А я пью за радость. Человек молод, пока она есть.

Стар (*устраивает взгляд на Мини с подругой*). Наши юные девы, кажется, против.

Мини (*встряхивает волосами*). Не в возрасте дело. Никакой радости в мире нет. Юность, радость – всё это лажа. Не за что пить.

Стар (*картинно вздыхает и кивает Ларисе*). Вот тебе и ответ, Ларик. Скоротечная юность бунтует против твоей неувядающей молодости!

Шакти (*опускает кружку*). А за что бы вы хотели?

Стар. Ха! За любовь, конечно. (*Довольно смеётся, глядя в сторону девушек.*) Ничего, на днях придут ваши друзья, и в жизни появится немного ласки и простых, понятных чувств.

Шуза (*резко*). Они такие же наши, как и ваши! И вообще мы никого не ждём. Пусть тусуются, где хотят и с кем хотят!

Шек. Это что-то новое.

Мини (*обнимает Шузу*). Мы и без них найсово жили и дальше жить будем.

Шек (*задумчиво и слегка удивлённо*). Допустим... Тогда за что пьём?

Мини (*отмахивается*). Фор э вандерфул ивнинг!

Шек. Отлично. Тогда – эврибоди!

Он делает рукою круг в воздухе и выпивает первым.

Шакти (*слегка заплетаясь языком*). Не кисните, народ! (*Внезапно вскакивает, хлопает в ладоши и кричит.*) Начинается карнавал улыбок и цветов! Все танцуют, поют, читают стихи и сходят друг от друга с ума!

Стар. Но не слпшком. (*С усмешкой смотрит на Вэла.*) Это уже грех смертный. И почти смертельный. Правда, старичок?

Шакти (*распалаясь всё больше*). Шек, музыку! Я танцую с Вэлом!

Вэл (*недовольно втягивает голову в плечи*). У меня сандалии сохнут.

Стар. А я – с юной Шушу!

Шуза (*сердито вскрикивает*). Отвянь, Стар! У меня кегля распухла.

Стар (*немедленно поворачивается к Мини*). Прекрасная Ми, ты одна меня понимаешь – танец жизни выше её смысла. (*Рывком поднимает Мини за руку.*) Танцуем, значит живы! Остальное – чепуха.

Шакти (*присоединяется к танцу, слегка задыхаясь*). Вечный праздник! Все пляшут... и поют!

Несколько минут человеческие тени носятся вокруг костра в отблесках пламени. Шакти, тянет их за собой Шека и Ларису, сцепляет их руки, пытаясь составить хоровод. Но радостное безумие так и не возникает, нелепый водевиль стремительно обрывается. Лариса усаживается рядом с Вэлом, обмахиваясь рукой.

Лариса (*будто оправдываясь*). Ох, устала от глупостей! Но у нас в кэмпе так заведено. Время от времени изображать дурдом, чтобы в него не попасть. Юродство такое, ты прости. (*Гладит Вэла по плечу.*) И обещаю, что никуда ночью не сбежишь. (*Шёпотом.*) У меня к тебе важный разговор. Обо всём самом главном, слышишь.

Вэл вяло улыбается, поправляет одеяло на плечах, но ничего не отвечает. Шек берёт несколько аккордов, уныло бречит на гитаре, изображая узбекский дутар, и стихает. Но тут, опираясь на любимый камень и нарочито пошатываясь, с земли вновь поднимается Стар.

Стар (*грамогласно*). Зрите все! Танец мудреца. Шек, ты можешь как можно лажовей, в две струны, ещё что-нибудь прогундосить?



Шек косит под урюков, извлекая из гитары заунывнейшую мелодию. Стар начинает двигаться вокруг костра спиной вперёд, подцепив одной рукой Мини. Он то хохочет, то рыдает, изображая лицом и телом бурную страсть. Бьёт себя в грудь пустой кружкой, на ходу пьёт из неё давно иссякшее вино, окропляет лысину. Но, сделав пару кругов, останавливается, хватается за сердце, картинно шатается, бросает кружку наземь, отшатывается от Мини и, сев у своего камня, принимает позу лотоса.

Стар (поворачивая лицо к Вэлу). Вот выход из круга майи... (Громко добавляет.) Конец чуме, народ! Пора готовиться к исходу в мир иной – в обитель сна.

Лариса. Подожди, время детское. Мы ещё посидим.

Шакти (устало пододвигается к Шеку, целует в щёку). Шек, слабай что-нибудь душевное. «Зелёный дол» по Бернсу, а! Или из времён нашей юности. Помнишь? Что мы в Карелии когда-то синговали? Спои, душа просит!

Шек (умехается). Я давно забыл все наши дринкиг-сонгз.

Стар (напыжась под пьяного). У кого душа просит? (Потрясает пустой канистрой.) Аминь, всем спать!

Лариса (не обращая внимания). Жека, спои про туманы! (Обнимает его за плечи.) Ты же помнишь.

Шакти. Да, именно её!

Услышав первые аккорды, с чувством начинает, уставившись в пространство, к ней присоединяются Шек с Ларисой.

Поющие голоса:

*Люди сосланы делами,
Люди едут за деньгами,
Убегают от обид и от тоски,
А я еду, а я еду за туманом,
За мечтами и за запахом тайги...*

Стар (в сторону Мини и Шузы). Закройте мечталки! Туманы были у нас, а теперь всем всё давно ясно.

Вэл (неслышно, поскольку в нём звучит внутренний голос). Всё повторяется... Все мы бредём одной дорогой, кто как может. Одни начали путь раньше, другие позже. Главное – идти.

Вино мягко качает голову. Под звуки песни Вэл думает о той, после разрыва с которой сломалась его душа. Краем глаза замечает, как Мини поднимается с земли и медленно уходит в темноту. Тогда он надевает горячие волглые сандали и подсаживается к Шузе.

Вэл (негромко). Как нога?

Шуза. Лодыжка достаёт, совсем распухла... (Замолкает и смотрит на Вэла с напряжённой грустью.) Ты вроде меня. Шизанутый. Так круто обломать всех можешь!

Вэл. Глупо получилось. И с вами обемни, и с кэмпом. (Печально трёт бороду и вдруг до крови кусает кулак.) Марразм!

Шуза. Вэл, брось! Ты, правда, из-за Мини уйти хочешь?

Вэл. Из-за себя.

Шуза (вздыхает, прячет глаза). Жалко... И её, и тебя.

Вэл. Хочу с тобой попрощаться. На рассвете меня здесь не будет.

Шуза (едва сдерживаясь). Глупо, как всё это глупо! Кантрово до предела! Такой гёрлы, как Мини, ты никогда больше не встретишь!

Вэл (подавленно). Я знаю.

Шуза. Не будь дауном, Вэл, оставайся! Слепому видно, что она тебе лавнулась. И ты ей тоже. Не видишь разве?

Вэл (застывает, отворачивается к костру, опускает глаза и говорит после долгого молчания). Шуза, ты чудесная, добрая... Но ты же знаешь, вы все знаете, что у меня уже была любовь. Я ничего от вас не скрывал. С первого прогона. Я и сейчас её люблю. Но, видно, меня ждёт другой путь...

Шуза (взрывается). Любишь? А почему же вы с нею расстались?

Вэл. Не хотел всего говорить. Она ждала ребёнка и ушла, потому что я был против. Боялся, что после наркоты у нас урод родится. Сейчас жалею. Не знаю, что делать. Иду вот к старцам за советом.

Шуза (*задумывается*). Да, стрёмно. Хотя не представляю... А ты уверен, что это твой ребёнок? Если бы она от тебя ждала, ни за что бы не ушла, поверь! Тем более, если ты её любишь. (*Вэл отшатывается, словно от боли, но Шуза продолжает горячо шептать.*) Как фрэнду тебе говорю, прикинь! Может, ты ей просто в напряг стал? И она пуганула тебя, чтобы с другим скипануть, а сама даже не залетела? Ты ведь всего не знаешь. Есть гёрлы, которым не любовь, не семья, а совсем дру...

Действие резко обрывается вместе с этим разговором.

Последствие

Последних слов Вэл не услышал. Куда-то исчез воздух. Пропал свет костра, стихли голоса. Он стремительно шёл в темноте, пробираясь среди кустов и камней к морю. Чувствовал, что задыхается, и слепо искал огромное, целительное пространство. Хотел как можно быстрее вдохнуть до самого сердца воздух и тут же изо всех сил выкрикнуть его в ночь вместе с душой. Боль рассеется среди звёзд, упадёт в море, скроется в безднах.

– Нет, она не обманула. Не могла, нет! Молилась, чтобы наш ребёнок родился здоровым. Я не верил, она верила! – он хватал ртом и тянул в себя тьму. – Но если верила, почему ушла? Так непоправимо? Где искать её?

Вэл остановился, поднял голову и долго не открывал глаз. Душа отчаянно замерла...

– Тысячи свечей в небе. Мы живём в огромном храме. В нём ангелы отпевают наши души, жизни, любовь...

Одна за одной вздыхали волны. Море было совсем близко. На чёрном горизонте небесная бездна незримо соединялась с водной. Едва виднелась под ногами отмель и накаты мерцающей пены. Обрывистые берега были вылеплены из глубокой ночи, звенели цикады. Лишь по этим звукам можно было понять, что мир остался прежним. Но обратная дорога в него исчезла. Вэл спотыкался о камни, вглядывался в тьму и вдруг оцепенел от сладкого страха. Тень Минни, её губы, дрожащие ресницы витали так близко, что ноги остановились сами собой:

– А если она тоже спустилась на берег? Вдруг я её встречу? Вся жизнь повернётся и потечёт в другую сторону... Знаю, что буду с ней страдать. А может, такой и должна быть любовь? Навсегда смешанная с болью, неотвратимая?

Он двинулся назад, но тут же понял, что возвращаться страшно:

– Как жить после счастья? Минни ждёт меня в лагере. Невыносимо тянет к ней. Но она со мною не выдержит... Я путник, я запутался. Нельзя было останавливаться. Монах предупреждал.

Казалось просто, отыскать ручеёк, несколько сосен, палатки – три сотни шагов от моря. Только что все пели у костра и сходили с ума. Лагерь можно было бы найти по слуху, с закрытыми глазами, но никаких звуков не было слышно. Ослеплённый тьмою, Вэл, пошатываясь, поднимался по склону, наткнулся на стволы и камни, сворачивал в сторону, осторожно делал шаг в пустоту, водил руками по воздуху. Несколько раз казалось, что тропинка нашлась, но тут же острые листья царапали плечо, пальцы нащупывали колючую стену. Неясные тени стволами поднимались к небу, сходились и расходились над головой. В глаза летели бесчисленные уколы звёзд. Мерцала темнота, дрожала вместе с голосами цикад. Вэл повторял молитву, замирал, кружил на месте, продирался через кусты и вздыхал:

– Это проклятье – ослепнуть в пути. Теперь понимаю, что значит душа заблудшая.

В темноте исчезало время. Пространство кривилось, проваливалось под ногами, проступало среди нагромождения камней, колодцами уходило ввысь, плыло мимо, кружило голову. Ползком поднявшись на осыпь, он, наконец, увидел впереди тлеющее пятнышко костра. Тропинка оказалась в нескольких шагах и привела к знакомому ручейку, на ветках смутно белели полотенца. Неслышно ступая, Вэл подошёл к лагерю и оцепенел. У костра одиноко сидела девушка.

– Минни! – взорвалось сердце. – Судьба...

Огромные, сияющие слова пронесли над ним. Теперь он должен был их сказать и бросился к огню. Она резко обернулась на звук шагов, поднялась с земли, и Вэл узнал Ларису.

– Слава Богу, нашёлся! Как я боялась за тебя! – горячо зашептала она, прижалась к его плечу, всхлинула: – Ты сумасшедший! Опять убежал, ничего не сказал.



Вэл выдохнул без сил:

– Хорошо, что это ты...

– Совсем измучался, садись, – Лариса потянула его к костру, подальше от палаток. – Стар всех удивил. Такого с ним ещё не бывало. Когда узнал, что ты с утра уходишь, долго молчал, а потом, не говоря ни слова, спать лёг. Может, стыдно стало, что к тебе всё время прикалывался, не знаю. За ним остальные улеглись, но вряд ли спят. Всем грустно до предела. А я тебя дожидаться осталась, – она понизила голос. – Я так вас обоих люблю, и её, и тебя.

Медленная горечь наплывала в глаза. Вэл закрыл лицо ладонью и прошептал:

– Не бывает любви против любви... Ты же знаешь, она на троих не делится. И в миру, и в монашестве – до самой смерти.

Лариса жала его руку:

– Уходишь...

– Нельзя иначе. Мне теперь лучше монахом стать. Сегодня я это, кажется, понял. Окончательно.

Она резко вскинула голову:

– Не думай оставлять её, слышишь! Это твоя жена, пусть без расписки и венчания! Она ребёнку ждёт. Твоего! Оставить её – бесчеловечно. Это тяжкий грех.

– А если это не мой ребёнок?

– С чего ты взял?

– Ведь она меня бросила, не я её! – чуть не вскрикнул Вэл. – Почему она ушла? К кому? Ни следов не оставила, ни надежды? Где её искать?

– Ни к кому, я уверена. Тебе надо просто ждать, пока она успокоится. Как женщина тебе говорю, она вернётся. Шуза рассказала мне, почему вы расстались. Прости уж...

– Пусть, что мне скрывать, – махнул он рукой. – Не смог сразу всё рассказать.

– Я без конца о ней думаю. Как ей теперь тяжело! Но, знаешь, – голос Ларисы задрожал, – я ей завидую.

Вэл недоумённо свёл брови.

– Да, искренне! Кажется, я её поняла... Она ушла не потому, что тебя разлюбила. И даже не от обиды или отчаяния – не только поэтому. Она тебя и себя боится, своего и твоего прошлого. Но всё равно решила родить ребёнка, каким бы он ни был. Вырастить его, даже в одиночку. Вдумайся только, как вы жили, пока к вере не пришли! Сколько грязи сквозь вас прошло. Иногда нужно всем пожертвовать, счастьем, семьёй, лишь бы твой младенец жил! Я не смогла, а она... Она настоящая. Всю мерзость отвергла, раскаялась, чтобы матерью стать. Бог ей уже за это многое простит. Я свято в это верю, как и она сама. Слышишь, ничего не бойся! Даже у больных здоровые дети рождаются. В мире нет выше тайны, чем рождение жизни.

Вэл застыл, опустив голову. Едва слышно сказал:

– Она от меня сбежала, как от изверга. Что мне делать, если она решила одна с ребёнком жить?

– Вряд ли она захочет жить без мужа, хотя есть и такие. Но если ты её любил, если любишь...

– Люблю, что с того! – перебил Вэл. – Семья, монашество – всё равно крест! Я хочу старца спросить, как мне дальше быть?

– Согласна, но чтобы этот крест выбрать, нужна твоя любовь. Ты сначала свою душу спроси, чего она хочет? Ждёшь ты ту, которую так любишь? Или боишься стать отцом больного младенца?

– А если она не вернётся?

– Тогда это её выбор... – Лариса на миг углубилась в себя. – Иди, может, найдёшь этих отшельников. Но, поверь, они тебе то же самое скажут. Не может иначе быть.

Вэл прикрыл лоб рукой и надолго замолчал.

– О многом хотелось с тобой поговорить. А получилось только о главном... – Лариса взяла его за руку, – Давай напоследок телефонами обменяемся. Не зря ведь мы встретились. Нельзя нам теряться.

Вэл нашёл сумку, записную книжку, вырвал страницу. Придвинувшись вплотную к тлеющим углям, они почти вслепую написали друг другу свои номера.

– Совсем забыла, идиотка! Ты ведь ещё ничего не ел. Держи-ка миску!

Лариса смотрела, как Вэл заталкивает в рот еду и безразлично жуёт, протягивала хлеб, кружку с чаем, мешала угли в костре:

– Что бы ни случилось, объявись! После трассы, когда хочешь. С начала сентября мы опять в Питере будем. Если нужно, я всё брошу и тебя под Ригу свожу, к моему старцу. Он уже очень слабенький, болеет, но ты его хотя бы повидать сможешь. С ним и говорить не нужно, он сам – уже проповедь. Рядом с ним

все мысли меняются, все вопросы исчезают. На себе испытала... – Лариса вздохнула. – Буду помнить о вас и просить. Напиши мне её имя. И ещё, умоляю, не обижайся ни на кого. Мы с Жеком, Шапти, Стар – все будем тебя ждать. Приедешь?

– Хотелось бы. Так сблизился тут с вами. И старца твоего повидать очень нужно. Но не знаю... Теперь, как Бог даст, – он поймал её пальцы, прижал к губам. – Спасибо тебе за всё. Огромное...

– Приезжай обязательно! Ты не представляешь, как много в жизни значит даже одна верующая, любящая душа... Ты ведь едва не утонул, Мини рассказала. Я слов не нахожу... Верю, ты всё выдержишь. А она вернётся, увидишь. И любовь ваша вернётся...

Они одновременно поднялись с земли.

– Чуть не забыла. Мини зовут Анна, – Лариса опять вздохнула, покачала головой: – Как её жалко. Ведь у неё никого нет. Понимаешь? И толком никогда не было.

Вэл видел мокрые глаза Ларисы и кусал губы, не зная, что ответить:

– Скажи ей... Нет, просто поцелуй, вместо меня. На сердечную память, – попробовал улыбнуться, глянул в небо и закрыл веки.

– Ложись, тебе силы нужны. Помоги тебе Бог! До встречи! – Лариса трижды поцеловала его, скользнула ладонью по руке и скрылась в палатке.

Вэл сел к костру, прижал упавшие волосы к глазам.

В пунцовых углях таял жар минувшего дня, мерцали отсветы давно погасшего заката. Последнее, что он увидел, завернувшись в одеяло, это россыпи звёзд на чёрном небе.

Любовь во сне

Среди ночи Вэл проснулся, потому что Мини была рядом. Они шли по берегу, наполовину затопленному морем. Невесомые волны прокатывались мимо, накрывали с головой, ноги подкашивались, а глаза слепли от солнца.

– Скажи, ты меня любишь? – спросила она.

– Посмотри на меня и всё поймёшь, – ответил Вэл.

– Нет, скажи! – голос звучал грустно. – Я знаю, ты думаешь о ней.

– И о тебе.

– Не думай о ней. Мы всегда будем вместе, будем счастливы, у нас будет много детей, много друзей.

Вэл глянул на Мини. Нежность переполняла её глаза, они казались росистыми, расцветали голубизной.

– Ты вот в Бога веришь... – она смотрела вдаль. – Скажи, разве любить всем существом это грех? Меня такой Бог создал. Мы ведь не животные, чтобы только рожать.

– А ты любила по-настоящему?

– Любила... Что значит, по-настоящему?

– Настоящая любовь одна под небом. Это море без берегов.

– Нет, морю нужны берега, как душе тело. Они едины, прибой – их поцелуй, тысячи поцелуев, смотри!

Он увидел. Волны непрестанно льнули к берегу, растекались объятиями. Вэл встретился с её взглядом и понял – это она море! Она стала всем. Заполнила его собой. Он чувствовал раскрывшиеся губы, плыл по неощутимой воде, взмывал на волнах...

В тот же миг они отпрянули друг от друга.

– Твои губы запомнят меня.

– Это была твоя душа, – шептал Вэл.

– Это была я. И останусь в тебе. А ты во мне.

– Я даже не коснулся тебя. Мне всё пригрезилось!

– Пусть. Всё равно я твоя.

– Так мучительно быть рядом. Будто вот-вот начнётся смерть. Всё исчезнет.

– Начнётся жизнь.

– Нет! Будет другое... Пусть повторяется наше несбывшееся.

– Неужели ты так её любишь? Её больше нет! Она ушла, а я есть. Я пришла, чтобы любить тебя. Навсегда!

– Если я предаю её, предаю и тебя... Я должен найти её или уйти из мира.

– Невыносимо это слышать. Если скажешь «нет», значит, любви нет! Мы встретились, чтобы я это поняла? Только это, да?



- Встретилась, чтобы родилась твоя любовь и с нею – надежда. К тебе всё придёт, Мини!
- Мне опять легко стало, – она попыталась улыбнуться. – Знаешь, я привыкла, что любовь не дольше поцелуя. Не умею жить, не любя, – сразу душою и телом. Потому я и одинока. Но теперь я останусь с тобой.
- А я – с тобой. Ведь любовь не умирает.
- Но ты уходишь. Для кого она?
- Ухожу, чтобы пришёл тот, кто давно тебя ищет.
- А я уже нашла. И уже потеряла.
- Есть жизнь другая. Пусть через много лет у тебя родится ребёнок с моей улыбкой. А мой – с твоею. Дитя любви, которая только началась, но никогда не кончится. Потому что из неё сотворена жизнь.
- Ты блаженный, живёшь в несбывшемся... Как я хочу остаться с тобой, с моей мечтой! Иначе зачем любовь?
- Любовь – это страдающий восторг... Иначе на земле не бывает. Мы встретимся там, где уже никогда не расстанутся.

Кончалась ночь и вместе с нею исчезал в небе странный, страннический сон. Так ясно звучали их голоса, будто Павел не спал, а до утра бродил в вечернем закате. Можно было ещё немного побыть в невысказанной высоте, за пределами жизни, где невозможное оказалось возможным. Он лежал и, закрыв глаза, продолжал слушать себя. В сознание накатывали шорохи ветра в листве, ровный шум с моря, запахи южной зелени, вчерашнего костра, волглого одеяла. Утренняя мгла рассеивалась, и по склонам клубились ночные туманы. Из обеих палаток доносилось мерное сопение. Древесная зола осела вниз и застыла в костре маленьким потухшим вулканом. Повсюду виднелись следы вчерашнего грустного пира. Павел встал лицом к востоку, медленно вдохнул имя божье и тихо выдохнул.

Пора было уходить. Он наскоро свернул постель, заглянул в кастрюлю с остатками лапши, неслышно выскреб и проглотил несколько ложек. Плеснул в кружку воды из чайника, залпом выпил, бросил её в сумарь и напоследок ещё раз осмотрелся, навсегда запоминая этот лагерь, бездонное небо и море полное вечно живой небесной воды.

Опять присел к костру, вырвал листок из записной книжки и крупно написал: «Спасибо за всё. Простите за всё. Те, кто в пути, не расстанутся. До встречи. Павел». Дважды подчеркнул своё имя, а листок прижал крышечкой к чайнику. Поднялся, повернулся к палаткам. Надолго закрыл глаза... И шагнул на тропинку, ведущую в горы. Ведущую к дому.

ВИЛЛИ Р. МЕЛЬНИКОВ

«Поэзия – это стремление стихотворца доказать всему миру, что он никому ничего не хочет доказывать»./ Автор/

СТИХО-ОТТВОРЕНИЕ

Одним из самых ходких слов сегодня стало «креативный» – говоря по-русски, «творческий». Но, похоже, большинство падких на модные словечки не подозревают, что у этого столь популярного латинизма есть греческий эквивалент: «ποίησις» [поэзис]; в самой Элладе, а позже в Византии под ним подразумевалось не только и не столько собственно стихосложение, сколько делание, созидание, постройка, творчество вообще, к какому бы роду деятельности оно ни относилось. Вспомним: в биологии используется термин «геомоэз», означающий «кроветворение». Думается, не будет чрезмерной поэтической вольностью назвать публицистику нервной системой литературы; тогда рассказы, повести и романы составят тело, эссенстика – органы дыхания, афористический жанр – систему иммунитета. Поэзия же предстаёт сетью кровеносных лабиринтов (отметим: «поэтическая вольность» на латыни звучит как «licentia poetica» – нечто вроде «поэтической лицензии»!). Что же, настоящие стихотворцы всех цивилизаций отличались повышенной «кровоточивостью» (помните, у Владимира Высоцкого: «Поэты ... режут в кровь свои босые души»).

Среди философов, арт-критиков и культурологов поистине звёздную популярность обрёл термин «метафизика». Приведём его буквальное значение: «Μετα-φύσις» [мета-физис] – «меж-природный», т.е. нечто, спрятанное среди отличительных качеств какой-либо структуры. Однажды автору данного очерка стало душновато от частой неоправданности применения этого модного словечка, и он попытался поискать новые определения. И вспомнил, что античные эллинские мореходы использовали термин «Μετα-χῆσις» [мета-химис], буквально означающий: «то, что находится между волн». А нео-идиома «мета-химий» предстаёт некоей смысловую ДНК, определяющую биографию и свойства этих волн. Их межволновыми диалектами и представляется поэзия. Обнаглеем больше и введём в филологию ещё один термин древнегреческих корабелов: «μετα-ρρέω» [мета-ррэо] – «перемена течения». И отныне будем обозначать различные степени калейдоскопичности смыслообмена между поэтическими стилями, их изменяющего, как «мета-ррэй».

Некоторыми филологами замечено: поэт, сочиняя, дистанцируется от языка; слова при этом будто бы отвязываются от вещей и ситуаций, а интонационные паузы превращаются в ещё одну разновидность звуков и слов. И язык отбрасывает униформу устоявшегося кода. Так, поэзия становится высшею формой игры со словами. Известный французский лингвист Марина Ягелло замечает: «Поэты лучше других умеют играть с языком. Потому они и могут поведать о языках больше, чем специалисты». Можно вспомнить определение американца Торнтон Уайлдера: «Поэзия – это особый язык внутри общего языка, призванный описывать жизнь, которой никогда не было, нет и не будет». От себя добавлю: овладеть большинством языков я начинал и начинаю именно с чтения стихотворений на этих языках, а также с попыток делать поэтические переводы наиболее понравившихся авторов.

Русский литературовед, переводчик и поэт-верлибрист Владимир П. Бурич (1932 – 1994) сформулировал: «В противоположность непоэтической литературе, занимающейся выработкой новых и популяризацией старых понятий, поэтическая литература занимается моделированием человеческого менталитета...». Сказано профессионально чётко, но хочется дилетантски офразить этот постулат опозтезированной. Итак: «Если непоэтическая литература, подходя к очередной психологической двери, долго громыкает необъятною связкой ключей, выискивая подходящий, то литература поэтическая ещё по дороге к наметенным дверям вытаскивает резцом своей интуиции ключи к ним». Вот вам ещё одно стихо-оттворение, и при том – в буквальном смысле!..



По свидетельствам современников, Осип Мандельштам время от времени говорил: «Видно, поэзия – действительно очень грозное оружие, раз за неё оскорбляют и убивают!..» (он же определял прозу как «прерывистый знак непрерывного»). К этому невесёлому, но точному выводу можно добавить: поэзия – достаточно серьёзная броня/меч, чтобы защитить многих; но при этом нередко, увы, стать надгробием для самого автора. Но чем бы ни оборачивались для него стихотворные смелости – возвышением или изгнанием – поэт всё равно оказывался неким переговорщиком между многими профессиональными, психологическими и мировоззренческими нишами, хотя зачастую и был вынужден обороняться от них всех: мало кому под силу мириться с фактом существования многомерно и многовременно мыслящих людей, каковыми и являются истинные поэты. Да и люди ли они?! Не иначе как посланники не то богов, не то злых духов!.. И стихослагатели понимали: их строки должны быть не только защищены, но и уметь защищать(ся). Поэтому (– уже в этом слове звучит «поэт»!) лучший способ научить стихи иногда становиться воинами – начертывать слова прямо на доспехах, мече, копье, стрелах, арбалете... А действеннее всего – на самом себе! Издревле считалось: слово, начертанное на теле, приобретает несравнимо более длительное могущество, чем просто изречённое. Это убеждение прослеживается во всех древнейших культурах: от британских пиктов до австралийских аборигенов. Первыми почитался Хортазуэфф – божество охранительных тотемов, подаривший людям священный огам – письменность черт и резов; вторые поклонялись легендарному учителю рисуночного письма – Бугаджумбири. И по сей день среди британских поэтов, происходящих из Уэльса, Корнуэла и Шотландии, как и у писателей – выходцев из племён коренных австралийцев, сохранился обычай: приступая к написанию художественного текста, рисовать на тыльных сторонах ладоней знаки, похожие на доставшиеся от предков, как бы прося названных покровителей поэзии о помощи. Кстати, остаётся до сих пор не объяснённым: каким образом тотемная графика, вытатуированная на телах и тех, и других, строится на откровенно похожих элементах? Разрисованные (а может, расписанные?) с ног до головы пикты наводили суеверный ужас даже на бывалых воинов стоявшего в Британии римского легиона. По воспоминаниям одного из центурионов, прежде чем нанести рисунок на себя, пикты вырезали его на древесном срубё, выцарапывали на плоском камне или вычерчивали на земле, после чего прикладывались к «эскизу» телом, будто впитывая священные извивы оберега. Римские легионеры в Британии, укладывая камни в стены укреплений и полосы дорог, нередко замечали нацарапанные цепочки огамического «штрих-письма». Сами римляне не уставали удивляться: именно на таких камнях лучше всего отдыхалось; именно такие камни-книги дольше сохраняли солнечное тепло; раны присевших именно на них не гноились и быстрее заживали (сегодня мы бы назвали этот феномен «психосоматической самокодировкой» – чем не лингво-аутотерапия?!). А казаки-землепроходцы 17 века, исследовавшие Сибирь, описывали подобные ритуалы у юкагиров – исконных обитателей Красноярского края, чьи пиктографические письмена, проявлявшие аналогичные свойства, воспринимаются непосвящёнными как картины абстракционистов, а при переводе словно сами отливаются в форму верлибра. И такое должно считаться естественным, ведь «поэзия – это живопись, которую слышат» (Леонардо Да Винчи).

Сходным образом поступали и скандинавские воины: выгравировав на оружии вису или драпу (жанры поэзии скальдов), викинг не только наделял меч и доспехи именами/личностями (вспомним всеразящий молот Мёльнир, которым сражался Тор – один из богов Асгарда, скандинавского Олимпа), но и писал нечто вроде опозитизированной автобиографии. Знакомство воинов начиналось с изучения рунописи на мечах и щитах друг друга. Ну а если рунические строки нанести на собственное тело, то тогда, как считалось, станешь берсерком («неуязвимым»), даже не выпив традиционную настойку из мухоморов! Особое уважение вперемешку со священным трепетом древние скандинавы испытывали в адрес своего рода поэзо-жрецов, именовавшихся крафт-скальдами. Из них самой чтимую до сих пор считается Унн Высокомудрая («Сага о людях из Лососёвой долины»). Все их одеяния представляли собою единое стихозаклинание: в нём можно было прочесть руны всех видов футарка (рунического алфавита). Считалось, что крафт-скальды – не только переводчики языка небесных светил на языки людей, но и переговорщики между живыми, упедшими и ещё не рождёнными. Кстати, вспомним Пабло Неруду: «...Звёзды – это вечное свиданье с теми, кто ушёл и кто придёт».

Исландский эпос «Старшая Эдда» повествует устами валькирии (Valkyrja – «Выискивающая убитых») Сигдривы: «Руны победы, коль ты к ней стремишься, – вырежи их на меча рукояти... Повивальные руны... на ладонь нанеси... Руны прибоя познай, чтоб спасти корабли плывущие!.. Познай руны мысли, если мудрейшим хочешь ты стать!». Ганзейские купцы, побывавшие в 14 – 15 веках на Фарерских островах, изумлялись ещё бытовавшему тогда у потомков викингов обычаю: перед тем, как отправиться

в долгое плавание, моряки покрывали обнажённые тела своих жён, а частично и их одежду, рунической вязью. Они делали раствор сажи из домашнего очага и писали на коже женщин и детей, оставшихся их ждать, руны-пожелания. Прежде чем надписи успевали смыться/стереться, их носители выучивали фразы-обереги наизусть. Случалось, что мореплаватель возвращался после многолетнего странствия и был встречаем состарившеюся супругой и взрослыми детьми: взаимное узнавание происходило именно по тем стихам. При этом каждый рунический знак понимался уже не как буква или дифтонг, а становился целым понятием наподобие нероглифа. Учтём, что «runa» по-готски – «тайна». А разве поэзия – не тайнопись?.. «Поэзия – это то, что остаётся в нас после того, как оказываются забытыми все слова» (приписывается Францу Кафке).

Не моё дилетантское дело недоумевать: почему научный взор германистов, как правило, не дотягивается до исследований восприятия скандинавами раннего Средневековья творений сказителей-скальдов как магического проникновения в мир духов и «средства связи» с предками, а также способа враждующих кланов мирно договориться. Этому во многом посвящены труды (увы, не переведённые даже на английский!) К. Франка Йенсена – современного датского художника из города Роскилле, поэта и исследователя древних символов. Г-н Йенсен рассказывал мне предания, хранимые в их семье последние шестьсот лет. Не во всех поколениях их рода рождались поэты, но родившийся «отрабатывал» за все предыдущие, добывая на одежду и пропитание сочинением «цеховых баллад»: объединения ремесленников различных специальностей умели ценить стихосложение о своей работе – прежде всего, из практических соображений. Распевая во время работы строфы о самих себе, мастера дарили себе возможность не уставать дольше, повышая надёжность своей продукции и, следовательно, спрос на неё. К. Ф. Йенсен вспомнил слышанную им в детстве от прадеда историю об одном из их предков, жившем на рубеже 16 и 17 веков и промышленявшем как раз поэзией – сочинением изысканных любовных посвящений и убедительных деловых посланий. Работа оплачивалась хорошо: через пару лет такого стихотворчества Гуннар Йенсен смог купить домик на окраине Копенгагена и даже издать сборник своих виршей. Но однажды произошла пикантная путаница: один клиент заказал написать две депеши, а посыльные, которым было поручено их доставить, оказались хорошими приятелями и, встретившись на улице, решили зайти в таверну. Тёмное датское пиво несколько размыло их восприятие окружающего, и оба нарочных понесли к адресатам конверты друг друга!.. Таким образом, предложение о судостроительной сделке получила юная купеческая дочка, а нежное любовное послание – её деловой дядя. Автору посланий, молодому корабелу, казалось, что родственники девушки недолюбливают его, но он нуждался в финансовой помощи богатого купца. Барышня же восприняла письмо как изобретательную попытку назначить свидание близ пристани и уверилась в незаурядности своего избранника. Зато её дядя сразу всё понял. Правда, его насторожила строчка, начертанная буквами ютландского футарка (рунического алфавита): хотя некоторые влюблённые пары использовали их в интимной переписке, в христианской (к тому же протестантской!) Дании руны считались колдовскими знаками (родственная им по форме знаков васконская, или иберская, рунопись была запрещена ещё в 1018 году вердиктом Толедского собора как «бесовские иссечения» и «ключи к адским вратам»). Но здравый смысл купца взял верх, и в городе стало известно о двойном торжестве: заключении сделки и помолвке. Что до Гуннара Йенсена, то его заработки заметно возросли. О нём заговорили как об умеющем поделовому сочинить любовный мадригал и амурно добиться выгодного контракта!

О важности главенства чувств (посмею сказать: вычувствованного) в поэзии и в искусстве вообще писал швейцарский мыслитель и издатель Иоганн Якоб Бодмер (1698 – 1783). Когда читаешь его главный труд – «Kritische Abhandlungen von dem Wunderbaren in der Poesie» («Критическое рассмотрение чудесного в поэзии»), опубликованный в 1740 г., крепнет ощущение, будто он сперва написан различными типами футарка, а уж после переложен на более позднее готическое письмо. Не удивительно: в этом трактате Бодмер призывал немецких поэтов ориентироваться на древнегерманское литературное наследие.

Малоизвестно, что у шекспировского Гамлета был исторический прототип – сын влиятельного родового вождя, живший в Ютландии (Дании) во второй половине 7 века. Его имя – Амлютт; записанное рунически, оно может быть переведено (точнее, расшифровано) как «Светильник, Боящийся Собственного Света». Представители враждебного клана вырезали почти всю семью молодого Амлютта, чему он стал случайным свидетелем и уцелел лишь потому, что вовремя инсценировал сумасшествие. Принц с детства научился виртуозно владеть техникой написания стихов составными, «сращенными» рунами, что редко встречалось даже среди наследственных жрецов Скандинавии. Они использовались в важнейших секретных посланиях. Составленный ими текст был похож на пригоршню шиповатых клубков, постижение смысла которых требовало досконального знания около дюжины разновидностей футарка (рунического



алфавита): вписывание или удаления малозаметной чёрточки могло сильно изменить смысл текста. Оперировав такими рунами-связками и следуя закону кровной мести, Амлютт сумел поспорить между собою всех убийц, покарвав их руками друг друга.

Эпос «Эдда» пропущен через исторический и текстологический анализ поколениями скандинавистов, но он остаётся неполным без изучения устных семейных преданий сегодняшних жителей скандинавских стран. А ведь именно в них сохранились живые примеры весьма прозаического использования поэзии (как тут не заговорить о прозе!): она оказывалась чем-то сродни не то витамину, не то психостимулятору, а иногда становилась самоучителем выживания с помощью поэзии. Именно им представляется вторая часть «Младшей Эдды» – «Язык поэзии», замешанное на мифологии наставление по использованию многоярусных поэтических метафор – «хейти», и определений – «кеннингов». А при правителях любых стран и эпох удачные поэтические определения ценились высоко, но неудачные стоили дорого... Вот почему должность «законоговорителя» в древних Германии и Скандинавии была сколь почётна, столь и рискованна: будучи центральной фигурой альтинга (всеобщего совещательного схода), этот человек был обязан произносить законы тогда ещё неписанного кодекса межклановых отношений не только чётко, но и с соблюдением форм скальдической поэзии. За неточности «законоговоритель» подвергался изгнанию, что было равносильно скорой и мучительной гибели от голода и хищников.

Один из кеннингов, представлявших понятие «поэт», звучал так: «пастух сверкающей чешуи рыб золота водопада речей». Для скандинавов эпохи викингов и скальдов расшифровка кеннинга была в чём-то сродни нынешнему разгадыванию кроссворда, и начинать её следовало с конца. Так, получалось: «водопад речей» = стихи; «золото водопада речей» = потаённый смысл стихов; «рыбы золота водопада речей» = умение донести смысл стихов до адресата; «чешуя рыб золота водопада речей» = уместность использования метафоры (хейти); её «сверкание» = эффектность/убедительность сказанного; и, наконец, «пастух» всего этого узла иносказаний – сам поэт, скальд. Говоря современным языком, он – скиталец по мировосприятиям и архетипам, умеющий с каждым из них говорить на его языке, делая последний ещё притягательнее (московский математик и философ В. Г. Кротов как-то назвал поэзию «намагничиванием слов»). Не забудем, что современное исландское слово «thulur» – «диктор» в поэтическом контексте означает «мудрый стихотворец», «поэт-сказитель». Другой исландский синоним понятия «поэт» – «oddr» имеет также значения «дух», «душа». Интересна и такая необъяснённая: пикты называли своих шаманов «uzzurktan». На нынешние европейские языки (кроме, пожалуй, Euskara – баскского, возможного родственника пиктского) это понятие односложно не перевести. А смысл его таков: «Мудрец, который обучает камни читать собственные души знаками трещин».

Божеством, «отвечавшим» за поэзию, считался Браги (по-исландски «bragr» – «наилучший», «первейший»). Он представлялся своего рода переводчиком с речений богов на говоры людей, а также с обыденной речи на язык скальдов. А когда человек сталкивался с воинствующим, а то и роковым непониманием, то вздыхал: «Видно, сегодня в Асгарде кто-то кого-то недопонял, и потому Браги слишком занят!..».

Одно из самых таинственных мест Исландии – Годифосс, Водопад Богов, что на реке Скьяльвандафлюот, в 20 км от города Акюрейри. Уже несколько веков поговаривают: если мучающийся отсутствием вдохновения поэт проведёт у водопада хотя бы день, время от времени умываясь в нём, то творческих трудностей ему более не видать. В новейшие времена «помощь божественных струй» была распространена и на остальные области людских занятий – от рыболовства до бизнеса. Но кем бы ни был по профессии «проситель удачи», он должен первым делом непременно прочесть какие-нибудь стихи: так Браги узнаёт, что обращаются именно к нему. И представьте: помогает!

Само же название места восходит к прошлому рубежу тысячелетий – времени христианизации исландцев. Тогдашний «законоговоритель», желая своим авторитетом подать пример, «отдал» водопаду все бывшие у него деревянные и каменные фигурки богов-асов. Но он не швырял их как отслужившие своё предметы утвари, а уважительно опускал в воду по одному, предваряя и завершая каждое действие прочтением скальдических строф. И люди знали: уступая место официальному единобожию, их древние божества остаются с ними как домашние, родовые обереги, раз обряд прощания пропитан поэзией. Говоря сегодняшними терминами, исландцы были уверены: линия связи «Земля – Асгард» продолжает действовать. Их потомки ощущают это и по сей день. В Исландии легенды о контактах между богами и людьми на языке скальдических стихов очень популярны; такого почти не встретишь в континентально европеизированных Дании и Норвегии, и уж тем более – в американизированной Швеции. Когда в Исландии были возведены первые церкви, их стены периодически исписывались руническими висами: так выражали свою верность верованиям предков приверженцы старых богов. Реакция большинства

священников может служить примером мудрой терпимости: они объявили, что будут рады разъяснить духам-стихосочинителям основы христианской веры. Тем более что буквы футарка так похожи на видоизменения креста. Стало быть, для написания строк из Библии и молитв вполне пригодны рунические стихи!.. Заметим, что некоторые специалисты по текстологическому анализу считают: Библия написана верлибром и версетом; это близко к формам поэзии скальдов, особенно к скальдическому размеру, называемому «квидухатт» (он представлен в известной «Рёкской надписи» первой половины 9 века).

Древнескандинавские «стихи», выросшие из жреческих наговоров, заклинаний и напутствий (или, на языке филологов, «эпико-магических инкантаций») условно подразделяются исследователями на старшерунические (2 – 6 века н. э.) и младшерунические (7 – 10 века = «эпоха викингов» и 10 – 11 века = «столетие саг»); это даже не поэзия в нашем сегодняшнем понимании. Большинство учёных считают несостоятельными попытки усмотреть в этих строках некую версифицированность, т. е. стихообразие (концепция «протостиha» – «Urvers»), считая, что оно происходит из наличия чёткого фразового ритма, во многих случаях акцентированного аллитерацией (нем. «Stabreim»). Она характерна для всей древнегерманской поэзии и является вырифливанием эмоционально-смыслового рисунка через повторы согласных. Но в рунических надписях отсутствует минимальное условие стихотворного текста: членение на равноударные строки.

Судя по «Сагам об исландцах», последние умели равнодушно отвечать на удары повседневности, защищая при этом честь своего рода. Правда, их понятия о чести были, с нашей точки зрения, весьма своеобразными. Так, рассказывается о «безжалостноглазых» людях с Западных фьордов, донимавших мирных соседей с южных берегов Исландии грабежами и издевательствами. Однажды, в очередной раз возвращаясь с добычей – несколькими овцами и двумя юными девушками – налётки вдруг осознали: они не зарубили родителей девушек и их маленького брата. А если так, то по всему острову о них вскоре заговорят как о рабителях, но не как о воинах! Закон чести истинных викингов – не оставлять противников в живых! И пришельцы с Западных фьордов повернули обратно. Но, прибыв на место, застали там жителей из соседних селений, впрочем, безоружных, которых могли бы легко перебить. Этого не случилось: пленённые девушки в пути прочитали руны на мечах и шлемах вояк, а оказавшись перед скоплением народа, предложили своим похитителям эти руны прочесть. Выяснилось, что те не понимают рунических знаков, следовательно, оружие и доспехи украдены. Не смогли «храбрецы» даже вису сложить-прочесть в своё оправдание. Пришлось им с позором убираться в свои фьорды, отпустив и овец, и девушек...

В конце 1990-х годов, участвуя в одном международном арт-фестивале, я познакомился с уроженкой Исландии, известной певицей и актрисой Бьёрк Гудмундсдоттир (по-русски её имя и фамилия могут звучать как «Берёзка Златоустова»). Достаточно беглого взгляда на её внешность, чтобы понять: её предки – из инуитов, «индейцев» Гренландии, к середине 14 века догромивших тамошние поселения потомков викингов, а ныне спивающихся от крепкого датского пива... Разговорившись с Бьёрк, я выяснил: звезда джаз-рока не владеет языком предков, а о рунах знает лишь понаслышке. Мне не забыть галлюциногенного выражения лица Бьёрк, слушающей мои разъяснения потаённых смыслов её имени, начинающегося с руны «berkana», символизирующей древнейшую богиню плодородия и возрождения, но с другой стороны – правительницу царства мёртвых. Визитные магические свойства этой руны – защита, гармония и самоанализ. На вопрос Бьёрк: не шаман ли я? – ответил: «Нет, всего лишь поэт». Бьёрк недоумённо спросила: «А разве это не одно и то же?..»

По сути, поэтически взирая на мир, человек незаметно для самого себя снова и снова приготавливает некий эликсир бессмертия – как максимум; а по меньшей мере – мощнейший антидепрессант. И главное его действующее начало – удивительнейшие загадочные парадоксы, омногомеривающие повседневность и превращающие далёкие от поэзии области в полигоны для испытания новых мыслеформ. Так, однажды мне подумалось: столь далёкое от поэзии произведение Ю.Семёнова как «Семнадцать мгновений весны» можно превратить в подобие эпоса о приключениях североамериканских индейцев, если сделать русские кальки тевтонских фамилий персонажей этой знаменитой эпопеи! Ну, с Вольфом и Мюллером всё понятно: это, соответственно, «Волк» и «Мельник». А вот с другими поинтереснее. Судите сами: Шелленберг – «Звенящая Гора»; Холтофф – «Благосклонный Щит»; Гиммлер – «Небесная Притча»; Борманн – «Воин-Сверло»; Плейшнер – «Плачущий Снеговик»; Гитлер – «Горячий Ученик»... И, конечно же, Штирлиц – «Бычий Ремень».

А как-то раз, гуляя по Рязани, я забрёл на улицу Новосёлов. Это типично советское название почему-то тут же «выстрелило» в меня по-итальянски: «Casanova» (Казанова). И сразу срикошетировало в одного из главных героев фильма «Служебный роман» – Новосельцева. Интересно было бы узнать: имел ли в



виду итальянский подтекст этой фамилии сам режиссёр Эльдар Рязанов (кстати, однофамилец города, где случился описываемый эпизод!..)?

Однажды, экспериментируя с «вплавленными» в фотокомпозиции разноязычными стихами, я ощутил, что этот жанр требует нового названия. Рассудил: есть латинское слово «манускрипт» – «рукопись», и греческое «фотография» – «светопись». Так почему бы не быть их симбиозу? И сделал ещё одну поэзо-кальку: «люменоскрипт»,,,

Поэтически изречённая мысль всегда дарила людям шанс «достучаться до небес» – не столько тех, что над головой, сколько тех, что внутри них самих. Одно только последнее обесмысливает вопрос: а может ли быть у поэзии жизненно важное применение? Думаю, поэзия – это лишь в-пятых рифмованные строки, а во-первых – в-четвёртых – это мощнейшее лекарство от психологического дальтонизма и плоскодумия; это путь к омономериванию взгляда на все стороны жизни и в то же время – способ взглянуть на себя со стороны.

Осмелюсь завершить это эссе собственным «стихоткровением», сочинённым около двадцати лет назад в процессе освоения разных вариантов футарка: ведь мой личный критерий владения языком – писать на нём стихи. «...Когдаходишь во фьорд, поклонись всем обрамляющим его скалам с твёрдостью их со-стояний, зачерпнув из перекрестья их теней память неродившегося ещё конунга... Склонись с борта твоего дракара и отпей из течений, тебя несущих, запомнив вкус каждого, чтобы рассказать об их снах проросшему корнями в небо кусту омелы, плодоносящему недоговорённостями Фрейи... Вышивая рунами молний свой шторм, опасайся накрепко привязать его к горизонту, ненасытность которого может проглотить ещё не придуманные тобою отдалённости...».

ВЕРА ЗУБАРЕВА

ВСТРЕЧИ С БЕЛЛОЙ АХМАДУЛИНОЙ история двух автографов

Встреч было немного, но свет от каждой запечатлелся настолько, что ощущение её присутствия продлилось на долгие годы, навсегда.

...Я появляюсь на пороге мастерской Бориса Мессерера – «пристанище вольнодумцев», как скажет позднее она, – и шквал доброты, лучезарности и какой-то материнской нежности обрушивается на меня. Это как сон. Тем более, если учесть, что никто меня с ней не знакомил, никто не замолвил словечко. Да и кто замолвит? Ничего выдающегося я не совершила, жила себе в своей Одессе, писала, размышляла, пыталась разгадать её стихи.

В моих наивных студенческих мечтах всё было так: я позвоню, и она откликнется. Для чего позвоню, что буду говорить – об этом в мечтах ничего не было. Мечты (в особенности мои) имеют тенденцию сглаживать детали и нюансы, которые им ни к чему. Идеал на то и идеал, чтобы не заморачиваться на мелочах. Главное – идея, образ. А конкретика начинает вносить сумятицу, порождать противоречия. Поэтому о ней думать не надо, как не надо думать о вероятности такого поворота дела. Ты – единственный в своём роде. И вероятности тут ни при чём. Вероятности не работают для уникальных случаев. А она ценит именно такие случаи. Как там у неё сказано об этом? *«Нет, я ценю единственность предмета, / вы знаете, о чём веду я речь...»*. Знаю, знаю...

Телефон я нашла в телефонной книге. Такой толстенный, жёлтого цвета телефонный справочник. Очень добрый и услужливый в отличие от людей, которые частенько раздумывают, давать тебе искомую информацию или нет.

Справочник был явно придуман такими, как я, для таких, как я – с улицы. И поэтому у нас с ним с первого взгляда возникла глубокая симпатия.

– Ну что, брат-справочник, – говаривала я ему вечерами на кухне.

– Ещё нет, ещё нет, ещё маленький секрет, – отвечал он мне, понимая, о чём я.

И я писала «Стихи о Саде и Садовнике» и «Лунный путь», предвкушая встречу, развязку которой рисовала себе так:

*И раскланиваться станет
Только с ночью и луной.
(«Стихи о Саде и Садовнике»)*

*Лишь одержимый
Сможет так рискнуть
И мчаться,
Обгоня вихри, смерчи,
И получить в подарок Лунный путь
Взамен
Невероятной встречи.
(«Лунный путь, или Поэма о стихах»)*

Ну и, конечно, читала, читала, пыталась проникнуть в тайнопись её сказаний. И вот в один прекрасный день справочник подморгнул мне нужной страницей.



– Ты уверен? Ну, ладно.

Набираю заветный номер.

На том конце снимают трубку, и её голос отвечает:

– Слушаю.

Вот и всё. Этого следовало ожидать. Что же теперь? Когда тебя слушают, нужно говорить. Я говорю. Получается какой-то шелест, как листья в саду. *«Я вышла в сад»*... Спыхватываюсь, называю своё имя. Представляюсь кое-как. Полное отсутствие знакомых. Что она подумает?

Она оживляется, узнав, что я из Одессы. Я вслушиваюсь, боясь пропустить что-то важное. Нужно запомнить всё-всё, ведь это больше не повторится.

Либо её голос звучит глуше, либо волнение притупляет слух. Ничего не могу понять, запомнить, ответить. И вдруг:

– Верочка, приезжайте!

Это не ко мне. Там, наверное, какая-то её московская знакомая или родственница, моя тёзка.

– Приезжайте! – повторяет она.

В трубке гудит, как при взлёте. Ну что ж...

Кучевые кроны остались внизу вместе с Чёрным морем. Мы летели, летели, летели... Я летела с первой минуты её приглашения, а мой муж присоединился ко мне уже в самолёте.

На следующий день я стояла на пороге мастерской Бориса Мессерера, той самой, на Поварской двадцать...

*Был дом на Поварской
(теперь зовут иначе)...*

Это было теплей и искренней, чем я себе представляла. За окном – ливень, капли медленно скатываются по лбу и щекам. Почти, как в её «Сказке о дожде», и на ум сразу приходит: *«Дождь, как крыло, прирос к моей спине»*. Она улыбается и приглашает меня в комнату. Там – стол длинный с креслами, и все разные.

– Присаживайтесь, – указывает она на кресла с улыбкой.

Хватаюсь за приглянувшееся, чтобы поскорее с ним слиться. Цель прихода мне всё ещё неясна. Она же и вовсе не спрашивает об этом.

По-прежнему улыбаясь, она ставит чайник на плиту, чтобы согреть дождь. У меня в руках цветы из Сада (Господи, совсем забыла!). Она берёт цветы, ставит в вазу, и мы говорим о Саде, о цветах, о Цветаевой...

– Вы принесли стихи? – спрашивает она.

– Да...

Читаю ей «Лунный путь...». Она слушает, чуть наклонив голову.

Когда я заканчиваю, она пристально смотрит на меня и говорит:

– А вы умны. И как ни удивительно, ни на кого не похожи.

Нужно сказать, что «Лунный путь...» был написан по следам её поэмы «Род занятий» (1982), разгадать которую мне удалось лишь недавно. Но в поэтическом плане я ухватила суть уже тогда, ухватила не подражательно, и не мудрствуя лукаво, как бы отбросив своё литературоведческое «я». И при этом сумела выразить идею единственности, творческой суверенности, написав: *«И не бывает встречи овна с овном»*, имея в виду знак, под которым мы родились.

Она встаёт, идёт к книжной полке, берёт «День Поэзии – 1984», извиняясь, что у неё нет сборника стихотворений, и подписывает его: *«Милая Верочка, примите мою любовь и дружбу!»*.

Затем вкладывает засушенный лепесток между страницами, поясняя: «это с цветаевского места». То есть, из того уголка Сада, в который я ещё не заходила. Лепесток будет храниться на её страничке все годы, пока однажды, к моему огорчению, не превратится в пыль.

Дождь прекращается. Мне пора. Сегодня у неё поэтический вечер в музее Маяковского, а день был щедро отдан мне. Пора и честь знать. Я поднимаюсь с кресла.

– Верочка, а я следила за Вами, какое из кресел Вы выберете, – с загадочной улыбкой говорит она.

Я молчу, выжидая.

– Кресло Бориса Пастернака, это очень хорошая примета, я загадала...

Я немею. Что тут можно сказать? Хорошо, что она оповестила меня об этом после. Читать свои стихи Белле Ахмадулиной в кресле Бориса Пастернака – не слишком ли много для первого дня?

– Ах, да, совсем забыла Вас попросить об одолжении! – спохватывается она. – Когда Вы вернётесь в Одессу, зайдите, пожалуйста, в библиотеку и попросите исправить опечатку в моём сборнике, вот на этой странице.

Она быстро пишет номер страницы и что следует исправить. Я, разумеется, сделаю это первым делом. Войду в надменный, с мраморными полами вестибюль, подойду к окошечку, в котором живой портрет библиотекаря-женщины строго смотрит на проходящих, и вымолвлю:

– Вот тут Белла Ахмадулина попросила исправить опечатку в её сборнике...

Протяну листок с номерами страниц, написанными её рукой, а библиотекарь только поднимет треугольник бровей, и ответит назидательным тоном:

– Не положено. Автор должен прислать нам письмо на бланке с печатью и подписью, а иначе это будет считаться порчей государственного имущества.

После этого она застынет в рамке окна, только очки будут посверкивать, как две большие опечатки.

– Не положено, – отрапортуя я со вздохом в телефонную трубку.

– Боже мой, какая нелепость! – скажет она. И добавит задумчиво, – Верочка, поцелуйте море!

– Конечно.

С морем будет гораздо проще. Оно подставит свои хлопающие губы и чмокнет меня в ответ.

Но это ещё впереди. А пока я обещаю позаботиться об опечатке. Она действительно глупая – вместо «сада» напечатано «ада»...

– Так я жду Вас вечером в музее, – повторяет она уже на пороге.

– Но там же, наверное, билеты невозможно достать? – волнуясь я.

– Что-нибудь придумаем, – обнадеживает она.

– Нас двое, – робко признаюсь я.

– Двое? А где Ваш... спутник?

– Муж, – уточняю я.

– Муж? Где же он? Ведь был страшный ливень! Он, наверное, совершенно промок! Давайте его пригласим, пусть обсохнет. Ну, как же так!

Она расстроена, хочет немедленно бежать вниз, разыскивать моего промокшего мужа, который из деликатности не согласился зайти к ней со мной вместе.

– Его чаем нужно напоить, чтобы он не простудился, – приговаривает она, направляясь со мной к лифту.

Я еле отговариваю её, убеждая, что, во-первых, у него есть зонт, а, во-вторых, он просто хотел побродить по Москве, которую неплохо знает, а в-третьих...

В-третьих, мой муж сидел на ступеньках лестницы её парадного и терпеливо ждал окончания дождя и встречи. Мокрый зонт стекал в углу, наплавав уже порядочную лужицу. Хорошо, что она не видела этого. «И как в ней уживаются эта высота и кажущаяся оторванность от всего обыденного с таким раскрытым всем болям и невзгодам постороннего мира сердцем?», – думаю, пока мы движемся с ним в неясном мне направлении.

Вечером мы встречаемся у музея Маяковского. Билетов, разумеется, нет, мы стоим у дверей, как она и велела. Она появляется, окружённая сатурновыми кольцами поклонников, и направляется сразу к нам.

– У Вас замечательный муж, – шепчет она мне на ухо. В роящемся зуде голосов её шёпот звучит как-то особенно веско. – Он редкий, – продолжает она. – Берегите его, не расставайтесь, будьте всегда вместе!

Мы проходим в зал. Пока мы идём по вестибюлю и лестнице, я ощущаю какую-то странность, которую поначалу не могу определить. Действительно, что-то необычное, даже как бы сюрреалистическое было в нашем шествии. Только спустя несколько секунд, до меня доходит, в чём дело: это не мы идём за ней, а она как бы сопровождает нас и при этом громогласно представляет меня налево и направо своим друзьям и устроителям вечера, которые отгородили нас от следующих за ней тесным полукружьем зрителей. От смущения не знаю, куда деваться. Здравуюсь с людьми, которые, наверное, принимают меня за кого-то, кем я не была, а она продолжает представлять меня, будто вечер не её, а мой.

Потом она усаживает нас в первом ряду, который держат «для своих», и наступает Сад...

Вот участь совершенной красоты:

чуть брезжить, быть отсутствия на грани.

А прочего всего – грубы черты.

Звезда возшла не как всегда, а ране.



*О День, ты – крах или канун любви
к тебе, о День? Уж видно мне и слышно,
как блестит в небе ровно пол-луны:
всё – в меру, без изъяна, без излишка.*

Её торжественность, даже какая-то ритуальность, предшествовавшая чтению, была на самом деле уже частью того действия, которое было «предстоящим» только для публики, но никогда не прекращалось в ней самой. Она была естественна на своей возвышенной сцене, как зритель был естественен в своём кресле. Интонации её в жизни были теми же, что на сцене и бумаге. Она была собой всегда и во всём. И безбрежность в любви и дружбе, так шокировавшая и смутившая меня поначалу (чем я заслужила такое?), была тоже естественной для неё.

По окончании вечера, помню, подходит к ней какой-то элегантный молодой человек, представляется, назвав кого-то из общих знакомых, и галантно склоняется над её запястьем. Потом так же галантно засовывает руку в портфель и вытаскивает букет бумаг с отпечатанными стихами. Мне издали видны длинные аккуратные строфы, рельсами бегущие по листам. «Этот – настоящий, не то, что я, самозванка», – думаю с лёгкой завистью. Она вдруг вспыхивает и говорит ему что-то быстрое с еле сдержанным негодованием в голосе. Слов я не разбираю, но поэт быстро отходит, и его сменяет Борис Мессерер, наблюдавший эту картину поодаль. Он деликатно кладёт ей руку на плечо и что-то шепчет на ухо. Она резко оборачивается в мою сторону и улыбается уже знакомой мне улыбкой.

– Верочка, Вадим, идите сюда, почему Вы там сидите? Всё уже закончено. Мы сейчас пойдём вниз, там все наши собираются. Вы не спешите никуда?

У нас как раз была назначена встреча с родными Вадима, и я ей об этом честно сказала. Кроме того, войти с ней в зал, полный её друзей, которым нужно будет представляться и пр., и пр., было для меня тяжёлым испытанием после такого дня. Я должна была унести его таким, каким он был мне подарен в чистом виде, без примеси банкета. Она тут же это поняла.

– Ну, что ж, раз так, то завтра непременно приходите к нам вдвоём с Вадимом. Договорились?

– Завтра мы уезжаем. У нас билеты на дневной поезд... Мы только на три дня с дорогой...

– Вот как... А Вы утром забегите ко мне попрощаться, ладно?

– Непременно забежим. Спасибо!

Мы благодарим за вечер.

– Видели того поэта? – лукаво спрашивает она, пока мы спускаемся по лестнице.

Я киваю.

– Борис сказал мне, чтобы я так не сердилась, а то Вы подумаете, что я какая-то бармалейка. – Смех вырывается на свободу, и мы все хохочем, снимая напряжение. – Терпеть не могу, когда ходят ко мне по знакомству, – говорит она, всё ещё храня смех в глазах. – Стихи свои суют, да ещё и на моём вечере! Небось, он и отсидел с одной только мыслью, чтоб стихи мне свои всучить. Вот Вы бы так никогда не поступили.

Внизу её уже ждут, жестами показывая, что пора, мол, все уже в сборе.

– Белла, ну идём же, все давно собрались! – кричит ей какая-то дама.

Мы прощаемся.

На следующий день, как условились, едем к ней. Поднимаемся на скрипучем лифте, а она уже встречает нас на пороге, сияющая.

– Проходите.

Мы проходим, но присаживаться нет времени.

– Вы торопитесь, я знаю. Вот, это Вам.

Она протягивает мне листок – письмо, отпечатанное на машинке.

– Что это?

– Предисловие к Вашей будущей книге стихов.

Вот это да! Об этом ведь и речи не было! Я беру, совершенно ошеломлённая, не зная, что сказать.

– Читайте, тут немного.

Беру листок из её рук, читаю... Поначалу трудно собраться с мыслями, буквы никак не складываются в слова. Наконец-то прорываюсь через их лес к первому предложению.

Я не скучаю по своей молодости и радуюсь молодости других – мне не хотелось бы провиниться перед ними... Время, когда начиналась моя литературная жизнь, обнаруживало и поощряло новые имена и предавало их быстрой и шумной огласке. Кроме общих обстоятельств времени, мне сопутствовала пылкая доброжелательность старших маститых коллег. Энергия этой безкорыстной благосклонности и хранила, и опекала меня, как бы для своей надобности добывая мои первые успехи. Лишь много позже я поняла, что видимая поблажка судьбы на самом деле была важным и суровым испытанием. Меня любили литы Тверского бульвара, многие люди взяли на себя труд сочувствия и соучастия, но некая строгая неусыпная звезда следила за мною с тревогой и уже сожалением – хорошо, что я успела заметить и понять этот заботливый укоряющий взор.

– Я тут всё о себе да о себе, – говорит она, поглядывая на меня с усмешкой, пока я медленно вчитываюсь.

Тех, кто щедро и расточительно помогал мне, да и всем, кто попался на добрые их глаза, – давно нет на свете. Сумею ли я посмотреть их любовным и охраняющим взглядом на тех, кто молод, на Веру Зубареву, например?

Сначала я увидела её стихи, воображение соотнесло их с морем и побережьем, с бликами, с хрупким чередованием блеска и тени. Прихотливый, независимый и несомненно ранимый мир открылся мне, явилась мысль о возможном обидчике воздуха и моря. И сама милая Вера очень понравилась мне! Я верю, что она слышит голос своей звезды, предвещающей удачу, но оберегающей от суеты, вздора, поспешности.

Её стихи – изъяснение ясной и суверенной души, грациозно существующей в осознанном пространстве. Я мечтаю и надеюсь, что у Веры Зубаревой выйдет книга. Чудесно, что это будет в Одессе! Само имя города кажется мне неопровержимо счастливой приметой.

Я держу драгоценный листок, в котором очерчен весь мой путь – от заповеди до благословения. Впереди – годы жизни, труда. Годы становления.

– Теперь я должна всё это оправдать, – отвечаю на её немой вопрос о том, что я думаю по поводу предисловия.

Она обнимает меня на прощание, и я уношу с собой её свет.

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

РЕНЕ ГЕРРА – 70. МОЖНО ЭТОМУ НЕ ВЕРИТЬ...

Рене Герра – личность особенная, по-своему звучная и уникальная. Если характеризовать его по сути, – он не кто иной, как *«полномочный посланник»* культуры русского зарубежья времён серебряного века, – тех старозаветных поэзии, литературы, живописи, – их он в душе сохраняет и проецирует в XXI столетие. О себе говорит, что считает себя *«собирателем»*. И тут, как веско сказал драматург А.Н. Островский, – «Слово найдено!». Современный, нынешний коллекционер зачастую относится к своей коллекции так – что-то приобретает, что-то продаёт... Но записывает в свой владельческий список, что у него побывало, – так строится, обретает «вес» коллекция... Рене Герра поступает иначе. Он обычно вообще ничего не продает. Только приобретает. Его коллекция ширится, в неё включаются всё новые раритеты, год от года она совершенствуется, наращивает свою таинственную цельность. Впрочем, мне известен всего один случай, когда Рене Герра выставил в частной галерее на Рублёвском шоссе более сотни живописных абстрактных работ писателя и художника Сергея Шаршуна. Устроив светский вернисаж, Рене продал всего одну работу... Но за сто тысяч долларов... И тут надо тонко понять, что собиратель умело произвел «аукционный» эффект – работа была реализована не ради вырученных денег, нет, Рене всему миру показал, что С. Шаршун, чьё наследие хранится в ёмком, удивительном собрании – художник высоко ценимый, признанный не только специалистами-знатоками, теоретиками-искусствоведами. И теперь эта работа меньше уже стоить не может! Следовательно, и другие картины ушедшего в вечность колориста-творца – ценны...

В качестве «полномочного посланника» культуры старой России, назначенного самой Судьбой, Рене ездил на родину того же С. Шаршуна, призывал в родном городе возвестить и прославить полузабытое имя. Побывал в Шуе, на родине самого музыкального из всех поэтов Российской империи, Константина Бальмонта, чей необъятный рукописный, эпистолярный архив он хранит. Побывал во многих музеях Марины Цветаевой, щедро рассыпанных по всей России, её письма – также неотъемлемая, золотая часть собрания. Уж не говорю о родных пенатах Ивана Бунина, чей огромный архив благодаря последней земной любви нобелевского лауреата, Галины Кузнецовой, тоже давно стал его достоянием... Бунинские материалы особенно любимы их пристрастным обладателем... Да где он только в «литературной» России не был!..

В первую нашу с Рене встречу в Московском университете, осенью 1994 года, – он грозно и пронично говорил о том, как несправедливо поступали и в советской России, да и во Франции, с мастером духовной прозы Борисом Зайцевым и его современниками, убежденными антагонистами большевизма... Услышав эту темпераментную, столь созвучную тому времени инвективу, при знакомстве я заметил ему, что общий тон его выступления, обличительный, соответствует ономастически смыслу его фамилии, – **Guerra**, – от французского «guerre», то есть «война», «борьба»... Я сказал – «Вы Воитель Герра!..» И он не обиделся, не отстранился, а подтвердил, сказал – «Я южанин, во мне это есть». И потом своим пером и словом не раз подтверждал такое мнение о себе. Его уважают как виртуозного знатока русского языка, поэзии, литературы, истории, персоналий – особенно первой волны белой эмиграции. Но порой он умудряется отважно, безоглядно и неосторожно «идти на Вы», наступая на «хвост» кое-кому из тех, кто, по его мнению, не особенно чист. Те, в свою очередь, ярясь, и изрыгая проклятия, пытаются ниспровергнуть его репутацию. Так что в учёной и литературной среде при упоминании имени французского слависта и культуролога не остаётся равнодушных. Кто-то начинает безудержно восхищаться его настоящим беспрецедентным подвигом – созданием ценнейшего, мирового значения, «Русского музея-коллекции» сразу в двух городах

Франции – в Париже и Ницце, а другие мрачнют, с трудом припоминая, что и когда о нём говорили ещё при красноречивой власти...

В беседе с журналистом Львом Сафонкиным, ныне уже покойным, Рене Герра в частности сказал – «Я хотел, чтобы это было ясно, понимаете, что это всё делается мной в поисках утраченной России. Я – собиратель России, той России, которой уже нет, на которую долгие годы здесь не обращали внимания, умалчивали, потому что интерес к этому не поощрялся, или даже карался. Но я, несмотря на всё, в меру своих сил, собирал всегда то, что мне нравится, то, что я люблю. Действительно, кроме картин, книг, у меня и рукописный отдел имеется, десятки тысяч раритетов и есть хранение. У меня хранятся письма художников и писателей от Сомова, Бенуа, Анненкова, Репина, Врубеля, Билибина и до Державина и Толстого. Естественно, львиная доля приходится на писателей-эмигрантов. Это – Бунин, сотни писем, Ремизов – сотни писем, Гишпиус – сотни писем, Мережковский, Бальмонт – сотни, тысячи писем. Это – самая ценная часть. Картин у меня тоже много, около пяти тысяч... Одного только Ремизова у меня около четырёхсот книг с его автографами. Или, например, Цветаева, Ходасевич, Георгий Иванов. Более десятка книг с автографами. И по этим автографам, по этим надписям, по этим инскриптам, как говорят специалисты, можно восстановить взаимоотношения между Буниным и Ходасевичем, между Ходасевичем и Ремизовым, между Буниным и Зайцевым, между Зайцевым и Бальмонтом и т.д. Всё это собиралось целенаправленно, это не просто капризы и прихоть французского западного слависта, это часть моей жизни, и не самая маленькая а, может быть, и самая важная. И я продолжаю это собирать...».

Рене Гера автор ценных книг, статей, в которых он проявляет себя как эмоциональный исследователь заповедной для него давней реальности. Немало написано и о нём самом. Кроме многочисленных очень живых интервью и очерков в 2012 году издана подробная, большая книга Л. Звонарёвой «Серебряный век Рене Герра».

Недавно прошел слух, что нашему «герою франко-русских горизонтов» скоро исполнится 70 лет. Но позвольте в это не поверить, ибо тот, кто увлечённо и деятельно оставляет глубокий след на карте культурного наследия, тот по-настоящему времени и возрасту не подвластен. Он живёт сознанием одновременно и в прошлом и в будущем. В будущем его ожидают новые обретения, в прошлом остаётся его уже бессмертный тонкий дружеский круг, который не забудется никогда.

СВЕТЛАНА ПОЛИНИНА

ДВЕ ВСТРЕЧИ

эссе

Посвящается Елене и Борису Кукловым

Тот год подарил нашей семье две изумительных встречи: с Байкалом и с семьёй Кукловых. Во дворе музея Паустовского после торжественных речей и выступлений мы запросто разговорились с Еленой Кукловой, выражая взаимное восхищение яркими летними нарядами. Первым удивлением было то, что эта красивая, элегантно одетая женщина, с первых же минут проявляла к тебе интерес и дружеское участие. Она говорила и смотрела на тебя так, будто знакомы были всю жизнь.

– Приходи в филармонию на программу о Цветаевой.

– Спасибо, приду обязательно. Кстати, у меня есть песня, посвященная Марине. А ещё мы с мужем лет семь подряд ежегодно бываем в Коктебеле. Он там летает на парaparане, а я пою.

«Услышу слово “Коктебель” и дрогнет сердца колокольчик». Не дав мне опомниться, Лена поставила среди тенистого музейного дворика пластиковое кресло, удобно, не изменяя своей царственной осанке, расположилась и сказала: «Пой». Вокруг снова люди, но, когда зазвучала песня, все выстроились у Лены за спиной. «Родившаяся не ко времени, с отметинкой на щеке...» – пела я под гитару.

– Спой что-нибудь ещё.

И я пела об Одессе, о любви, о весне... Шелестела зелёная листва, тихонько переговаривались между собой собравшиеся зрители, каркали вороны, шуршали машины, но ничто не могло помешать. В Леночкином взгляде было столько проникновенного внимания, что возникало ощущение диалога. Ещё не зная, какой Елена Куклова интересный человек и серьёзный большой артист, увидела я, какой она чуткий, внимательный слушатель.

– Ибо мимо родилась времени..., – прозвучал её магический голос. Ты помнишь эти цветаевские строки?

Конкретно этих строк я не помнила, ведь песня была написана на одном дыхании, на одной интуиции: после просмотра документального фильма о Марине Цветаевой стихи её вдруг открылись мне и стали созвучны моей душе. С того момента Цветаева стала одним из любимых моих поэтов. И родилась песня.

– Такие озарения приходят только в минуты настоящего творчества, – сказала мне Лена, и это было самой большой похвалой.

Узнав, что мы с мужем собираемся в ближайшее время на Байкал, и меня пугает эта дальняя поездка, Лена словно благословила меня:

– Я с гастролями объездила всю Россию, поезжай, ни за что не пожалеешь, а когда вернёшься, приезжайте к нам на дачу на Хаджибей. Буду ждать тебя, только обязательно с гитарой.

Поездка на Байкал была просто ошеломляющей. Через огромные российские пространства нас несли поезда. За окном мелькали леса, полустанки, большие и малые реки России. Погостили в Новосибирске, где Сергей закончил физ.тех и какое-то время работал в закрытом НИИ. Потом деревянный старинный Иркутск, и наконец, перед нами наша мечта – Байкал. Резко очерченные скалистые берега, хрустальная ледяная вода, которую можно просто так зачерпывать горстями и пить. Кругом разнотравье, опьяняющее сотнями запахов. Вокруг разбросанные (какой?) самовластной силой огромные валуны, покрытые яркими мхами и лишайниками, по красоте и изысканности напоминающие японские гравюры. Каждый лоскуток земли был здесь так красив, что хотелось заключить его в драгоценную раму. Плавая на резиновой надувной лодке вдоль берегов, мы ощущали вибрацию, исходящую от воды. Страх и почтение вызывало

это озеро, уходящее глубиной к сердцу Земли. Хотелось с Ним говорить и за что-то просить прощения. Три дня в палатках на берегу с Байкалом пролетели мгновенно. Уезжали с грустью. На обратной дороге нас накрыл сумасшедший ливень. И в это время в моём сознании «потекли» стихи. Учитывая, что за последний год я не написала ни строчки, было ясно, что вдохновение – это подарок от мистического существа по имени «Байкал».

ПРОЩАНИЕ С БАЙКАЛОМ

*В Баяндае нас дождь проливной исжестал.
Так рыдала душа, покидая Байкал!
Нам бы поэты поесть, вот тогда б отлегло,
Но и тут горемычным нам не повезло.
Я такого дождя не видала вовек.
– Нету поз? Ладно, тётка, давай чебурек.
Но табличка нам грусть остудила очей:
ПРОСЬБА: НЕ ЗАБЫВАТЬ
СВОИХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ!
Нет, хозяйка, об этом не надо просить.
Ты позволь нам хоть что-нибудь здесь да забыть,
Чтоб вернуться и пить из горстей без конца
Синь воды, растворяющей камни в сердцах.*

Когда вернулись, хотелось обо всём рассказать людям, близким по духу. Вспомнилось приглашение Лены Кукловой. И мы с мужем Сергеем, семилетней дочкой Олечкой, захватив гитару, поехали в гости к Кукловым. Тогда же произошла первая встреча с Борисом Степановичем Кукловым. За стёклами очков – внимательный доброжелательный взгляд, а в руках какой-то инструмент. Перед нами был не только врач, учёный, но, на удивление, практичный и мастеровой человек. Многое на их даче было сделано его умелыми руками и дышало их с Леночкой взаимной любовью. Двухэтажный домик на самом берегу Хаджибея утопал в цветах. Оранжевые настурции, красные сальвии, белые и розовые герани теснились в длинных ящиках у самых ног. В подвесных кашпо каскадом вились разноцветные петунии. Нижнюю веранду окружали зелёные шуршащие камыши, а прямо под полом – у нас под ногами – плескалась лиманская вода. Веранда плавно переходила в длинный металлический мостик на сваях, уходивший далеко в лиман. Маленькие комнатки и веранды, в которых я сначала совершенно запуталась, были одна уютнее другой. На стенах – гравюры, акварели, предметы палехской и хохломской росписи. Всюду маленькие столики, уставленные фарфоровыми статуэтками, вазочками с живыми и засушенными цветами. На втором этаже две открытые веранды. Диваны – качалки, застеленные уютными пледами, чучело пеликана, старинный шкаф и снова цветы, цветы, цветы. Каждая вещь в этом доме была памятью о Леночкиных гастрольных поездках или о госте, побывавшем здесь. Да, в этом доме гостей любили. Не случайно на нижней веранде, где обычно накрывался стол, были запасены нанизанные один на другой пластиковые стулья в невероятном количестве и, заботливо заранее надутые для плаванья в лимане, штук пять ярких пляжных кругов. На дни рождения собирались музыканты, поэты, художники, журналисты, врачи и юристы, поклонники, ставшие добрыми друзьями. Застолье не было главным, а бокалы поднимались только для того, чтобы выразить переполнявший душу восторг. Здесь читали стихи, слушали песни, звучали гитара и скрипка. Тихо перешёптывались камыши, а тёплый лиманский ветер, витавший повсюду, давал каждому ощущение полета. Здесь всех объединяла любовь к музыке, поэзии, к самой жизни и друг к другу. Атмосфера этого дома была прямым отражением души её необыкновенных хозяев. Каждая новая встреча с Леночкой и Борисом Степановичем становилась для нас настоящим открытием. Вызвались помочь Кукловым с переездом на зимнюю квартиру, и сразу же были прозваны «юными тимуровцами», а юным тимуровцам было уже под пятьдесят. С нами были ещё два «юных тимуровца» – Люда и Влад Меламед. Чудесные ребята. Родители четырёх талантливых детей музыкантов. Она – виртуозный пианист, Влад – инженер по сооружению мостов. Наша команда физиков и лириков весело таскала в микроавтобус тяжеленные баулы с вещами. Мы снимали со стен и укладывали в коробки расписные тарелки, ложки, картины, при этом боясь что-нибудь нечаянно поломать или разбить. Я периодически пыгалась уговорить Леночку оставить часть культурных ценностей здесь до весны:



- Леночка, дорогая, зачем вы везёте с собой всю эту «хохлому»?
- Эти вещи мне дороги, хочу, чтобы они окружали меня и зимой.
- Хорошо, тогда давайте оставим хотя бы часть Бориных инструментов.
- Ну что ты, а если ему нужно будет гвоздь забить?
- Так забьёт вашей расписной ложкой.

В конце концов всё было успешно погружено. Последним бережно выносили в клетке попутая Кукочку.

Зимняя квартира Кукловых потрясла нас количеством книг. Книжные шкафы во всю длину коридора и в комнатах от пола до потолка. Кажется, книги и журналы здесь были везде. Это была специальная литература по медицине, классика, поэзия, редкие книги и литературные новинки. Тысячи драгоценных книг. Хозяева знали им цену. Здесь было много литературы о Пушкине и о поэтах Серебряного века. Восхищению нашему не было предела, т.к. все мы в своё время пережили «книжный голод».

Когда мы с Серёжей уходили, Борис Степанович преподнёс нам драгоценнейший подарок – книги, да какие! Письма Марины Цветаевой, двухтомник «Жизнь Пушкина», «Быт и бытие Марины Цветаевой» Виктории Швейцер. Не могла дожидаться утра, чтоб поскорее начать читать. А утром раздался звонок. Борис Степанович, достаточно немногословный в повседневности, в таких изысканных словесных формах выражал нам благодарность за переезд, что мы были порядком смущены. Мы всей душою полюбили Леночку и Бориса Степановича, хотя самое главное открытие – встреча с творчеством Елены Кукловой – ожидало нас впереди. Это были восторг, радость, очищающие слёзы. В Малом зале Одесской филармонии, набитом до отказа, звучали золотые россыпи слов Паустовского, и зрители, смущаясь друг друга, утирали слёзы. Они то вжимались в кресла, страдая вместе со своими героями, то снова расправляли плечи и облегчённо вздыхали, следуя за голосом завораживающим, ведущим, повествующим.

На сцене – Елена Куклова – мастер художественного слова. На любой, пусть даже импровизированной сцене, она – как всегда естественна, величественна и прекрасна.

Я наблюдала за ней и за зрителем, влюблённым в свою актрису. Сколько почитателей с неизменным постоянством приходили на уже виденные ими программы. А Лена словами нежной благодарности одаривала своих зрителей и музыкантов, которые вместе с ней провели программу. Она, как маленькая восторженная девочка, тут же готова была раздарить друзьям всю охапку букетов, подаренных ей поклонниками. Это от неё я впервые услышала: «Какая замечательная профессия “артист” – цветы, аплодисменты, зрительская любовь. Зачем же нам ещё и деньги платить?»

На всех её концертах в первом ряду с камерой, установленной на штативе, неизменно присутствовал Борис Степанович. Он смотрел на неё внимательным любящим взглядом. Мы привыкли видеть его на всех Леночкиных концертах. Мы знали, насколько у них творческий союз, и как велика роль Бориса Степановича в процессе создания этих программ. Но мы не могли и предположить, как быстро его не станет. Его место опустело. Тот год был для Леночки годом мужества. Не сломиться, не сломаться, не сдаться помогли ей преданность слову, людям, профессии.

Как быстро его не стало... Как мало нам довелось дружить. С таким человеком и жизни было бы мало, не то что двух неполных лет. И всё-таки, какой яркой была каждая встреча! Нас память возвращает к этим встречам, и, оказывается, было там немало смешного и забавного. Как здорово, что это было в нашей жизни:

– Помнишь, как в первый приезд к Кукловым на дачу наша семилетняя Оля затихла часа на полтора, обнаружив у Леночки в спальне несколько кукол? Она всех этих кукол передела, наплела им кос, навязала хвостов, да так, что их узнать было невозможно. В первый момент хозяйка горестно воскликнула:

– Олечка, что ты с ними сделала, это же Верочка Зубарева, выдающаяся поэтесса, подарила, навсегда уезжая в Америку?

– Ну и что, – сказала Оля, – Так им намного лучше.

И Леночке пришлось согласиться.

– А помнишь, как Борис Степанович ненароком отредактировал твоё детское стихотворение?

– Как же не помнить. Тогда меня от стыда в дрожь бросило, а сейчас, через много лет, улыбаюсь.

Дело было на одном из моих концертов. Мои дорогие и любимые Кукловы сидели в первом ряду, искренне радуясь и переживая за меня. Сразу после концерта Борис Степанович подошёл с поздравлениями и очень деликатно заметил:

– Светочка, позвольте мне обратить ваше внимание, что в одном стихотворении у вас получается не совсем приличное слово.

– Не может быть, Борис Степанович, я всё редактировала.

– Ну вот, смотрите, вы же поёте: «Ох, уймись вы, лягушки, Не жуужжи, колафик, в ушки...»

– Да, – смутилась я, – с лягушками я как-то не досмотрела. Ситуация была, явно, анекдотической. Текст исправила на ходу и стала петь в колыбельной: «*Да уймись вы, лягушки...*». А первоначальная фраза пошла в народ.

Какой это был светлый и чистый человек огромных познаний в медицине, литературе, а главное – в самой жизни. Он выбрал предназначение жить просто и естественно, делать то, что любишь, никого не судить, всем помогать по мере своих сил и оставил яркий немеркнущий свет в наших сердцах. Какого сына воспитал! Анатолий Куклов – выдающийся физик нашей современности, а скромностью и простотой в общении очень напоминает отца. Нам посчастливилось познакомиться и принимать всю их семью у себя дома. Какой восхитительно гармоничной парой были Борис и Лена. Он был для неё всем: соавтором программ, видеооператором, (нас поразили горы отснятых плёнок с её программами и папки с газетными статьями о ней дома). Если нужно, был стилистом, парикмахером, легко мог укоротить новую шубу или платье. Многие мы узнали по рассказам Леночки, которая не уставала восхищаться своим Боренькой. Но то, чему я сама стала свидетелем, поразило особенно:

В наш последний дачный переезд Борис Степанович выглядел неважно, но держался из последних сил. Приехали в квартиру. Серёжа внёс стопку зачехлённых концертных Лениных платьев. Борис Степанович прилёг, обессиленный, на кровать и тихим слабым голосом попросил:

– Серёженька, пожалуйста, повесьте все платья вешалками в одну сторону, иначе Леночке трудно будет их снимать.

Он заботился о ней до последнего вдоха.

Холодным январским вечером мы шли с Леночкой после мужественно проведённого ею концерта памяти Бориса Степановича. Хотелось её как-то утешить, ободрить, но тогда у меня были всего две строчки. Лена, сдерживая слёзы, сказала: «Напиши стихи о Бореньке», – и вот что я позже написала:

*В небе от края до края смерть распахнула зонт,
Но солнце не исчезает, скрывшись за горизонт.
Свято пустое место замыслом красоты,
Каждым цветком чудесным будешь казаться ты.
Сжатые губы каждой из твоих тысяч книг
Будут спасать от жажды в руки берущих их.
Знахарь, мудрец, учёный, гением доброты
Воду водой свящёной делал с улыбкой ты.
Будешь и впрямь лучистым взглядом нас врачевать,
Из облаков пречистым дождем проливать,
Преданнейшей из женщин слёзыньки омывать,
Голосом юным, вещим знаки ей подавать.
Скажет: «Совсем одна я» – выдохнут камыши:
– Я ведь с тобой, родная! Слышишь? Живи! Дыши!*

Спасибо тебе, судьба, за столь ценный подарок: скрещение наших судеб. Если бы пришлось сравнить этих двух замечательных людей Елену Яковлевну Куклову и Бориса Степановича Куклова с каким-нибудь чудом природы, то сравнить их можно было бы только с чистым глубоким, исцеляющим душу Байкалом.

«ФОНОГРАФ»

Елена Миленти (22.01.1963 – 31.05.2016) – поэт, член Южнорусского Союза Писателей и Одесской областной организации Конгресса литераторов Украины. Родилась в Одессе. Стихи писала с юности.

Победительница городского конкурса поэзии «...И чувства добрые я лирой пробуждал...» (2009), победительница поэтического конкурса «Цветавская осень в Одессе» (2010), финалистка Первого Международного Гриновского фестиваля в Одессе «Алые Паруса» (2010). Стихотворения были опубликованы в журнале «Южное Сияние» (№ 3, 7, 12); в альманахах «Меценат и Мир. Одесские страницы» (2006, Москва), «Дерибасовская – Ришельевская» (Одесса), «ОМК» (Одесса), «Звукоряд» (2003, 2006, 2010, Одесса), «Ликбез» (2011, Барнаул), «Золотая Ника» (2012, Одесса); в коллективных поэтических сборниках «Пространство слова. Od.ua» (2010, Одесса), «Сто» (2011, Одесса), «Пять» (2014, Одесса); в газетах «Всемирные Одесские Новости», «Одесский вестник», в интернет-журнале «Авророполис» и т.д.. Автор сборника стихотворений «Импульс» (1997, Одесса).

Когда мы готовили к выпуску этот номер, ничего не предвещало беды. Вроде бы, не предвещало.

У неё было несколько публикаций в «Южном Сиянии», и она всегда присылала много стихов. Потому что сама никогда не знала, что хорошо, что не очень. Вот и в этот раз Лена прислала стихи, много – как всегда, чтобы была возможность выбора.

Думаем, что душа её отражается в стихах – как в зеркале.

Смешная, ироничная, пронзительная и печальная. Крылатая.

Такой мы знали Елену Миленти.

Такой мы и запомним её.

ЕЛЕНА МИЛЕНТИ

НЕБО СВЯЗАНО С ЗЕМЛЁЮ

Второстепенные все сказаны слова,
Для главного – эпоха не созрела.
Уж к дворнику обращена листва
Лицом приговорённого к расстрелу.

Тепло лучей скользит по мостовым,
Подёрнутым осеннею дремотой.
В такую пору страшно быть слепым –
Особенно, когда воскликнет кто-то:



«Где тот чудак, что осени мятеж
У солнца взял займы и втихомолку
Одел всю землю, золото одежда
Прошив дождя серебряной иголкой».

Пришёл ноябрь. В разгаре листопад.
Шуршит листва под тихими шагами.
А за моим окном, зелёные, стоят
Два тополя с печальными глазами.

Им сказку шепчет ветер, старый сноб:
Быть молодыми вам до будущего лета,
Но укоризненно кора морщинит лоб –
Уходит год, кольцуя ствол победно.

Обманом сладок листьев пережной.
Вдыхай всей грудью жёлтый этот иней.
И помни, что зима не за горой
И первый снег так девственно наивен.

Два тополя зеленые стоят,
Назад растерянно свой обращая взгляд.

Время больших любовей прошло и маленьких – тоже.
Всё, что смеётся и плачет – укрой рогожей.
Всё, что трепетно, невесомо под сердцем таится ребёнком,
Не обнажай мимо идущим жестом и звуком громким,
С собой унеси в пропасть безвременья. Если
Всё растерять, что останется вдоух последнему?

В этом дворике в угоду
Всем погодам тополя
Затевают хороводы,
Чтоб по кругу шла земля.
Тех котов, что спят на трубах,
Провожающих тепло,
Всяк заметит и полюбит,
Кому быть здесь довелось.
Слышно бульканье в стакане
Сквозь соломку флейты дней –
Горловое воркованье
Сизокрылых голубей.
Тонкорунную доколе
Пуповиной тополей
Небо связано с землею –
Обними меня скорей.



Давай устроим с тобой пир
Не на весь мир, а на весь дворик
И всё, что Бог пошлёт – удвоим
И стол из досок сотворим,
Что пахнут горькою смолою,
Легендой древних усачей
И позовём былых друзей
Со всей их светлостью былою.
Забудем мрак и морок дней,
Не наступивших только в дальнем
Отсеке – памяти проталин,
Где свет – левой и свет – правой.
И тост за тостом – им числа
Не счесть – польются безотказно
И, превращая будни в праздник,
Прольются песней купола.

Летел, как ветер, аксакал.
Он сто веков подряд скакал.
А конь, касаясь пиков скал,
Из них созвездья высекал.
Был ростом всадник тот не мал –
Мизинцем тучи протыкал,
А указательным перстом
Он чиркал молнию и гром.
И вряд ли помнил он о том,
Родные где его и дом.
Он позабыл, зачем, в каком
Году дорогой был влеком.
Пыль проникала ворот за
И обесцветила глаза.
Но лишь тогда, когда гроза,
В них расцветала бирюза.
Всё нёсся всадник сквозь леса –
На землю падала роса.
Но раз в полвека аксакал
Под водопадом пыль смывал,
И стадо диких коз съедал.
А ручеёк, что с гор сбегал,
Одним глотком он вышивал.
Не ведал аксакал, зачем
Он мириады дней, ночей
Сквозь хаос солнечных систем
Летел.



Порой блестит не всё, что золото,
 Но, теща взор, к себе манит
 Вчерашний день куском отколотым
 Роняет, как метеорит,
 Сгорая, явь и сновидения,
 Полдневный свет, полночный мрак.
 День, ночь, рассвет и снова день и –
 Как сигарета натошак.

Тень от баркаса на песке.
 В зените солнце – еле слышен
 Волны за всплеском вялый всплеск,
 Что ветром нехотя колышем.

Где соль, песок, слепящий свет
 Неразличимы друг от друга,
 Сквозь вечность каждый миг продет
 Стежком, натянутым упруго.

И что сравнится с блажью той,
 Когда, закрыв глаза от света
 Отяжелевшею рукой,
 Растаешь ты на блюде лета.

Кто-то вклинил эту землю
 Между морем и лиманом –
 Видно, тот, кто замер, внемля
 журавлиным заклинаньям.
 Кто ступил на эту землю,
 Прикоснулся к неземному,
 Одолеешь за неделю
 От себя тропинку к дому.
 Время, прожитое верно,
 Здесь припомнишь самым лучшим,
 Рыбака улов вечерний,
 Подаривший пришлым людям.
 У песка свои законы
 То текуч, то жив, то тих он,
 Ты возьмишь его в ладони –
 Он не хочет покидать их,
 А порой скользит сквозь пальцы,
 Щели хоть залей цементом.
 Хорошо идти скитальцем
 По земле, забытой кем-то,



Сквозь небес лететь бездонность,
Дар от звёзд теряя речи,
Где-то рыбина их словно
За икрой икринку мечет,
То созвездие слагает,
То бросает врассыпную,
Ни одна зря не сгорает,
Коль желание не всуе,
И когда тебя усталость
Косит, как траву косую,
Засыпай, твердя: *«Как мало
я под этой бездной стую!»*

Трава растёт,
как будто силы всей Земли подчинены одной ей только
И семя одуванчиков настолько сроднилось с воздухом,
что, кажется,
весне самой неловко от безумной жажды
продолженья жизни.

От времени не жди движенья вспять;
И потому цени и пестуй
свой каждый взлётный шаг,
и лёгкий поцелуй, дыханьем сорванный,
его же невесомей.
На землю ляг в мучительной истоме,
Но прежде – одуванчик расколдуй.

«ОКОЁМ»

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПТЫ ФАЭТИКИ

Фаэзия – философско-художественное направление, возникшее в геокультурном пространстве Крыма в начале XIX века. Один из путей анализа фаэзии (фантастической поэзии) – рассмотрение концепций мира и личности, выдвигаемых этим новым литературным направлением. Какова же модель мира, создаваемая фаэтами в своих фаэмах. Каковы её ключевые концепты? Фаэзия зиждется на трех «китах» фаэтики: **трандискурс фаэта**, или *сказки внутреннего бога*; **фаэтическая трансметафора** и основной концепт – **Фаэт-Крым**.

Трандискурс фаэта, или концепт фаэтики – сказки внутреннего бога

Несколько слов о свойствах концепта как такового.

Концепт творится философом и несёт его авторскую подпись (аристотелевская субстанция, декартовское *cogito*, кантовское *a priori*). Концепты соотносятся с персонажами и воплощаются в них.

Концепты располагаются в «дофилософском» «плане имманенции», который представляет собой некий «образ мысли» (мысль мысли, мысль о мысли), «горизонт событий», «резервуар» для концепта, некую «пустыню», по которой кочуют «племена-концепты». Идея концепта теоретически была разработана в Средние века Петром Абеляром. Обращённость к «другому» (имманентный план бытия) предполагала одновременную обращённость к трансцендентному источнику слова – Богу, потому речь, произносимая при «Боге свидетеле» всегда предполагалась как жертвенная речь, которая, по Абеляру, воспринимается как «концепт в душе слушателя» (Абеляр Пётр. Теологические трактаты). Концепты связаны не формами рассудка; они есть производное возвышенного духа, или ума, который способен творчески воспроизводить, или собирать (*conspicere*), смыслы и помыслы как универсальное, представляющее собой связь речей, и который включает в себя рассудок как свою часть; концепты формируются речью, которая осуществляется не в сфере грамматики (грамматика включена в неё как часть), а в пространстве души с её ритмами, энергией, жестикюляцией, интонацией, бесконечными уточнениями, составляющими смысл комментаторского искусства. Концепт предельно субъектен, способен изменить душу индивида.

В фаэтике меняется отношение к идее концепта. Концепт из плана имманенции перемещается за горизонт событий благодаря диалогу фаэта с богом в себе. Обращённость к другому, к трансценденту перестаёт быть речью, произносимой при боге-свидетеле, она превращается в трандискурс фаэта с богом в себе, с внутренним богом. Такая смена концептуальных ролей происходит посредством *фаэтической трансметафоры*.

Фаэту свойствен выход за пределы линейного мира априори. Он тот, кто *поставил мысли на ноль* и дал точку отсчёта для новой творческой вселенной. Он вступил в диалог с самим собой как с богом. Он сказал: «Я – бог, я создаю природу бога в себе».

У человечества в процессе эволюции произошла подмена понятий: люди отделили свою природу от природы богов, и природа богов ушла за пределы мира людей, здесь появляется особое пространство, возникшее «trans» – за пределами познания, за пределами дискурса мышления человека. Это пространство становится мифопоэтическим, природе богов поклоняются и служат средствами поэтики. В данном контексте метафора – средство иносказательного уподобления качеств природы богов и вещей мира людей, но



это именно метафора, хотя и привлекаются сравнения не линейного мира людей, здесь метафоричность именно в косвенной иносказательности, здесь речь идёт о привлечении ряда отдалённых подобий разных миров: богов и людей. В данном контексте, например, кеннинги скальдической поэзии – суть метафоры.

Текст современного автора, как вещь в себе, сочленяет разнородные множества, сходящиеся в дискурсивные ряды.

В новом формате заложена и обыгрывается сама возможность диалога между сходными мифологемами из различных мифологических структур. И здесь заходит речь о трансметафоре фазта, исходящего из собственной природы бога, ведущего диалог на равных с богом в себе – *трансдискурс*. Бог в себе и есть вертикаль и возможность создавать максимальную амплитуду интерактивных сочленений со множеством предшествующих состояний-сообщений. Этот интерактивный дискурс автора со своим альтер-эго – богом, комментирующим ассоциативные аллюзии творца, переходит в новый формат текста. Сложная степень интерактивности превращает первоначальный текст во фрагмент самого себя. Знание и опыт в процессе написания этого изначального текста настолько внутренне, переплавляясь, концентрируются, превращаясь в вещь в себе. Текст как вещь в себе становится непознаваем для читателей, поэтому автор возвращается в текст, в процесс его написания.

Максимальная концентрация на нюансах текста выявляет в сознании их многообразность. Каждая аллюзия превращается в отдельную историю. Эти истории – или сказки внутреннего бога – необходимо рассказать, чтобы выявить для читателей вещь в себе, сделать её познаваемой и узнаваемой.

Формат становится качественно иным – *трансдискурсом фазта*.

Сказки внутреннего бога

Такое явление переноса мифа творца – в мир реальный ярко проявилось в творчестве Велимира Хлебникова:

Крымское. Запись сердца. Вольный размер

Здесь мы встречаем пример аллитерации, служащей для создания состояния сфумато, когда *«тени сини»*, *«в женщине вы найдёте тень синей?»*, *«Рыбаки не умеют»*. Явления подобного плана в состоянии видеть и создавать только художник, творец, рыбаки же, наклоняясь, «сети сеют». Сродни творцу ветер. *«На бегучие сини ветер сладостно сеет запахом маслины цветок Одиссея»*. Здесь включается ассоциативный ряд, в нём, наряду с образами реальных людей, появляются мифологические фигуры и предметы. Как в рассеянном состоянии сфумато, постепенно реальный мир размывается, всё больше мифотворческих элементов добавляет абрисами, нечёткими контурами автор-творец:

*И начинает казаться, что нет ничего невообразимого,
Что в этот час
Море гуляет среди нас,
Надев голубые невыразимые.*

Такова внутренняя специфика проявления мета-метонимии и проникновение элементов фантастического в мир обыденных реалий. Полуденный жар крымского взморья располагает творца к выявлению новых, уже его собственных мифотворческих реалий, перенесённых в долгий крымский день, переходящий в закат:

*Всё молчит. Ни о чём не говорят.
Белокурости турок канули в закат.
О, этот ясный закат!
Своими красными красками кат!
И его печальные жертвы –
Я и краски утра мертвые.
В эти пашины,
Где времена роняли свой сев,
Смотрятся башины,
Назад не присев!*



Где было место богов и земных дев виру,
 Там в лавочке – продают сыр.
 Где шествовал бог – не сделанный, а настоящий,
 Там сложены пустые ящики.
 И обращаясь к тучам,
 И снимая шляпу,
 И оставив ногу
 Немного,
 Лепечу – я с ними не знаком –
 Коснеющим, детским, несмелым языком:
 «Если моё скромное допущение справедливо,
 Что золото, которое вы тянули,
 Когда, смеясь, рассказывали о любви,
 Есть обычное украшение вашей семьи,
 То не верю, чтоб вы мне не сообщили,
 Любите ли вы “тянули”,
 Птичку “слию”,
 А также в предмете “русский язык”
 Прошли ли
 Спряжение глагола “люблю”? И сливы?»
 Ветер, песни сея,
 Улетел в свои края.
 Лишь бессмертновею
 Я.
 Только.

И вот мы видим, как творец, рассказывает свою внутреннюю историю, сказку внутреннего бога – и на место, «где шествовал бог – не сделанный, а настоящий, там сложены пустые ящики», творец заполняет пустоту сюжета собой, ставя точки над *i* в этой истории бесконечного крымского дня: «бессмертновею Я. Только». Мы видим как запись сердцем крымского дня становится историей бессмертного – и бессмертной историей нового бога. Таковы аллюзии фаззии в творчестве Велимира Хлебникова.

Фазт-Крым: карта странствий

Крым – уникальный пример полифонии эндемичных явлений. На протяжении веков и тысячелетий в Крыму складывалось удивительно ёмкое сочетание автономных культур. Эта локальность и закрытость была обусловлена географией проживания различных народов на территории Крыма, их образом жизни: оседлым или кочевым, родом занятий, особенностями уклада жизни, своеобразием мировосприятия, философии, религии.

На заре расцвета Крыма задолго до начала нашей эры – 2500-3000 лет назад возникшие по всему побережью греческие города-полисы были закрытым средоточием греческой культуры, хотя торговый обмен различными предметами, в том числе и предметами культов, с народностями, населявшими горный и степной Крым, постепенно вели к преодолению закрытых автономностей. В средневековом Крыму уже появляется такое явление, как город-полифонист. Так средневековый Гезлев западного Крыма, будучи главным морским портом, соединяющим морскими торговыми путями города Чёрного и Средиземного морей, был уникален и по своей внутренней структуре. Гезлев состоял из эндемичных кварталов: еврейского со своим культовым зданием – синагогой, караимского с храмом кенасы, цыганского квартала, татарских районов с мечетями и текие. Обособленно в любом приморском городке в Крыму жили греки, немцы и множество других народностей. Так постепенно складывался уникальный по своей структуре образ Крыма: образ дробящихся автономий – от племён и народностей, занимающих определённое географическое пространство на территории Крыма, – до закрытых этнических групп, заселивших кварталы городов. Эти дробящиеся автономии в пределах города сочленились в единое полифоническое многоголосие. Единым полифоническим организмом становился сам Крым, остров городов и районов. И уже масштабнее, в зависимости от ландшафта, запад, центр, север, юг и восток Крыма – звучали особенными



полифоническими композициями.

Эта прамбула – иллюстрация идеи фаззии, её среза уникальных многоголосных созвучий, особому поэтическому звучанию, особой полифонии строф и стихотворений крымских фазтов.

Крым – уникальный источник: тысячелетняя древность – смесь и взвесь голосов и даров.

Крым как путь для творческого духа, души, ищущей своих истоков, слышащей голоса древних, отвечающей им изначальными ритмами, звуками, творящими свои времена и пространства, созвучными мирам древних.

Фазт, как греческий аэд, как суфийский ашик, выразитель памяти древних, населявших тот или иной центр полифонического звучания в Крыму.

Карта пути странствующей и ищущей души: от рассвета, от озарения образами, навеянными востоком, от греческого города-полуса Керкинитиды, средневекового Гезлева западного Крыма в путь, в поисках сокровенных открытий.

ФАЭТ ЗАПАДНОГО КРЫМА ЕЛЕНА КОРО

Фазтике Коро свойственно созвучие перекрестом миров, выводящих слушателя за пределы линейно-горизонтального пространства-времени. Она выводит на перекресток фаззии древних богов, заселивших пространство Крыма культовыми сооружениями, жертвенниками, языческими храмами, менгирами. Миры её сердца звучат в тональности фа-поэзии, её точка отсчёта – перекрёсток богов, «тот, кто поставил мысли на ноль», слегка проничен к прыжку балерины лирической героини Коро из мира сиюминутного – в мир вневременных категорий. Но это добрая ирония греческого аэда, посвящающего неопита во вневременную паузу цезуры. Это пауза внутри гомеровского гекзаметра, это цезура, сочетающая в фазтике Коро мир постоянных величин и мир ускользящих от обыденного сознания архетипов посредством *фазтической трансметафоры*. *Фазтическая трансметафора* в творчестве Коро притягивает к архетипическому образу, природа которого вневременна, подобие не из мира трёх измерений, нет, из ассоциативного внутреннего пространства Коро, в котором согласно законам ассоциации субъективно сосуществуют исторические факты, культурные мифологемы и осколки сновидческих реалий. Историческая достоверность, сновидческая метафора и архетипическая трансцендентность, – вот основные фазтические аксиомы в творчестве Коро.

Полифония – неотъемлемая составляющая творчества фазта. Полифония Коро – перекрёсток миров, её творчество определяет изначальный ноль, из которого мелодиками стихотворных циклов звучат закрытые автономные миры, объединяясь в единый миф, в единый мир с помощью фазтических трансметафор.

ЕЛЕНА КОРО

ЗАВРЫ ОЗАРЕНИЯ

Завр заревой – прародитель зарей.

Зари суть завры озарения.

Также зари суть земли, озаренные зарями-заврами.

Антипод зарей – пали – выжженные земли.

Мастера строят башни-маяки на зарях, дабы не выжрали их пали,

ещё заревые завры, зря в бойницы башен зрячим зрачком, озаряют зари.

Таковы завры озарения!

Завры заката

в зареве зрят зари.

Зари зрачок

озарил белопенную кипень.

Завр заревой зрит

в зари морские с тоскою:



где ты, подруга?
В море полощет
чёрная женщина, ночь,
белый саван дня.

ГРАНЁНЫЙ БОКАЛ МОРЯ

1.

ГЕЗЛЕВ

Город горбатился верблюдом двугорбым,
Сгорбив презрительно губы.
Губчатой сгорбленностью сгорбились пирсы,
Питаясь солённостью моря.
Волны горбатились, набегая
На жёлтый песок под пирсом.
Пирс горбатился, налегая
На жёлтый песок пушистый.
Песок горбатился, дюнясь в складках
Маленького побережья.
Мечеть минаретами
Горбами верблюжьими,
Губами исламскими
Горбила воздух города
Призывами громоподобными.
Собаки горбатились воем,
Пеной горбатилось море,
Вбирая морскими губками
Исламские звуки города –
Сгорбившегося верблюда.

2.

Гранили гранитом,
Нанося грани,
Изумрудный бокал моря,
Вспененный лазурью
Граничащего с горизонтом неба.
Мороженщик-бог
накладывал щедро
пушистую пену тучек
в гранёный бокал малахитовый,
в гранях играло солнце.
Жара опускалась тяжёлой тучей
на город, гордившийся морем.
Он минаретами
пил жаркий воздух.
Он пирсами
приникал к малахиту,
стремясь к горизонту
губами воздушных струений,
стремясь осушить
изумрудный бокал моря



и утолить безумную жажду дня.
 Видимо, бог-безумец
 обручил город и море,
 обрекши жарой безумной
 на вечную жажду,
 неутолённость солёного поцелуя.

3.

Городу – верблюду двугорбому –
 Гранёный бокал моря
 Бог – соучастник событий –
 Поднёс. Губами скорбными,
 Томясь медузою гордою,
 Город вобрал в себя море.
 Пенясь, оно стекало
 по гранитным ступеням берега,
 опенив гранитные губы.
 Город плевком верблюжьим выстрелил,
 губами гранитными выгранил
 тело медузово моря.
 Бог-холстомер тело
 мерою вымерял,
 катерами да яхтами.
 Город, мазила, вымарал
 мазки на холсте моря,
 катера подогнав к пирсам.
 Пенилось оно и струилось
 в огранке гранитного берега.
 Город губами верблюжьими
 целовался беззвучно с морем.

ЦИКУТА ЦИКАДЫ

Цикады сон: циан цикуты
 в прозрачном сердце стрекозы
 в закат закутан.
 И цитры «цо»
 как поцелуй цикады-девочки...
 Стреножен стрелокрыл-кузнечик
 и зацелован... в смерть...
 Цикады цокот смолк.
 Закат в цикуте.
 Ткёт белый саван дню
 Сверчок...

САД ДЕРВИШЕЙ

Сад дервишей, курильщики в ханской беседке снов.
 Сладкий запах с прелой осенней листвой снова
 уносит в мир, где в узкой улочке черепичный бой,
 сбой матрицы, тонкое восточное лицо,
 взгляд, забирающий душу в рай, где наложницам



платят опиумом, звоном струн, танцем странников
под абрикосом, чьи листья курятся дымком, оков
не снимавший с души, вдруг уснул – и пришли
вороном на старом абрикосе – перелётные сны...

ЦЕНЗУРА

Тот, кто поставил мысли на ноль,
Иронично изрёк: «Изволь,
Кланяться балерине,
Сжавшей уста в пантомиме
Не свершившегося прыжка –
Из ещё – в отныне».

Виясь змием,
Знаком вопроса на хвосте замерев,
Намертво, на середине...
Цезурой в гекзаметровой строке,
Как бы уже, но всё же на середине пути:
Всходит из сумерек белых...
Кто же на паузе замер?
...розовоперстая Эос???

Тот, кто поставил мысли на ноль,
Паузу выдержит,
Как актёр на сцене...
Дабы свершившимся фактом
Утвердить уже то,
Что дано накануне.

Пауза, ноль, змий,
Вопросом замерший,
Но не в начале,
В процессе творенья,
В середине:
Если бы не вопрос, не змий –
Стало бы ныне?
Так думали греки,
Мысля гекзаметром,
Прервав действие
Паузой посредине...

ДОЧЬ МИТРИДАТСКАЯ

Чёрная женщина, чётный день месяца,
Чётки из ясеня, руны – на рубище –
Падалью падали в чёрное палево.
Пали – и чёрным подолом покрыла их.
Руны прикрыла коленями чёрными,
Пальцами в палево – сушь да окалина.
Ах, окаянная да бесприютная,
Чёрными палями – дочь митридатская.



Чёрными весями не обезвестишься,
 Не заневестишься – занавес палевый.
 Сушью – да в палево,
 Прахом – да в месиво
 Чёрного пороха – чумного запаха.
 Только не в чуме – невестой,
 Но с посохом посуху, замертво
 В тьму тараканию.

ФАЭТ РАССТРЕЛЬНЫХ МЕТОНИМИЙ – МАРИНА МАТВЕЕВА

Основа её фазтики – *семантический контрапункт*. Семантической трансметонимии её фаззии свойствен взрыв основного значения слова, для того чтобы вскрыть изнутри глубинные трансцендентные смыслы. Она применяет контрапункт изнутри самого слова: часть слова против части слова. Следуя традиции футуристов изначально, Марина выходит за пределы разложения слова на части, футуристический метод словотворчества в её фазтике переходит на уровень *фазтической трансметонимии*: ночная = **ночь.на.я**. Здесь контрапунктом «ночь» на «я». Качественное прилагательное «ночная» претерпевает семантические метаморфозы, превращаясь в дискурс частей, в трансдискурс «я» лирической героини, «как летучая мышь невампирного вида», и существительного «ночь» **«new-ампирного типа»**. Здесь прерогатива букв для трансцендентных смысловых превращений, как микро-знаков семантического ядра.

Мы вновь наблюдаем метод дробящихся автономий расстрельными трансметонимиями. Таково своеобразие полифонии фазтики Марины Матвеевой. Такова «искрымсканность» её фаззии.

МАРИНА МАТВЕЕВА

Чем ты живёшь, человек с глазами страуса?
 Чем ты живёшь? Почему прыгуч и весел ты?
 Вот ты идёшь – долгожданной Санта-Клауса...
 Мог бы – картиною на стену повесил бы

руки изящные, нежные, не грубые –
 саблями, шпагами, тонкими рапирами...
 Вместе с улыбкою тридцатидвузубою,
 с радостью искренней... Долго репетировал?

Руки настенные – не к кресту прибитые...
 Очи огромные – только не от боли вот...
 Зубы блестящие – золото испытывать...
 Ноги прыгучие – души отфутболивать...

Я так устала, словно муха, биться
 в стекло тюрьмы, открытой лишь в него...
 Я отказалась за него молиться –
 казалось, счастлив он и без того.



Когда входила в храмовые залы –
за всех просила. Только одному
ему в свече задравной отказала –
казалось, не нужна она ему.

Здоров, красив, богат, доволен жизнью...
Уж лучше помолюсь я за того,
убогого... На нём лохмотья виснут,
душа и кости – больше ничего.

...Нет, есть ещё зияющие раны...
Кричащие, как двадцать лет назад –
Измученная женщина в задравной
свече ему решила отказать...

Хочется шептать: простите, люди, –
так просты слова.
Думала: со мной уже не будет.
Думала: мертва.
Думала, что я у нас эсминец
списанный. Музей.
Что *оно* тут сраму-то поймет
на кривой козе.
Знает, сука: к сильной не пробиться –
у неё щиты.
Выдан мирозданьевской больницей
«Сдохнешь, если «ты» –
ей рецепт. Уж никогда не сдохнет
мамочка-яга,
что спасает взглядом войско зомби,
друга и врага.
...Но *оно* – такое... Рядом. Тенью.
Ждёт, когда «в дрова»
рухну я от переутомленья,
выдержки не хва...
Чтоб накрыть меня и переехать,
на дыбу взволочь,
вытащить на крючьях из доспехов
сукиную дочь.
Чтоб не мёрзлой «личности» проекты –
ржавые цветы, –
а орущей вечности аффекты:
«Сдохнуть – или ты!»
...Но на сдохнуть нет дарёной лепты
краденого дня.
Как там без меня мои проекты?
Как вы без меня?
Как там без меня, мои зайчата,
ходунки хвостом?
Вас ведь нужно обжалеть сначала,
а себя потом...



А иди ты в пляс, моя культура!
 Писай кипятком!
 Я тут НАУ слушаю, как дура
 с белым потолком.
 Завтра петъ пойду я в лес палёный
 или на вокзал.
 Да смотреть магнитно-исступлённо
 смерти во глаза.
 Знать и знать: а ни черта не будет –
 карма, дрын ети!
 Только не за это Боже судит.
 Из твоей горсти
 до костей объевшись беленою,
 плюну на слова.
 Главное, что это всё со мною.
 Главное: жива!

Эта радуга просто чуть ярче, а не к войне вам.
 Эта ласточка просто летает, а не к дождю.
 Эта рыбка плывет себе просто, не видя невод.
 Эта ящерица не мудрствует среди дюн.

Эта женщина просто устала, а не «слабачка»,
 и мечтает она о защите не потому,
 что сама защититься не может от тех, кто пачкать
 этот мир лишь умеет и разум швырять в тюрьму.

Эта впадинка меж ключицами в ноль бескрестна.
 Эта звёздочка междубровная холодна.
 Эта женщина ведаёт чётко, как неуместно
 мелконьтие там, где хоть мирно, а вглубь – война.

Эта чашечка кофе – кощунство, как осетрина
 в катаджке; поведать врачу «У меня болит» –
 преступление, если ты страшном грехе повинна,
 что в тебя не стреляют, и нет здесь кровавых плит, –

значит, все хорошо. Значит – мужественна до точки.
 Значит, только улыбка, но сдержанная, – в гостях.
 Это просто цыплята – не часть пищевой цепочки.
 Эти аисты просто танцуют – не на костях.

Пусть так, пусть будет: я не сплю
 и перечитываю собственный loveoman,
 и каждый лист его тетради так изломан,
 и смертно каждое «люблю»,
 как будто взято на прицел.

...А где-то мама, что едва ли бы хотела,
 чтобы её глаза я разглядела,
 впервые на чужом лице.



Пусть так, пусть будет: аз не есмь.
 Не нужно азу ничего, за исключением
 пустынной трижды пытки корнеизвлечения
 обрывков белого из бездн
 и бревен из-под конъюнктив.

...А где-то мама, что едва ли бы простила
 за то, что я её ладонь схватила,
 другие руки отпустил...

Пусть так, пусть будет: от него
 я отмираю и решительно умнею:
 мои фуршетные бокалы вновь темнеют
 в изысканность, но отчего-
 то стенами стискивает зал...

...А где-то мама, что едва ли догадалась,
 что внучке не от бабушки достались
 её библейские глаза...

НОВАЯ КРЕСТЬЯНКА

Вставай, дорогуша. Дела неотложны.
 А боль подождёт. За делами – примнётся.
 Вставай, поднимайся, пока ещё можно,
 пока ещё ноги дойдут до колодца,

пока коромысло вползает на руки
 (наводит на мысли о стрелах и луке
 изгиб...)

О стрелах и луках, базуках и кольтах
 и прочем убийстве моральных уродов.
 ...А в небе вода так похожа на боль, так
 измучены тучи предчувствием родов

неправильных, трудных, с руками хирурга...
 Ползи, ё-моё, да поможет мне ругань!
 ...Мозги

устроены так, что любовь им – как вирус
 компьютерный, неуловимый «Касперским».
 ...Во сельской церквушеньке весь её клирос
 поёт о Любви... А душа изуверски

вдолбила себе: и греховно, и стыдно...
 А как? Если в дебрях кромешных не видно
 ни зги?...

В уродстве людском полюбить – не найдётся.
 И даже на залую любовь – ни козлищи.
 ...Заплавано дно у пустого колодца
 Водица исключилась. Скоро и пища...



Быть может, река мне поможет с водою?
 Знакома, родимая, с бабьей бедою
 и с гиб...

В глухом провале собственного дна
 все «он» – один, а все «она» – одна.
 Быть вместе – только прикоснуться дном
 ко дну, – для утверждения в одном,
 известном, но забытом:

«вместе» – нет.

Есть только дно от «вместе», а на дне –
 попыток недопытанных обрыв-
 ки, памяти гноящийся нарыв,
 а то и рана, тонко скрытый шрам...

Где дно за дно задело – это вам
 не поцелуй, не двух бокалов звон.
 Здесь звук другой: проржавленный

«бѐззз-донннн),

«бѐззз-дннна),

«бѐззз-дннни),

«бѐззз-годь),

«бѐззз-всегда)...

...верна...

...верни...

...Холодная вода

у дна, темна, мутна, безжизна, но –
*нет «вместе», если не познали дно
 друг друга – и не вырвали на свет
 крик ужаса...*

В глубинах – «вместе» – нет.

В глухом провале собственного дна
 оно одно: – о, дно!

Один.

Одна.

ФАЭЗИЯ ТРАГИЗМА. ЕВГЕНИЯ ДЖЕН БАРАНОВА

Поэзия Евгения Джен – как беотийский лад, катарсис пульсирующих минорных доминант, пронизывающий «вой бездомных аонид». Пульсары метафор оксюморонно сложны, уже запредельны – от мандельштамовской тревожности в «Ласточке» («Я так боюсь рыданья Аонид...») – сквозь высший катарсис реминисценций Рейна («Я тоже голошу: / О всемогущий Боже! Уж я тебя прошу: / Учи меня рыданью и масс и аонид, / Включи меня в преданье, от коего знобит, / Сожги меня до пепла и обрати в подзол...») – до ощущения воя бездомности, от-причастности, отторжения от корней. Изначальное, приписываемое Мандельштамом Пушкину, «рыдание безумных Аонид», Аонид, муз, обитающих в Аонийских горах в Беотии, в экзальтации катарсиса превращается не в «трагически рыдающий плач-звук ао», в вой бездомности, очень тихий, безлично-личный, саднящий вой обездомливания, когда больно и тщательно из памяти выживается

бледный лик: *«В невозвращаемость! / В нЕкуда! / В никудаА! / Чтобы не помнить! Чтобы совсем не знать! / Рой твоих родинок, мыслей твоих вода. / Как это больно / (и тщательно) отдавать!».*

Самозабвенно самозабвением себя самой и всех тех черт, что в поэзии Джен так рельефно выделяют Крым в пространстве времён – фаззией трагизма в фа-миноре – и эти ключи отрицания, трансметафоры забвения и отторжения только усиливают – до высшей кульминации – момент трагического звучания имени Крым – «радугой в июле»: *«Покинуть дом – лишь мысли оборвать, / тебя соединяющие с местом. / Лишь перестать при имени Иван / берёзу представлять или повестку. / Лишь перестать при имени Айше... / Лишь перестать в фамилии Зозуля / ловить кукушек».*

ЕВГЕНИЯ ДЖЕН БАРАНОВА

ШРИ-ЛАНКА

Выдаст бог – уеду на Шри-Ланку
аммонитом прежних метрополий,
бронзовым от солнечной огранки,
медленным, как глина или Голем.

Говорят, там люди прорастают
из ночного свода баобабов.
Говорят, там чаю обучают
каждого кофейного араба.

Говорят, что музыки излишек
отдают туристам белокожим
и стада мечтательных слонишек
набегают на ухо прохожим.

Охать, удивляться, фыркать, акать,
в инстаграме душу растворяя.
И забыть, что профилем на запад
ждёт меня земля моя стальная.

Один уехал на Чукотку,
другой в израильской глуши
вгоняет теги-блоги-сводки
в репатриацию души.

Знакомый в Риме,
друг в Бангкоке
(но ждёт билетов в Хошимин).
Как рыбу, глушат нас дороги,
не приводящие в один

из тех краев, где солнца муха
гуляет в чашке голубой...
Ползёт История на брюхе,
переминающая под собой.



Вожди сияют перламутром,
у подданных – стальная грудь.
Боюсь, боюсь однажды утром
на пражском кладбище уснуть.

СЕВАСТОПОЛЮ

И мой браслет,
и слёз собачьих блеск,
и осени божественная лажа.
Звони.
Звени.
Я уношу свой крест,
как тайну неглубокого корсажа.

Звони-звени!
Оливки.
Фонари.
«Всё по 15».
Барышни в балетках.

Когда уйдут все наши корабли,
на океан наклеят этикетки.

И разольют мой город по холмам,
по пузырькам для моложавых пальцев.
Когда уйдут все наши...
Океан
подыскивает новых постояльцев.

Регата. Парусник. Четыре корабля.
Сей список – журавлиный, красноперый.
Волна играет белыми. Маяк
выдерживает взгляды репортёров.

На побережье – бой и бабл-гам.
И жжёт глагол у хлебного киоска.
Регата. Парусник. К недалёким берегам
уходят одинокие подростки.

Как хорошо быть штурманом! А дни!
Какие дни стоят у Жюля Верна!
И мальчики становятся – людьми.
И блинная становится – таверной.

(БОЛЬНО И ТЩАТЕЛЬНО)

Больно и тщательно
(мыльной водой в носу)
я выживаю из памяти бледный лик.
Чтобы не помнить –
день в молодом лесу.
Странные-странные майские напрямик.



Больно и тщательно стеклышко стеклорез
 делает многочисленной и слабей.
 Чтобы не помнить –
 город на букву С.
 Его херсонесов, бункеров, лебедей.

Больно и тщательно –
 мелочно, жадно, зло.
 В старых кроссовках, в берцах, на каблуках.
 Так разделяет тоненькое сверло
 камень на до и после.
 На лепестках
 не оживают пчёлы.
 Так Млечный Путь
 движение кисти свёртывает в тупик.
 Больно и тщательно!
 То есть – куда-нибудь.
 В недостижимость всех телефонных книг!

В невозвращаемость!
 В некуда!
 В никуда!
 Чтобы не помнить! Чтобы совсем не знать!
 Рой твоих родинок, мыслей твоих вода.
 Как это больно
 (и тщательно) отдавать!

ПОЛОНЕЗ (ПРОЩАНИЕ С РОДИНОЙ)

Покинуть дом – лишь мысли оборвать,
 тебя соединяющие с местом.
 Лишь перестать при имени Иван
 берёзу представлять или повестку.

Лишь перестать при имени Айше...
 Лишь перестать в фамилии Зозуля
 ловить кукушек. Маленький ковчег –
 мой полуостров, радуга в июле.

Сосновый лес, смешная кукуля,
 которую не ест герой приезжий.
 Покинуть дом – матросом корабля,
 уткнувшегося мордой в побережье.

Едва заснёшь – припомнишь кубете,
 морскую пристань, скрип велосипеда.
 Покинуть дом – востребовать патент,
 вручить права бессоннице усердной.

Не помнить коз, которые паслись
 на сих холмах с приезда аргонатов...
 Покинуть Ялту! – Жизнь моя! Сложил
 тебя не самый терпеливый автор.



ПАМЯТЬ

что в памяти осталось голубой
не так уж много в том числе детали
ленивый лев диванчик угловой
мартышка с апельсинами в спортзале

пишастый мяч как зашивали бровь
рулет с корицей хруст китайских кедров
чернянка жар дреднуты коров
густое молоко перед обедом

подсолнухи саган при чём здесь грусть
тиль уленшпигель прочие meine lieben
так обожгло, что выжгло наизусть
две реплики и три-четыре книги

и что теперь как говорил в игре
антагонист увенчанный ковбойкой
гнездо на ветке стройка в декабре
и вид на упомянутую стройку

и дома нет и речка не течёт
и не занять товарищей у ленца
лишь памяти заржавленный крючок
ещё тревожит вымершее сердце

WINTER

Зимние люди похожи на клумбы.
Ходят зигзагом, и ромбом, и румба

в мёрзлом дыхании не ощутима.
Зимних гражданок топорщатся спины.

Кто-то с котомкой, а кто-то с кошачьим
кормом несётся вослед подлежащим.

Зимние девочки греют аллеи,
знаки эпохи над ними алеют.

Пёс понимает – в морозную известь
лапу макает, как в прибыльный бизнес.

Нет ни кораллов, ни лодки с марлином.
Есть только холодность дней этих длинных,

да каблукки обнажают суглинок.
...Я не умею рассказывать зиму.

РАДУНИЦА

Смерть моя!
 Не нарадуюсь!
 Радуюсь – понедельникам.
 Под одеялом розовым не догоняю сон.
 Сколько красивых саженцев так и не стало ельником.
 Сколько хороших мальчиков взмыло за горизонт.

Смерть моя!
 Заговорщица!
 Вижу юлу блестящую,
 гжель на широкой скатерти, хлебницу для галет.
 Как говорят писатели,
 ломка по настоящему,
 страх перед неминуемым,
 неугасимый свет.

Душно,
 да так что
 плещется
 искра в горячей лампочке.
 Тихо,
 да так что
 вертится
 ходиков хоровод.
 Смерть моя!
 Сука!
 Девочка!
 Ей не купили саночки,
 ей не вернули бабушку
 и не открыли торт.

 ФАЭТ ВАЛЕРИЙ ГАЕВСКИЙ (ГАЙ ВЕЛЕРАД)

Эксперименты по проникновению в истинную «природу слова» характерны для творчества Валерия Гаевского. Фаэтические миниатюры Гаевского закрыты для восприятия среднего читателя. Фаэт явно рассчитывает на свой круг воспринимающих, мифологемы Гаевского многослойны, сложны, автономны. Его тексты – вещь в себе. Гаевский безупречно владеет рифмой и строфикой. Они у него многообразны, динамичны, самобытны. Фаэтический инструментарий обширен, оригинален, гибок и всегда подчинен воле творца. В своих миниатюрах-медитациях Гаевский вступает в трансдискурс с Крымом, как творец с творцом: «Поступь моя – как проповедь. / В море сорвусь я пропастью»; «скалы на скалы – молохи!». Диалог фаэта с Кара-Дагом... Как будто два творца, дух горы и дух фаэта, на равных сошлись в едином творческом поединке. Здесь мы снова видим текст, как акт творения, как *мета-контрапункт*, *фаэтическую мета-метонимию*, когда в магическом противостоянии, совершенно закрытом от глаз непосвящённых, два сильных мага, священнодействуя, меряясь творческой силой, изменяют лик Крыма. Здесь можно вспомнить великого чародея Волошина, чей профиль явно был проявлен абрисом одной из скал на Кара-Даге.

В этом уникальность творчества крымских фаэтов: создавать в местах силы Крыма, одним из которых является Кара-Даг, сакральное пространство своих мифов. В этом момент фаэтики: фантастическое, предельно фантастическое, выводить за пределы фантастики, мифа с помощью таких инструментов поэтики, как трансметофора, трансметонимия, мета-метонимия, выводить за пределы фантастического – в реальность.

ВАЛЕРИЙ ГАЕВСКИЙ

И ОТПУЩЕН Я БЫЛ

Я родился в Шотландии
под звуки искрящейся флейтой джиги.
Пуповиной придушен, как рыба неводом, –
в этом лове едва не погиб.
Но с тех пор с моей памяти
словно бы сняли вериги,
И подняло меня в заозёрную странную жизнь
человечье-духовных разбуженных рыб.
Берег кельтской души
сторожил на холмах смоляные костры,
Звал в студёные фьорды
алохвостый мятежный лосось,
И волынщик пастух
трелью горных ручьёв
отпевал при дороге
чужие кресты...
Я на встречу ему
шёл спустя триста лет.
Наши тени обнялись...
Насквозь!
В трёх часах, где тропа –
в перекладинах гулких под шагом корней, –
Покачнулась как лестница,
и подтаявший склон Демерджи
Растворился...
Я родился в Крыму на излёте июньской грозы
на подлогах сарматских камней...
И отпущен я был
к голосам той моей приоткрывшейся жизни, –
К мифам снятой с запретов и едва уловимой межи...

Река изнеженной змей
ползёт, звеня браслетами и
бубенцами,
орлиный звук пытаюсь сбросить
гибкостью змеи
и телом звука оплетая
запястья скал,
она, как бабочка, клубящаяся в прели...
Цыганка, красунья гипсовой кости
ведёт меня среди расселин,
и местность выше, выше кажется,
но подступов к причалам этих гор
всё нет...



Не от того ли к горлу золотистым криком
вдруг подступает свет,
и я, забыв себя, лечу,
словно в крылатой колыбели?!

Я лес просил отдать мне десять смертных братьев.
Но десять смертных братьев я понёс в руках...
Я нёс их долго, в мыслях собирая плот,
Всё шёл... а сквозь туман – дерев струилась саттва,
и братья смертные мне мой зажали рот.
И две ладони так соединились...
Куда же нам теперь?
Молчали все.
И не молились...

В колчан нестрелянных семь красных стрел,
и лук тугой, и медленной тропой –
туда, где твой целительный настой...
Гора, ты пьёшь?..
А в теле дрожь
и жаркий звон...
То шорох каменных Горгон
костицы вен моих плетёт...
Так золотится небосвод,
что будто в памяти его
я пальцы разглядел ткащиц...
Но нет... взгляни! – весь этот цех во мне,
и ты сама мне – дивный самострел
в двенадцать крыл,
в двенадцать спиц!
Душа, здесь всюду, всюду свет живой...
Беги вихрастым пламенем лисиц,
колдуй, колдуй своей бессон-травой!

Глаза Богов земли моей
повыцвели от солнца,
а голос родников ушёл
искать подземные гробницы.
Волнуя царственную страсть
династии священных Сталактитов, –
он там поёт, должно быть!
Как с ним слиться...
Я по другую сторону земли.
Тут молоко иранской верблюдицы –
моё питьё... и хмель неустрашимый,
холмами дюн,
кочевьем вечных скитов
мой светлогорбий, но торжественно любимый



Калиф пустыни движется...
Смотрите!
...Огонь на башнях зажигают люди.

Безмолвный трепет каменного ложа.
Проточные объятия воздуха, и кожа,
Вся обратившаяся в зрящие цветы...
Но только преданному зрению ладоней
Даруется прикосновение. Исконне
Запаянные соты нежно-тёмной наготы
Сокрыты здесь...
Ковчег скалы в лобзанных вышних ветров
Недвижимо дышит...
И снова лунные неистомимые сосцы
Молочной пряжей заполняют
Гробницы Первородства –
Коконь ночной Земли.

Эй, дервиш кометный, эй, всадник крылатый,
И ты, ветропевный священник Атара! –
Вас трое на мачте, вас трое на башне
Того корабля, что кружит над планетой.
Да слышит ли всякий, да видит ли каждый
В порталах Тиштрии, Кейвана и Марса –
Сапфирные латы, жемчужные снасти
Мерцают над палубой лунного света...
Но я, досчитав до семнадцатой чётки,
Подам вам сигнал, как далёкие парсы –
Сожгу власяницу и выйду на плато,
В последней одежде обличья земного.
Пусть будет ноябрь и плещутся краски,
И рослые буки шумят надо мною...
Пусть вылепят ветры мой слепок бесплотный...
Я видел подмости – они несвободны.
Они невозможны. Как прятки на солнце...
Как лишкая ноша из мёда и воска
Раздавленных сот, где убитые пчёлы.

Погадай мне, Узунджа,
Кожей звонкой воды,
Сколь причудлива жизнь,
Как мне долго идти
По смарагдам твоим,
По султанам речным
Оперённых камней
И приветливых дней...
Погадай мне, Узунджа,
Если знаки просты



Этих светлых дерев,
Этих вервных корней
У сезамовых скал
В гроте птичьих следов,
Расскажи обо мне
Всё, что знать не готов.
По виньеткам прыжков,
Что тебе я дарил,
Погадай мне, река,
О клубнениях крыл...
Пресноводных рачков
Мириадовый хадж
К невозможным вратам –
Эта былль как мираж...
Хочешь – здесь просиди
До последних углей,
Всё поймёшь и вернёшь –
Даже птичьи следы...
А дельфийские сны
Пусть уносит ручей...
Погадай мне, сестра,
Пряжей звонкой твоей.

Вернуться в детство...
Торопливой тенью
Скользнуть в открытую калитку
Давно не существующих ворот.
Пройти двором, с которого уж день
Как съехали соседи...
Подпрыгнуть и качнуть ореховую ветвь,
Ловя смешки неумершей Дриады...
Остановиться.
В одно мгновенье вспомнить
Заботы летней детворы,
Изобретательной, как все они,
Азартные и молодые боги –
Парящий змей и письма,
Что скользят к нему по ниточке
В немыслимую высь...
Колодец – жрец,
Его железный ворот,
Крепкий трос...
Воды кристальной жбан
С монеткою на дне...
Раскаты грома, золотые лужи...
И счастливый дом,
Как будто перенесший снос,
Как сон
В предвосхищенье утра.



ФАЭТ АНА ДАО

В творчество Юлианы Орловой (Аны Дао), в мир её метафор погружаешься, как в неевклидовость мифа, в котором на перекрёстке богов в соравности контекстов магические образы живут с лирической героиней в каждом мгновении её путешествия, странствия по сакральным местам, бытия в местах силы Крыма: *«Пикантно думать о змеях и в них превращаться. / Мне – / С узорчатými ручьями... лучами... сливаться / И возвращать магию, как крымские сосны»*. Здесь магия мифа вплетается в пейзаж, произрастает из очарованности реальностью, порой, такой же волшебной, как мир фантастических образов... Фээтике Анны Дао присуща тонкая магия трансформации, её метафоры, притягивая по подобию «змеевидные русла рек» и сказочных змей-нагов, магическим превращением изменяют лик друг друга, третьей составляющей, незримо, сама лирическая героиня. Она творческое начало в магическом изменении лика мира. Здесь трансметафора – инструмент алхимического превращения одного образа в другой, здесь лирическое «я» героини – ядро её личности, тот самый универсальный философский камень, благодаря которому проявляется её способность создавать мир превращающихся и превращённых архетипических образов. Стихия фээзии Анны Дао – алхимия трансформации. Она фээт магической трансметафоры.

Лёгкая магия перетекающих из одного в другой тонких образов, ненарушаемая связь магического и реального, и тонкий сквозящий намёк на образы иных миров, в какой-то момент обретающих цвет, мелодию. И память, как странных знакомцев, принимает их, узнавая. Стихи-медитации Анны Дао увлекают в мир образов её мысли, где она алхимик и творец, превращается и превращает их друг в друга, приближаясь к сокровенному, «в неевклидовость погружаясь, / миллион шальных попугаев / на линзы ветров выпускает».

АНА ДАО

ВЕЧНОСТЬ НАД ТАЙНОДАЛЬЮ

У меня под крышей дома
 Свила гнездо вечность.
 Алые закаты пылают
 Негасимым светом времён.
 Застыли окна и балконы
 В веках,
 В глазах,
 А вечно молодому
 Святой дар – беспечность,
 Ночей бесконечность.
 Века утекают
 Ручьями искристыми,
 Золотистыми листьями
 Со звёзд опадают –
 Их много в кувшине моём.
 Богатство несметное,
 Что делать с тобой мне?
 А может, настойку на листьях –
 Святую, игристую –
 Когда-нибудь разопьём
 С закатом вдвоём?

ДЖУРЛИНСКИЕ ВЕРЛИБРЫ

Свет звёзд над складчатостью Демерджи,
 Огромных, тёплых, разноцветных.
 Скажи,
 Есть ли врата в перелесках несметных,
 На янских склонах и в иньских распадках.
 Светлым
 Судьба быть, чтоб меряться в прятки
 Искусством со змеевидными руслами рек.
 Сладки
 Мгновения, магией превращённые в век,
 Пикантно думать о змеях и в них превращаться.
 Мне –
 С узорчатыми ручьями... лучами... сливаться
 И возвращать магию, как крымские сосны.
 Остаться
 Зовут скалы и солнце. Ветра стоголовсы.

Только Солнцу молось: волшебство удержи.
 Как долго говорить мне ломаными ритмами?
 Как долго пробираться прибрежными рифами?
 Как долго обжигаться гитарными риффами?
 Как долго учиться волшебствовать рифмами?
 А травы на вершинах выпевают мантры,
 А вещи ястребы реют над реками нагов,
 Хочу, причастившись звёздно-можжевеловой Тантры,
 Уйти в беспредельность тропой одного шага.

НОКТЮРНЫ

Они намекают на звук
 В чёрной меди ночной тишины.
 В слуховое окно тонкий слух
 Сквозит, в рукокрылые сны.
 Они веют тихо и легко
 В звонком безмолвии звёздных часов –
 Мерцание душ перелётных,
 Хрустальные тени родных голосов.
 Они намекают на память
 О том, откуда мы призваны в гости, –
 И шепчут, баюкают и искушают
 Каплями Леты – Танталовой гроздьёю.
 Они веют по дымчатой грани
 Спирали, где забвение – аверс,
 Где реверс – безмолвное знание,
 Где стали одним Орион и Антарес.
 Они намекают на негу,
 Прелестно прельщая музыкой ветра.
 Они веют под звёздами – но уходят за небо,
 Где эфир вместо ларго трепещет аллегро.



Над яйлой облака аэрографом
 Расспрэены в божественной пропасти.
 Мэтр Ярило, прошу автографа!
 Одарите поклонницу росписью!
 Подруга, что очи заплаканы?
 Что ждёшь у моря имэйла?
 Считаешь вебмани – да благо ли?
 Не хочешь запеть ли свирелью?
 А перекинись-ка облаком
 Да полети небесной стремниною.
 А перекинись-ка роупом –
 Душой аттракциона экстримеров.
 А мы не то чтобы глупые –
 Просто болевой порог выше.
 Воздушные массы лупами
 Концентрированное солнце нижут.
 А мы не то чтобы ласточки –
 Просто грозы не предвидится.
 Подруга, пиши красочно,
 Декламируй с дикторской дикцией.
 Нырнём со своими любимыми
 В яркий зной летних пряностей.
 Над ним расцветают хвостами павлиньими
 Созвездия и туманности.

КИММЕРИЯ

Сиреневой зыбью холмистых изгибов
 Земля поднималась из моря под утро.
 И солнце, взбираясь по девственным гривам,
 Ковыль посыпало кермековой пудрой.
 Рождённая Первой, взнуздав раджазавра,
 Несётся по луку под свист первовебра.
 Ей люди присвоят пристрастные лавры,
 Зачатками речи фиксируя веру.
 Потом будут руны на скалах горячих
 Из творческой топки игривых вулканов,
 И, плаваясь в веках, пальцы станут изящны,
 А горла – изысканны в пенье арканов.
 Геномы себя разовьют прихотливо,
 Гранить самоцветы научатся руки,
 И в черепе вспыхнут побег извилины,
 В словесной шихте – космос тысячи звуков.
 ...У моря, под сенью олив серебристых,
 Вино разливая по кубкам рапанов,
 Адепт посвятит в мифологию мистов,
 Уйдёт в медитацию – плавать с катраном.
 Потом будут дни, круговерти созвездий,
 И скалы, и руны сотрутся до пыли.
 Где ваджры на троне – поэты безвестны.
 И лишь у Тифона останутся крылья.

...Рождённая Первой бредёт сухим руслом –
 Цепочка следов на барханчиках донных.
 Лежит седина на степи рыже-тусклой
 И белые глади озёр пересохших солёных.
 Она помнит гены, в ней ставшие книгой,
 Она помнит жизни своих миллионы.
 Ждёт ночи с шиповником и ежевикой
 В холмах, древним ветром в песок источённых.
 И солнце распухшее пурпурно светит,
 Стекая в плавильню морей эфемерно.
 Но знает разгадку Рождённая Первой:
 Моря превращаются в Тетис...
 за час до рассвета.

Перед тем как угаснуть,
 день особенно ярок.
 Всё оттого, что окна
 у меня выходят на запад.
 Всё оттого, что Солнце,
 в неевклидовость погружаясь,
 миллион шальных попугаев
 на линзы ветров выпускает.

ФАЭТ ВОСТОЧНОГО КРЫМА ЗЛАТА АНДРОНОВА

В творчестве Златы Андроновой удивительным образом переплелись мир и миф. Я бы назвала её фэатический стиль сосуществованием в равных форматах мистификации, мифологизации реальности, повседневности, обыденной жизни лирической героини, и, в равной степени, реализацией архетипических образов-эндемиков. Её фаззия эндемична. Стремление осуществить миф в пространство-время крайнего востока Крыма – в Керчь. Способность заселить эндемичный мир реалиями скандинавских саг... Мир лирической героини существует в сложной ассоциативной связи образов различных культур и эпох. Кроме того, мы видим, пространственное смещение: «север пришёл на юг». Здесь интересна архитектоника восприятия: культуры прославляют друг друга не как рождественский пирог, а как тектонический разлом: «здесь – это здесь», и в этом здесь вся специфика мира: «*Здесь курган крадется на запад, / Перевалив верхового*». Здесь языческими капищами усеяны развалины городищ, здесь тектонические сны прошлых эпох являют себя белым днём: «*Там фрузным мороком, стынью вязкой – дом, дело, / тебя одёрнет, окликнет властно день-демон*». Здесь реальность зачастую – сон настоящего, в который незаметными тенями-мороками через тектонические разломы древних городищ захаживают, влетаясь в вьвь ли, в сон ли настоящего мифологические образы-эндемики.

Мировосприятие лирической героини сродни восприятию древнего грека ли, древнего ли северного варвара: греки видели своих богов, общались с ними. Это мир мифа – и мир этот обусловлен удивительной точностью восприятия. Так древний аэд писал свои песни, слушая голоса своих богов. Так фэат сосуществует в реалиях настоящего с образами вне времени и пространства, «здесь – это здесь», в этой ёмкой формуле переплетены реалии и мифы в единую органичную ткань. В этом специфика фаззии: единство фантастического и реалистического.

Специфика фаззии Златы Андроновой в чём-то сродни творчеству Кортасара. Она – в умении жить в повседневности, в обыденности, в каждом мгновении дня с сотней мифических образов, «*таюя вымысел и правду, да руны вместо домино*», утихомирившись, затихнуть «*под защитой мысли, что миф есть жизнь и жизнь есть миф*».

В чём-то здесь – элемент личной игры с магическими реалиями, в чём-то – познание этого странного мира, но в каждой секунде, в каждом миге – фаззия магического реализма.

ЗЛАТА АНДРОНОВА

КЕРЧЬ: КРУГ НОМЕР НОЛЬ

Здесь круг номер ноль. Преддверие. Сумерки
Реальности мнут бока.
Досуг скоротать болтовнею с умершим –
Задача невелика.

Здесь – это здесь. Хлип муравейников,
Как ряд гнилых покрывал,
Скрипя, прикрывает сквозняк преддверия,
Что тот Киммерийский вал.

Попробуй-ка выйди с открытою кожей,
Брось щит привычных программ!
Только с ним вера возможна,
Что край земли – где-то там.

Здесь – это здесь. Почтение Чуру
Здесь – почти ремесло.
Здесь, как нигде, чураются чуда –
Чтобы в быт не вросло.

Здесь «сейчас» застывшее, прежнее.
Года хватает здесь,
Чтобы сбить с любого приезжего
Христианскую спесь.

Здесь – это здесь. Местных, знакомых
Встретит в дверях отказ –
И чумная горка роддома –
В третий, в тысячный раз.

Здесь лет в пять поздравят с прибытием.
Поздравленья просты:
В каменоломнях крестят рассчитанной
Хваткою пустоты.

Здесь – это здесь. Чёрные воды.
Зрячий бродит впотьмах,
Покуда в сновидных больничных проходах
Не встретит Хозяйка – Чума.

Здесь курган крадётсЯ на запад,
Переварив верхового.
Здесь змеи мускусный запах –
Кислорода основа.

Здесь – это здесь. Знаки на улицах
Сорной растут травой...
Можешь спокойно жить, не волнуясь,

Если ты веришь ещё, что живой...

Над парашетом набережной
 Мелькает пенный гребень.
 Грейся в привычных образах –
 Шкурка-броня хоть куда.
 Солнце – тенями, и в каждой
 Чудятся древние греки,
 В унылом пейзаже варварском
 Каждый из них – чужак.

Грейся драконом Сигурдовым,
 Хлопай гребнем чешуйчатым,
 В противоестественной радости,
 Что север пришёл на юг.
 Ветроно, сагой, шелестом –
 Шторм одиночества Шуберта.
 Шубой звени чешуйчатой,
 Обобранный Нибелунг!

На старой маленькой улице, где дороги
 Прочерчены мелом и углем, где – о, Боги! –
 Солнце по-сирийски жарит, где степные
 Травы так же сухи и ржавы, как небеса над ними.
 Как дымок от свечи взлетаешь – вдох-выдох.
 Мираж стокой пятиэтажки хил и зыбок,
 Там грузным мороком, стыню вязкой – дом, дело,
 Тебя одёрнет, окликнет властно день-демон...

...На старой маленькой улице, где дороги
 Белы, как мел, черны, как уголь, где – о, Боги! –
 Дышит в холмах языческое капище, где выход
 Прямо к морю, синему свитку, синему блюду,
 Где б однажды остановиться, где б – проснуться.

Залив в тумане.
 Саги Скандинавий
 Заснеженными рифами плывут.
 Колокола отзванивают вечность.
 К ним паруса приходят за советом –
 В безвременье нащупать верный путь.

Туман наполнит
 Зябнущие волны
 Бесцветными соцветиями звёзд.
 Свершится сага о конце дороги.
 Там, под крестами, плачет старый Локи,
 И Одина из вечности зовёт.



БАХЧИСАРАЙ

Змеи степными закатами замкнуты.
Змеи – колосья,
Трепещут чешуйками –
Зёрнами,
Звёздами,
Смолами,
Знаками.
Змеи – пентакли.
Сказитель прищурился.

Племя шло, читая знаки.
Чтя законы. Одинаков
С нитью пряжи, сном и нервом,
Вел их путь к земному небу.
Племя это знало.

Змеи ведущие,
Змеи парящие
Меж корневищ,
В небе гномьего солнышка.
Змеи – безжалостны –
Правнуки Ящера,
Вольным верны,
Но проклятие – согнутым.

Волей вольных первым назван,
Вёл их вождь, ведомый снами,
Зовом злака, синью пенной,
Меж собой молчало племя –
«Выйдем, раз он с нами!»

Змеи зовущие, змеи заветные.
Жди без движения,
Стань без дыхания,
Навью бесправной,
Равниной безветренной –
Суть приоткроется
Откликом каменным.

Степь сосуды скоро сушит.
Соберут с утра росу шесть
Видов трав. Они целебны.
И снимает капли племя,
Уходя всё глубже.

Змеи иные
Землей коронованы,
Властны дарить,
Наводить,
Поворачивать.

Тело – точёное,
 Формы – фарфоровы,
 Встретиться с ними –
 Подарок удачливым.

Зол закон – убийца тайны.
 Видел вождь змеиный танец:
 Старшая сомкнула жало,
 Но была б кощунством жалость –
 Понял вождь, читая.

*«Боги щедры. Наша ниша,
 Нива, пашня, кровля, пища
 Здесь. Построим поселенье»*
 И вождю кивнуло племя,
 И – остановилось.

Змеи – коварны:
 Пентакли,
 Пророчества,
 Дети земли,
 Корневища ползущие.

Почве терять
 Человека
 Не хочется –
 Корм для растений, –
 В небо идущего.

Змеи завистливы,
 Зорки,
 Послушны...

РАССВЕТ

Наворковали девять горлиц солнце.
 Ещё зимы наследство носят кроны:
 Отчётливость и резкость каждой ветки.
 Но серый плед, укутывавший плечи,
 Разорван в клочья ветром-забиякой.

Змея, случайно встреченная мною,
 Заступничество сонно обещала,
 В свидетели взяла сырую землю,
 На чёрном ручейке – на чешуе –
 Играло солнце девятью лучами.

Я знаю, что змея меня запомнит.

«ЛИТМУЗЕЙ»

ЕКАТЕРИНА АВГУСТА МАРКОВА

ПТИЦЕЛОВ

мысли о поэте Э. Багрицком

Для иных людей торговать в лавке – это убийство души. Лучше жить в напридуманном мире контрабандистов, птицеловов, бутлегеров... жить в нищете, чем набивать в кубышку деньги, скопленные от продаж...

Романтический размах с первых поэтических строк у Багрицкого был необычаен. Он кричал на все голоса, подобно черноморским птицам... Он был порождением не просто пёстрога, разноязычного, юморного города Одессы, он был природным явлением, рождённым самим Чёрным морем. Не случайно он был так далёк от интересов своей семьи – мелких одесских лавочников, не случайно он задышался от астмы, задышался, как некий ихтиандр, выброшенный на берег.

*И ухо моё принимает звук,
Гудя, как пустой сосуд;
И я различаю:
На юг, на юг
Осетры плывут, плывут!
Шипенье подводного песка,
Неловкого краба ход,
И чаек полёт, пробег бычка,
И круглой медузы лёд.*

Он слишком остро понимал тщету наживы с рождения.

*Чтоб звёзды обрызгали
Грудю наживы:
Коньяк, чулки
И презервативы...*

*Ах, греческий парус!
Ах, Чёрное море!
Ах, Чёрное море!
Вор на воре!*

Пародийно перечисляются товары, почти так, как лавочники зазывают покупателей, то есть, та среда, в которой вырос поэт.

Эдуард Георгиевич Дзюбин родился в 1895 году в Одессе. Он кончил землемерные курсы, но по специальности не работал ни дня. Природная виртуозная способность к версификаторству, имитации, вызывавшая восторги молодых слушателей, сослужила ему поначалу не слишком добрую службу. Его ранние стихи были очень несамостоятельными. Кто только не «ночевал» в его ранних стихах – и Гумилёв, и Бодлер, то акменсты, то футуристы. Первые стихи были напечатаны в одесских альманахах «Авто в облаках», «Серебряные трубы» и др.

Собственный голос поэта Эдуарда Багрицкого, столь узнаваемый подлинными ценителями, прорезался отнюдь не сразу. Первый сборник под названием «Юго-запад» был опубликован только в 1928 году.

Зимой 1917-1918 гг. Багрицкий участвовал в боях на Персидском фронте, летом 1919 года, вступив в Красную армию, писал пропагандистские стихи в агитпропе, было такое революционное словечко-аббревиатура, ставшая со временем единственным течением и направлением в литературе, строго хранимым цензурой (Главлит).

Багрицкий приветствовал революцию несомненно, но достаточно аполитично при этом. В душе ему чужды были партийные убеждения, но угнетённость среды, в которой он родился, и видимое освобождение от процентной нормы, от черты оседлости, естественно, толкали его в революцию.

Валентин Катаев так описывает их общую одесскую юность (в книге «Алмазный мой венец» Багрицкого он называет «птицеловом» по названию его стихотворения, а может быть из-за увлечённости Багрицкого птицами):

«...я не мог не восхищаться и даже завидовать моему новому другу, романтической манере его декламации, даже его претенциозному псевдониму, под которым писал сын владельца мелочной лавки на Ремесленной улице. Он ютился вместе со всеми своими книгами приключений, а также толстым томом «Жизни животных» Брема – его любимой книгой – на антресолях двухкомнатной квартирки (окнами на унылый тёмный двор) с традиционной бархатной скатертью на столе, двумя серебряными подсвечниками и неистребимым запахом фаршированной щуки.

Его стихи казались мне недостижимо прекрасными, а сам он гением.

*Там, где выступ холодный и серый,
Водопадом свергается вниз,
Я кричу у безмолвной пещеры:
Дионис! Дионис! Дионис!*

– декламировал он на бис своё короткое стихотворение...

*Утомясь после долгой охоты,
Затянув свой пурпурный наряд,
Ты ушёл в бирюзовые флоты
Выжимать золотой виноград.*

Эти стихи были одновременно и безвкусны, и необъяснимо прекрасны.

Казалось, птицелов сейчас захлебнётся от вдохновения. Он выглядел силачом, атлетом. Впоследствии я узнал, что с детства он страдает бронхиальной астмой и вся его как бы гладиаторская внешность – не что иное, как не без труда давшаяся поза.

Даже небольшой шрам на его мускулисто напряжённой шее – след детского пореза осколком оконного стекла – воспринимался как зарубцевавшаяся рана от удара пиратской шпаги...».

Путешествуя по Италии, в Сиракузах Катаев увидел этот водопад воочию. Всё совпало с детскими стихами Багрицкого:

«Но каким образом мог мальчик с Ремесленной улицы, никогда не уезжавший из родного города, проводивший большую часть времени на антресолях, куда надо было подниматься из кухни по крашенной деревянной лесенке и где он, изнемогая от приступов астматического кашля, в рубашке, и кальсонах, скрестив по-турецки ноги, сидел на засаленной перине... как мог он с такой точностью вообразить себе грот Диониса? Что это было: телепатия? ясновидение? Или о гроте Диониса рассказал ему какой-нибудь моряк торгового флота, совершавший рейс Одесса – Сиракузы...»

Багрицкий жил воображением, очень многое в его стихах угадано, произнесено как бы само собой... В своём воображении он мог переноситься не только во времени.

*И я была девушкой юной,
Сама не припомню когда,
Я дочь молодого драгуна
И этим родством я горда.*

Известный как бы народный романс на самом деле написан Багрицким, по мотивам Роберта Бёрнса.

В начале 20-х годов Эдуард Багрицкий работал в ЮГРОСТА вместе с Ю. Олешей, В. Нарбутом, С. Бондариним, В. Катаевым.

Трагична судьба и Сергея Бондарина, он был в ссылке, имя его на долгие годы исчезло из литературного процесса; и Владимира Ивановича Нарбута, он погиб в терроре 1937 года, Юрий Карлович Олеша был сломлен политическими преследованиями.

Только Катаев, как литературный Микоян, по меткому образу из известного анекдота, сумел проскользнуть «между струйками». Чего ему это стоило, Бог ведаёт... Во всяком случае, когда читаешь произведения Катаева, остаётся какое-то чувство его неадекватной любви к советской власти... Не адекватной его таланту, эстетическим пристрастиям, так сказать, мере вещей. Эта неадекватность выдаёт в нём страх, панический глубинный страх. Тот страх, который ведёт к смещению внутренних нравственных ориентиров.

Бравада отсутствием нравственности была в большой моде, если так можно выразиться, в послереволюционные годы. Тон в поэзии (в политике, конечно, другие) задавал, естественно, «Главарь».

Я люблю смотреть, как умирант дети... Или: «Вьдь не из звёздного нежного ложа, / божье железный, огненный божье, / божье не Марсов, Нептунов и Вег, / божье их мяса – бог-человек! / Пули погуше! По оробелым! / В гушу бежущим зрянь, парабеллум! / Самое это! С донышка душ! / Жаром, жженьем, железом, светом, жарь, жги, режь, рушь! / Мы тебя доканаем, мир-романтик! / Вместо вер – в душе электричество, пар. / Вместо нищих – всех миров богатство прикарманьте! / Стар убивать. На пепельницы черепа!»

Вот такой космический бандитизм, предвестник фашистского разгула во всех его изопрёрённых проявлениях XX века...

Священник Дмитрий Дудко рассказывал как-то, что когда его везли на Лубянку мимо памятника Маяковскому, он сказал охранникам: «Вот я священник, а знаю стихи, в которых поэт отчитывается перед Сатаной: «Товарищ Ленин, работа адская сделана и делается уже»». Но это было значительно позже, в 70-е годы...

Багрицкий боготворил Маяковского. Ещё в 1915 году он написал «Гимн Маяковскому».

Поэзия Маяковского для поэтов, воспевавших революцию, в те времена была катехизисом новой веры... Насилие поэтизировал и Багрицкий, как мог:

*О мать-революция! Не легка
Трёхгранная открытость штыка:
Он вздыбился из гущины кровей –
Матёрый желудочный быт земли,
Трави его трактором. Песней бей,
Лопатой взнуздай, киркой проколи!*

Или:

*Земля, наплывающая из мглы,
Легла, как не струганная доска,
Готовая к лёгкой пляске пилы,
К тяжёлой походке молотка.*

Апофеоз насилия смачно изображён Багрицким в поэме «Февраль».

Поэма написана от первого лица, и лицо это не слишком, мягко говоря, привлекательно. Забитый еврейский юноша тайно влюблён в гимназистку, которая знать его не хочет, её ждёт прекрасная жизнь образованной, воспитанной девушки из культурной среды... Но не тут-то было, революция меняет ход времени, ломает ход Времени, ломает судьбы, одних превозносит, других, как ныне говорят, «опускает». И вот девушка становится падшей женщиной, а наш герой наоборот, завоёвывает мир, теперь он хозяин, теперь он врывается ночами с обысками в тёплые дома... В одном из них он видит бывшую свою любовь

в объятиях кланента, приказывает его вывести и, судя по всему, расстрелять, а сам силой берёт прежде столь недосягаемую бывшую гимназистку...

В жизни самого Багрицкого, по его рассказам, был такой случай, да вот только насиловать никого он и не собирався, скромно сидел в углу.

Теперь поэма читается как иллюстрация к страшному времени полного беззакония. По-видимому, талант, подлинный талант, не может лгать. Правда со временем превращается в истину. Остаётся, после чтения поэмы, только ужас от описанного насилия. Мы-то знаем, что ждёт впереди и юношу, и девушку. Мы уже пережили XX век.

Самая сильная поэма Багрицкого – это «Дума про Опанаса». Именно поэма, а не либретто оперы, где он многое «прояснил» в угоду агитационной действительности...

В своей поэме Багрицкий использует стихотворный размер поэмы Т. Шевченко «Гайдамаки», отсюда же эпиграф «Думы...»; мол, посеяли гайдамаки в Украине жито, да не они его жалит...

В поэме – крестьянин, которого некая мечта, а может быть, и злая воля заставляют оставить привычную круговую крестьянскую жизнь, родную хату и бросает то в продотряд, то к «колонисту Штолю, то в отряд Махно, которому он рассказывает:

*Я, батько, бежал из Балты
К колонисту Штолю,
Ой грьзёт меня досада,
Тяжкая обида!
Я бежал из продотряда
От Когана -жида...
По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,
Залезает носом в хаты,
Которые чище!...!
Ну, а кто поднимет бучу –
Не шуми, братишка;
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять – и крышка...
Чернозём потёк болотом
От крови и пота, –
Не хочу махать винтовкой,
Хочу на работу!*

А Махно ему отвечает:

*...А тебе дорога вышла
Бедовать со мною.
Повернись обратно дышло –
Пулей рот закрою!
Дайте шубу Опанасу,
Сукна городского!
Поднесите Опанасу
Вина молодого!
Сапоги подколотите
Кованным железом!
Дайте шапку, наградите
Бамбой и обрезаем!*

Опанас идёт на убийство, которое не в силах вынести его христианская душа, и сам погибает... Теперь, читая эту поэму, вспоминаешь не лозунги продотрядовцев, не агитки о крестьянской жизни, а, скорее «Тихий Дон» – величайшее произведение XX века.



В стихах Багрицкого часто возникает месяц февраль, он как-то по-особому к нему относился. Умер он 16 февраля 1934 года, не дожив до кровавого дня его поколения, для его единомышленников 1937 года, в возрасте 38 лет – обычный, к сожалению, в России для поэта возраст!

*И на что мне язык, умевший слова
Ощущать. Как плодовой сок?
И на что мне глаза, которым дано
Удивляться каждой звезде?
И на что мне божественный слух совы,
Различающий крови звон?
И на что мне сердце, стучащее в лад
Шагам и стихам моим?!*

«ШШКАФ»

ПАВЕЛ ЛАВРИНЕЦ

КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОКОВ

[Константин Бальмонт глазами современников. Воспоминания. Письма. Дневники. Поэтические посвящения. Подражания, эпиграммы, пародии. Шаржи / Вступ. ст. Л. Н. Таганова; сост., подгот. текстов, прим. и коммент. А. Ю. Романова. Санкт-Петербург: Росток, 2013 (Неизвестный XX век). 976 с.]

Может показаться странным, что первый сборник воспоминаний, откликов в письмах и дневниках современников об одном из зачинателей новой русской символистской поэзии вышел так поздно, – справедливо пишет в предисловии «Многоликий Бальмонт. Образ поэта в зеркале мемуаристики» профессор Лев Таганов, заведующий кафедрой теории литературы и русской литературы XX века Ивановского государственного университета. Однако нет ничего удивительного в том, что объёмный том, выпущенный в Санкт-Петербурге, подготовлен в Иваново, где регулярно проходят Бальмонттовские чтения и конференции, Бальмонттовские поэтические фестивали, готовятся и выходят посвящённые Бальмонту сборники, монографии, библиографические указатели. И составлен он ивановским бальмонтведом Александром Романовым.

Самый большой раздел книги – чуть менее половины её общего объема – содержит отрывки из воспоминаний, статьи и рецензии (или их фрагменты), выдержки из книг десяти авторов разной степени известности и близости к Бальмонту, различного масштаба литературного дарования. Свод разнородных текстов, расположенных в хронологическом порядке (с оправданными отступлениями), охватывает практически всю жизнь поэта – от попытки самоубийства в 1890 г., когда из окна гостиницы выбросился «оноша, рано надломленный жизнью, а встал с мостовой первый поэт наступавших времён»

(Максимилиан Волошин), до немногочисленных похорон под дождём, до гроба, опущенного в наполненную водой могилу в 1942 году. Мемуары воссоздают жизнь поэта в России и за рубежом, в сценах публичной литературной, не вполне публичной и вполне частной жизни. Например, о чувствовании поэта в Обществе свободной эстетики в 1913 г., когда Бальмонт находился, казалось бы, в зените славы, и от имени его врагов его приветствовал Владимир Маяковский, вспоминают Вадим Шершеневич, Василий Катаян, Корнелий Зелинский, Рюрик Ивнев, Павел Антокольский; Вера Звягинцева рисует колоритные сцены репетиции Севильского обольстителя Тирсо де Молины в переводе Бальмонта в присутствии переводчика, капризничавшего и тающего «в солнце и в женщинах» (по-видимому, 1918 г.); в воспоминаниях Бориса Зайцева Бальмонт читает стихи Волошину и двум молодым дамам, сидя под пальмами Таити или Полинезии, которыми стал в московской квартире старый обеденный стол. Последнее, по меньшей мере, не столь рискованно, как карабкаться на вершину сосны, чтобы читать стихи ветрам (Андрей Белый), декламировать на исходе ночи революционные строки киевскому городовому (Александр Дей) или шумными восклицаниями провоцировать лондонских и парижских полицейских на применение мер физического воздействия (Иван Бунин).

Мемуарные тексты так или иначе выражают специфические перспективы авторов. Позиции



одноклассника будущего поэта во владимирской гимназии Дмитрия Кардовского, ставшего художником, далёкого от литературы Евсея Львова, вспоминавшего о приезде Бальмонта в Шую в 1917 г., и племянницы поэта Антонины Бальмонт-Корзеновой резко отличаются от позиций участников литературного процесса, которые в свою очередь несложно разделить на несколько категорий. Одну из них образуют мемуары литературных современников, тех, кто был соперником и союзником Бальмонта. Иного типа воспоминания принадлежат тем, кто вступил в литературу позднее, будь то начинающий прозаик Константин Паустовский, попавший на лекцию Бальмонта «Поэзия как волшебство» в Киеве в 1914 г., молодой поэт Дмитрий Семеновский, говоривший с поэтом о стихах в ивановской гостинице в 1917 г. или Довид Кнут, который познакомился с тем, кто представлялся ему «прямо-таки венценосным Богом», в парижской «Ротонде» в 1922 году.

В этот же раздел включены отзывы о книгах Бальмонта и фрагменты из Некрополя Владислава Ходасевича, а также отрывки из статей Осипа Мандельштама, толкующие не столько о Бальмонте, сколько о его поэзии, её месте в литературе. Мемуарный раздел дополняет набор отрывков из писем и дневников современников (1891–1940), расположенных пофамильно в алфавитном порядке – от Марка Алданова и Александра Амфитеатрова до Корнея Чуковского и Эллиса (с. 457–582). Особый раздел «Автопортреты» составили стихи самого Бальмонта, посвящённые Бальмонту. Они были опубликованы в 1927 году в «Последних новостях» с подписью *Д. Балин* (атрибутировано Лазарем Флейшманом в 2009 г.) и в «Сегодня» с подписью *Мстислав*. Четвёртый раздел «Поэты – Константину Бальмонту» состоит из двух подразделов. В первый вошли стихотворные посвящения, которых набралось свыше семидесяти, расположенные по фамилиям тридцати шести авторов в алфавитном порядке. Второй подраздел озаглавлен «Подражания, эпиграммы и пародии». Для него избрано хронологическое распределение материала, мотивированное тем, что многие тексты печатались без подписи или под псевдонимами. Такой способ организации литературных фактов даёт отчетливое представление о том, какие черты личности, поведения и поэзии Бальмонта вызвали отрицание и насмешку, а позднее – какие специфические ритмические ходы и едва ли не «крылатые» строки ложились в основу сатирических перепевов, дискредитирующих не бальмونتовский стиль, но внелитературные общественно-политические явления. Знаменитое «Хочу» («Хочу

быть дерзким, хочу быть смелым...») оказалось для перепевов особенно удачным, сослужив службу, иным неоднократно, Lolo (Леонид Мунштейн), Сергею Горному (Александр-Марк Оцуц), Николаю Степанову (в примечаниях упомянуты его стихи «Хочу быть скорым, на все способным...»), Евг. Венскому (Пяткин), Александру Ширяевцу (Абрамов), Фрицхену (Федор Благов), Чёрному коту («Хочу быть персом, хочу быть шахом...») из того же «Будильника», в котором подвизался Фрицхен, и другим.

Самые ранние из стихотворных посвящений – стихи Ивана Бунина (1895), Валерия Брюсова (1897), Модеста Дурнова (1899), самые поздние – удивительная поэма Леонида Мартынова «Поэзия как волшебство» (1939) и написанное после смерти поэта стихотворение Галактиона Табидзе «Бальмонту». Среди авторов стихотворных дедикаций – грузинские поэты Александр Абашели (Чочия Исаки), Валериан Гаприндашвили, упомянутый Галактион Табидзе, Тициан Табидзе, серб Иван Шайкович, литовец Людас Гира с его циклом из десяти сонетов, Бальмонтом же и переведённым, и француз Филеас Лебег, стихи которого в своём переводе Бальмонт, не смущаясь, включал в свои статьи. Помимо знаменитых русских поэтов в этом разделе встречаются малоизвестный Ефим Вихрев, чьё стихотворение «К.Д. Бальмонту» было напечатано в «Шуйских известиях» в 1917 г., забытый участник выступлений имажинистов Антоний Случановский, Тиана Дабац, стихотворение которой «Бальмонту» отыскалось в сборнике «Гумань» (Минск, 1909), но сведений о ней обнаружить не удалось. Книгу могло бы обогатить стихотворение Евгения Шкляра «К.Д. Бальмонту» («Какой невероятный океан...»), напечатанное сначала в ковенской газете «Наше эхо» (1929, № 178, 9 сентября) с заголовком «Другу Литвы, Константину Бальмонту» в качестве стихотворного посвящения к отрывку из поэмы «Летува золотое имя», а затем включённое в последнюю книгу стихов Шкляра «Poeta in aeternum» (Рига, 1935) – в раздел «Искатели прекрасного», посвящённый «Моим друзьям – поэтам Литвы». А в подраздел пародий и эпиграмм можно было бы включить сатирическое стихотворение Дон Аминадо (Шполянский) «Бальмонт для домашнего обихода (Мелкобуржуазная пародия)», напечатанное в ковенской газете «Эхо» (1923, № 299, 5 ноября). Надо думать, что подобные дополнения ещё обнаружатся в провинциальной дореволюционной печати и на окраинах русского зарубежья.

Книга снабжена прилгкствующим подобного рода изданиям справочным аппаратом: 190 стра-

ниц примечаний и комментариев, с необходимыми библиографическими справками о публикуемых текстах, указатель имён, насчитывающий около полутора тысяч позиций, полезный указатель издательств и периодических изданий, список иллюстраций. В некоторых примечаниях сведения об авторах перерастают в краткие этюды об отношении к Бальмонту, например, Ходасевича (с. 750-751), Философова (с. 760), Адамовича (с. 778-779) с привлечением других, не вошедших в основной текст книги статей и писем. Но никак не представлены ни автор мемуарного очерка Владимир Розинский, ни поэтесса Анна Алматинская (Држевицкая). Об адресатах писем Владимира Короленко (и многих других) сведения даются, о получателях писем Максима Горького – нет. Такая же непоследовательность заметна в комментировании: поясняется, что такое ‘труверы’ (с. 753), ‘шато’ (с. 767), ‘файф-о-клок’ (с. 771), но без пояснений оставлены ‘Ларусс’ (с. 69); упоминаемые Мазини, Метерлинк, Пшибышевский удостоены справок, а французский писатель и журналист Абел Эрман (с. 69; в указателе имен неверно передана его фамилия в оригинальном написании ‘Erman’, должно быть Негмант), Малаарме, Жилькен и Корбьер (с. 112) – нет. Внимательному читателю нетрудно сообразить, что приветы Елизавете Морицевне в приводимом Ксенией Куприной письме Бальмонта (с. 376) адресованы её матери, второй жене автора «Гранатового браслета», упомянутой в комментариях (с. 828). Но то, что дядя Сережа в воспоминаниях Крандиевской-Толстой (с. 305) – это тот же самый Сергей Аполлонович Скирмунт, упомянутый в одном из писем Чехова (с. 576), выдающийся меценат рубежа веков, в доме которого жила семья мемуаристки (главу семейства Василия Крандиевского и Скирмунта связывало и общее предприятие на паях – книжный магазин и издательство «Труд»), – это не всякому читателю должно быть заведомо известно.

Большое значение и ценность книги определяется тем, что это первое собрание мемуарных свидетельств о крупнейшем поэте Серебряного века. Дополнительное достоинство этому собранию придаёт то, что значительная часть текстов или вариантов текстов републикована впервые, часто – из малодоступных периодических изданий, таких как белградский журнал «Ярь» за 1943 г., откуда извлечён «литературный фоторепортаж» Брониславы Погореловой, или берлинская газета «Новое слово» того же года, где обнаружился мемуарный очерк за подписью И.А. Составитель убедительно идентифицировал автора: Илларию Амфитеатрова (с. 790).

Многогранный и переменчивый образ Бальмонта, созданный мозаикой разножанровых словесных текстов (а также тщательно подобранными составителем эпиграфами к каждому разделу), дополняется рассеянными по книге шаржами, рисунком Волошина, силуэтом Кругликовой. Под своеобразной хроникой жизни и творческой деятельности главного героя книги разворачивается широкая канва ушедших литературных эпох – не только Серебряного века, но и его продолжения в зарубежье, и советского периода. К последнему относятся, например, воспоминания Галины Медземаришвили, повествующие, собственно, не столько о Бальмонте, сколько о его дочери Нине Бруни-Бальмонт и об отношении к Бальмонту в Грузии. В советскую эпоху трудное возвращение Бальмонта к читателю на родине было ознаменовано томом в «Библиотеке поэта» (1969), но оказалось под угрозой из-за мемуарного очерка Льва Успенского в «Литературной газете» (1970). В письме автору «Записок старого петербуржца», отрывок из которого опубликован в рецензируемой книге впервые, Лев Озеров расценил выступление Успенского как удар по лежащему «в тот момент, когда он получил малую возможность привстать, выпростать хотя бы руку из-под хлама наговоренной на него чепухи» (с. 826).

В незаурядной личности героя тома, переходящие в позёрство артистичность, поэтические причуды, о которых с сочувствием писали Михаил Кузмин и Марина Цветаева, и скандальные выходы, удивительным образом сочетались с необычайной работоспособностью, с отмеченной Михаилом Сабашниковым аккуратностью в работе, с поразившей Александра Биска «идеальной аккуратностью» на письменном столе и таким же аккуратным почерком. Впервые собранные в книгу мемуарные тексты разнятся тональностью: с восхищением, сочувствием и благодарностью в известных очерках и статьях Марины Цветаевой, с уважением и участием в отрывке из «Парижских воспоминаний» Антонина Ладинского контрастируют фрагменты из великолепного очевидца Вадима Шершеневича, автобиографические заметки Ивана Бунина или Владимира Крымова, не отличающиеся особой благожелательностью. Проступающие сквозь тексты отношения усложняются присущей мемуарам удвоенной точкой зрения – из вспоминаемого прошлого и вносящего свои коррективы будущего.

Зоркому читателю оценки мемуаристов многое скажут не только о Бальмонте, но и о самих мемуаристах. Знал ли Бальмонт восемь языков, на которых читал, а на некоторых из них свободно говорил, как утверждал Николай Кнорринг? Владел ли он двенадцатью языками в версии Лидии Рындиной



или восемнадцатью, как с его слов писал Владимир Крымов? Или знал «около тридцати языков. Легко изучил он десятки говоров и наречий», по словам Эренбурга (с. 35)? Бунин полиглотство Бальмонта считал враньём, утверждая, что тот не был в состоянии поддержать разговор по-английски и плохо говорил по-французски (с. 196). Здравомыслящая Тэффи вспоминала, как Бальмонт в разговоре с профессором Евгением Ляцким подтвердил, что он свободно говорит на всех языках, вот только не успел изучить «язык зулю» (то есть зулусов). Ляцкий ответил, что тоже плохо знает «язык зулю», но другие языки для него не представляют трудности. Писательница поставила полиглотов в тушк,

спросив, как по-фински «четырнадцать» (с. 232).

В разноголосице свидетельств даже внешний облик Бальмонта расплывчат: глаза, например, Эренбургу виделись зелеными, Белому – карекрасными («золотоглазый», «златоглазый»), Паустовскому – серыми, а болгарскому поэту, прозаику и драматургу Емануилу Попдимитрову – голубыми. Этих лежащих на поверхности примеров достаточно, чтобы ещё раз убедиться в том, насколько сложен, переменчив и неподатлив однозначным характеристикам образ Бальмонта, погружённый в хитросплетения непростых отношений с современниками.

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БИОГРАФИИ А.Н. ТОЛСТОГО:

книги Ю.А. Крестинского, В.И. Баранова, В.В. Петелина, А.А. Варламова, Ю.М. Окланского

Научное изучение биографии А.Н. Толстого началось, можно считать, по-настоящему книгой Ю.А. Крестинского «Жизнь и творчество А.Н. Толстого», вышедшей в ИМЛИ в 1960 году. Однако это всё же не биография в полном смысле этого слова, а преимущественно монография, обладающая всеми чертами академической фундаментальности. Но начало было положено именно Ю.А. Крестинским, хорошо знавшим архив писателя и связанным с ним, помимо прочего, родственными узами.

В 1967 году появилась книга В.И. Баранова «Революция и судьба художника» (второе издание – 1982 год с добавлением в заглавии «Путь Алексея Толстого к социалистическому реализму»), где представлен довольно широкий биографический и историко-литературный материал, причём, зачастую с привлечением архивных материалов и источников. Но нельзя не признать, что эта работа – очень однобокая и тенденциозная, во многом даже фальсифицирующая образ Алексея Толстого, содержание и смысл его творчества, его общественно-литературную позицию. Нельзя не отметить, что это вообще характерная черта исследовательской «физиономии» Баранова. Так, в советское время он писал об А.Н. Толстом как о сугубо советском литературном деятеле, принимая, таким образом, все «условия игры»: писателе, который очень дорогой ценой искупил свои эмигрантские заблуждения. И написано всё это в очень запальчивом тоне, с крайней нетерпимостью по отношению к другим точкам зрения. А в по-

следнюю четверть века работы и книги Баранова, в основном, посвящённые А.М. Горькому («Огонь и пепел костра», «Баронесса и Буревестник»), если не считать небольшой статьи-предисловия к тому ранней прозы А.Н. Толстого под заглавием «Белая ворона Серебряного века» – характеризуются прямо противоположной позицией – исследователь во всем склонен видеть преступления и злодеяния сталинизма, даже в тех случаях, когда это не вполне доказано. Мимикрия получается, прямо скажем, очень грубая и неизящная.

Но всё-таки первой биографией А.Н. Толстого в собственном смысле слова явилась книга В.В. Петелина, изданная в 1978 году в серии «ЖЗЛ». По сравнению с сугубо научной монографией Ю.А. Крестинского и даже в определённом смысле книгой В.И. Баранова, биография А.Н. Толстого, написанная В.В. Петелиным, несёт в себе черты беллетризованного повествования. Это, собственно говоря, полубеллетристическая книга, наполненная всевозможными придуманными диалогами, даже отчасти вымышленными положениями. Это диалоги, разговоры А.Н. Толстого с прочими персонажами книги – родными, знакомыми, известными литературными деятелями, людьми искусства, в течение всей его жизни. Сам В.В. Петелин в своей мемуарной книге «Счастье быть самим собой» следующим образом определяет резоны и в конечном счете оправданность такого рода биографического повествования: «Бесспорно одно: жанр такого рода имеет право на существование и полезен читателю. Более того,

имеет самый живой читательский интерес. Польза такого рода жанра просветительская. Готовя такую беллетризованную биографию, автор внимательным образом изучает источники, систематизирует их, проводит необходимый отбор, то есть делает ту работу, которая не под силу любознательному читателю – и в документально-беллетризованной форме воспроизводит ту или иную человеческую личность и то время, к которому этот человек принадлежал¹.

Возможно, и скорее всего, такой жанр, как утверждает уважаемый автор, имеет право на существование наряду с более строго документальными биографиями, но всё же здесь, едва ли ошибёмся сказать, как нигде, необходимо соблюдение чувства меры. А В. Петелин иногда его утрачивал.

Ещё до выхода в свет книги, в декабре 1977 года Людмила Ильинична Толстая, советами и консультациями которой в 1970-х годах пользовался автор, в частном письме к В. Петелину высказала пожелание, чтобы «первая книжка такого жанра об А.Н. Толстом» была написана увлекательно и содержательно.²

Людмила Ильинична, насколько нам известно, резко возражала против включения в книгу материалов сугубо личного характера или освещающих наиболее одиозные моменты в жизни А.Н. Толстого, в частности, того, о чем в те годы не принято было ещё писать – например, о связях и отношениях А.Н. Толстого с И.А. Бунинным³. Вместе с Ю.А. Крестинским вдова писателя была решительно против публикации мемуарного портрета А.Н. Толстого, принадлежащего И.А. Бунину («Третий Толстой»), в 9-м томе вышедшего тогда собрания сочинений Бунина – эти претензии были адресованы тогда в первую очередь О.Н. Михайлову⁴.

В. Петелиным в процессе работы над книгой, в самое деле, было проработано целое море литературы, архивных материалов, писем, в том числе и предоставленных ему Л.И. Толстой – заметим, что фрагменты из писем А.Н. Толстого к Людмиле Ильиничне 1935 года были опубликованы автором без её ведома и против её желания, что вызвало её страшное недовольство.

Впоследствии В. Петелин издал немало и других биографических книг об А.Н. Толстом – «Заволжье» (два издания), «Судьба художника» – но самая главная из них – существенно дополненная и в чём-то видоизмененная биография А.Н. Толстого под названием «Жизнь Алексея Толстого. Красный граф», вышедшая в издательстве «Центрополиграф» в 2002 году, в виде огромного почти 1000-страничного тома, также представляет собой

беллетризованное повествование, но также опирающееся на многочисленные документальные материалы и архивы (ИМЛИ, РГБ, РГАЛИ), и показывает сложную, пеструю интереснейшую эпоху, в которую довелось жить Толстому, во всем её блеске, многообразии и многоголосии.

Но мы должны отметить, что в послесловии к книге «Красный граф» В. Петелин пишет, что, издавая эту книгу в новую эпоху, он был уже свободен от того «семейного и цензурного гнета», который будто бы давил на него и мешал ему в советские десятилетия. Нам представляется это в известной мере преувеличением и натяжкой. Ибо по существу «Красный граф» имеет не столь уж разительные отличия от предыдущих книг того же автора.

Наконец, в 2006 году появилась новая книга в серии «ЖЗЛ», принадлежащая литературоведу и писателю уже нового поколения – А.Н. Варламову. Это, пожалуй, во всех отношениях – существенный шаг вперед в деле постижения истории жизни и личности одного из ярчайших представителей отечественной словесности первой половины XX столетия. Предположим, затронутая впервые Петелиным тема об истинном происхождении А.Н. Толстого – о том, что он был действительно сыном графа Н.А. Толстого, а не кого-либо другого, у Варламова получает своё исчерпывающее и наиболее законченное истолкование. Мы не берёмся утверждать, что версия, предложенная Варламовым – то, что будущий писатель появился на свет будто бы в результате насильственного полового акта, совершенного над графиней А.А. Толстой Н.А. Толстым, продолжавшим её сильно любить, несмотря на происшедшей между ними разрыв – истина в последней инстанции. Но всё же какая-то точка в этом смысле была поставлена.

Но, прежде всего, следует отметить, что А.Н. Варламовым было привлечено огромное количество всякого рода новых мемуарных, эпистолярных и историко-литературных, а также культурно-исторических материалов, многие из которых по тем или иным причинам в своё время были вне поля зрения предшествующих авторов, писавших об А.Н. Толстом. И в отличие от В. Петелина, у Варламова, Бунин, например, является одним из основных персонажей. Поданы они Варламовым на вполне современном уровне интерпретации такой личности, как А.Н. Толстой и интерпретации в связи с этим его многообразнейшего творческого наследия. В книге Варламова показаны близкие, родные и знакомые писателя, а главным образом его литературные современники от Леонида Андреева, И.А. Бунина, М.А. Володина, К.И. Чуковского, Г.И. Чулкова до



И.Г. Эренбурга и А.А. Фадеева. Одним словом, то, что в наибольшей мере составляет колорит его личности и биографии.

Хотя, с другой стороны, нельзя не признать того, что сам автор порой тонет в таком избытке материалов, они как бы захлестывают его, и с точки зрения читательской оказывается довольно затруднительным и неудобным всякий раз обращаться к концу книги, где помещены ссылки на источники, которых огромное количество. Но это, впрочем, детали, возможно, и не столь существенные.

К числу несомненных достоинств книги А.Н. Варламова, с нашей точки зрения, принадлежит то, что автору удалось очень выразительно и убедительно показать эту сложную и неоднозначную фигуру на всем протяжении его жизни и в неразрывных связях с эпохой. Но в отличие от В. Петелина он показывает А.Н. Толстого – человека и литературного деятеля в самых разнообразных проявлениях – с его как положительными, так и негативными, малосимпатичными сторонами – это, прежде всего, относится к тому несколько ложному и двусмысленному положению, в котором А.Н. Толстой оказался в сталинском СССР в 1930-1940-х годах. И здесь объективность и вкус не покидают его – даже в тех случаях, когда речь идет о каких-то одиозных моментах, например, о тех непристойных выходках, которые иногда позволяла себе приближенный к власти и обласканный ею «живой классик», удостоенный всевозможных знаний и наград. Наряду с прочим, кроме того, автору удалось привлечь прежде совсем малоизвестные материалы о последнем периоде жизни А.Н. Толстого, его болезни, смерти и похоронах – об этом прежде писали обычно очень мало, скупо, сугубо по-казенному и как бы скороговоркой – здесь фигурировали, в основном, одни и те же расхожие факты, в то время, как в биографии такого писателя, как А.Н. Толстой, важна, несомненно, каждая мелочь и каждое даже, быть может, малозначительное на первый взгляд свидетельство. И Варламов рассказал об этом очень увлекательно. Странно только, что из поля его зрения выпала интереснейшая мемуарная книга младшего сына писателя Д.А. Толстого «Для чего всё это было».

А.Н. Варламов также достаточно убедительно объясняет причины возвращения А.Н. Толстого из эмиграции в Советскую Россию в 1923 году – он полагает, что А.Н. Толстому всегда была близка идея великодержавной государственности, так талантливо и блестяще изображенная им в романе «Пётр Первый», а затем в известной мере в драматической диалогии «Иван Грозный», к которой, как он считал, близко подошли большевики, и это приве-

ло бывшего эмигранта и чуть ли не белогвардейца к принятию перемен, происшедших в его родной стране. Хотя наряду с этим автор не отрицает того, что А.Н. Толстой был достаточно циничным и прагматичным человеком в некоторых аспектах своего жизненного поведения.

И ещё один наиболее значительный и выразительный прецедент в биографическом изображении А.Н. Толстого последнего времени дал в одной из своих книг Ю.М. Окаянский, сверстник В. Петелина и В. Баранова, занимающийся изучением биографии А.Н. Толстого ещё с 1960-х годов – хорошо известна его первая биографическая книжка о раннем А.Н. Толстом «Шумное захоlustье», издававшаяся неоднократно в своё время в Куйбышевском (Самарском) областном издательстве. Книга, о которой идет речь, это – «Бурбонская лилия. Четвёртая жена графа Алексея Толстого». В ней впервые изображена жизнь и судьба последней спутницы жизни писателя Людмилы Ильиничны Толстой (1906-1982), и надо сразу же сказать, что эта книга построена многоопытным автором очень «хитро», если можно так выразиться, и очень искусно. Хотя она посвящена жене писателя, но главное место в ней занимает, конечно, сам Алексей Толстой, его биография, многие аспекты его творческой и общественно-литературной деятельности (в том числе и малоизвестные, и это самое ценное), связей с современниками, его места, как теперь принято говорить, в культурном пространстве эпохи.

Но всё же центральная тема книги – то, о чём знали раньше только по довольно убогой схеме – А.Н. Толстой в 1935 году ушёл от Н.В. Крандиевской, соединил свою жизнь с молодой Л.И. Баршевой, работавшей у него секретарём, чем нанёс страшный удар семье – особенно, детям, которые не смогли простить ему этого никогда, несмотря на то, что с того времени минуло очень много десятилетий. Окаянский осветил эту тему, которой прежде не касался никто по разным причинам, настолько подробно, увлекательно, свежо и ново, что его книга местами напоминает захватывающий роман. Самое главное, что стремится доказать автор с фактами в руках, Л.И. Толстая отнюдь не была уж такой совсем заурядной личностью, приводит многие мало или вовсе неизвестные широкому читателю факты её жизни по многочисленным источникам, прежде не входившим ни в научный, ни в литературно-мемуарный оборот. Ю.М. Окаянскому удалось как нельзя более выразительно показать «лица не-общее выражение» Л.И. Толстой, её роль в жизни и судьбе А.Н. Толстого, что она была, как бы там

ни говорили, не столь уж незначительной и даже отрицательной. Автор подробно рассказал о её жизни на протяжении долгих десятилетий, когда она осталась 39-летней «весёлой вдовой», и задаёт вполне правомерный вопрос – а была ли она действительно «весёлой вдовой»?² И показывает, что на самом деле всё обстояло далеко не так просто. Особое место в книге Ю.М. Окаянского занимает повествование о последних, оказавшихся очень тяжёлыми, годах жизни Людмилы Ильиничны – целые разделы книги посвящены очень увлекательно-м, почти детективному расследованию печально известного нападения на квартиру Л.И. Толстой в ноябре 1980 года, её ограблении, связывает это с общими процессами, происходившими в те годы в стране, а затем долгом и сложном, избилующем драматическими коллизиями расследовании этого из ряда вон выходящего преступления каратель-

ными органами – всё это написано, как увлекательный детектив. Но самое главное, повторяем, всё это неотделимо от биографии и творчества А.Н. Толстого и имеет почти исчерпывающую документально-фактологическую основу (в отличие, предположим, от В. Петелина, автор здесь ничего не выдумывает), отнюдь не декларативно-пустопорожнюю, и имеющую, помимо этого прелесть и обаяние живых свидетельств.

Поэтому, заключая, мы ещё раз подчеркнём, что теперь всё же имеем в своём распоряжении полноценные и в научном и в литературном отношении биографические книги о крупнейшем художнике слова. А написать его биографию так, чтобы это было интересно читать, по выражению А.Н. Толстого, «и профессору, и кухарке»⁵ – очень сложно, по плечу только талантливым людям.

Примечания:

¹ Петелин В.В. «Счастье быть самим собой». М., «Голос», 1999, с. 352.

² Цит. по кн.: Петелин Виктор. «Жизнь Алексея Толстого. Красный граф». М., «Центрполиграф», 2002, с. 938

³ В частном разговоре с автором статьи Л.И. Толстая вспоминала, что А.Н. Толстой после случайной встречи с И.А. Бунинным в Париже в 1936 году, сказал о Бунине: «Это мёртвый человек. Мне не о чём с ним разговаривать».

⁴ О.Н. Михайлов говорил автору статьи о том, что когда вышел 9 й том собрания сочинений И.А. Бунина в 1967 году, где был в сокращении помещен очерк «Третий Толстой», встретившийся ему Ю.А. Крестинский с оттенком уроды сказал ему: «Вы хотите объявить мне войну? Вы её проиграете».

⁵ Телешов Н.Д. «Записки писателя», М., «Московский рабочий», 1950, с. 138.

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45
Ю 195
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 17.06.2016 р.
Формат 60x70/8. Гарнітура Garamond Narrow.
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 21,02
Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17